9

С.А. Зинин
В.И. Сахаров
В.А. Чалмаев

ЛИТЕРАТУРА







9 КЛАСС

ЛИТЕРАТУРА

С.А. Зинин
В.И. Сахаров
В.А. Чалмаев





Пушкин
и Онегин
на набережной
Невы:

рисунок
А.С. Пушкина (1824);
гравюра
Е.И. Гейтмана (1829);
акварель
Н.В. Кузьмина (1937)



Из истории иллюстрирования романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»

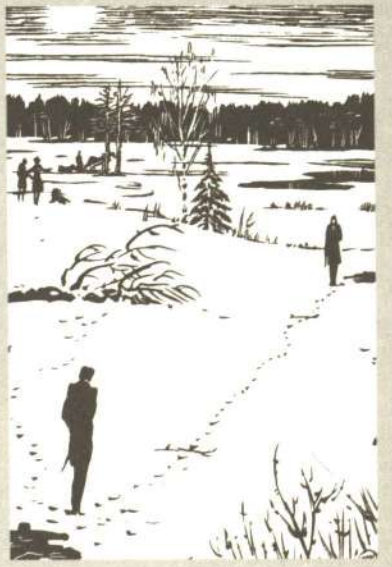


Объяснение
Онегина
с Татьяной.
Художник
А.В. Фонвизин.
1942 г.

Дуэль
Онегина
и Ленского.
Художник
М.В. Добужинский.
1936—1938 гг.



Художник В.В. Гельмерсен. 1910-е гг.



С.А. Зинин
В.И. Сахаров
В.А. Чалмаев

Литература

9 класс

**Учебник
для общеобразовательных
учреждений**

**В двух частях
Часть II**

7-е издание

*Рекомендовано
Министерством образования и науки
Российской Федерации
(экспертиза РАН и РАО 2006 г.)*

**Москва
«Русское слово»
2012**

УДК 373.167.1:82*09(075.3)
ББК 83.3я72
З-63

Авторы:

Зинин С.А. — доктор педагогических наук, профессор МПГУ;
Сахаров В.И. — доктор филологических наук, профессор;
Чалмаев В.А. — литературовед,
ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН.

Основные разделы учебника
написаны В.И. Сахаровым и С.А. Зининым.
Раздел «Из древнерусской литературы» (ч. 1) написан С.А. Зининым,
раздел «Литературный процесс второй половины XIX—XX века» (ч. 2) —
В.А. Чалмаевым.

Концепция историко-литературного курса
и методический аппарат разработаны С.А. Зининым.

Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А.
З-63 Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2 / С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. — 7-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. — 408 с.: ил.

ISBN 978-5-91218-218-1 (ч. 2)
ISBN 978-5-91218-216-7

Учебник для 9 класса написан известными учеными в области истории литературы и методики ее преподавания в школе. Историко-литературный курс охватывает основные этапы развития отечественной словесности от Средневековья до середины XIX столетия, а также содержит обзор литературы второй половины XIX—XX в. В каждой части учебника помещены основные художественные тексты и их фрагменты, необходимые для работы на уроках.

УДК 373.167.1:82*09(075.3)
ББК 83.3я72

© С.А. Зинин, 2006, 2012
© Т.С. Сахарова — наследник, 2010, 2012
© Ф.В. Сахаров — наследник, 2010, 2012
© В.А. Чалмаев, 2006, 2012
© ООО «Русское слово — учебник», 2006, 2012

ISBN 978-5-91218-218-1 (ч. 2)
ISBN 978-5-91218-216-7



АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

1799—1837

Яркое, многогранное, отмеченное печатью избранничества, творчество Александра Сергеевича Пушкина стало вершинным явлением отечественной культуры, провозвестником наступления ее золотого века. Россия обрела художника, воплотившего духовный опыт нации, отобразившего богатство и глубину мира личности. Еще при жизни поэта Н.В. Гоголь произнес вещие слова: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Мысль эту позже развил в своей знаменитой Пушкинской речи Ф.М. Достоевский, заметивший, что сама личность великого поэта «есть пророчество и указание». Действительно, поэт, воспевший «одушевленный труд и слезы вдохновенья», проповедовавший «любовь и дружество», взывавший к «чувствам добрым» человека во имя Человека, и сегодня воспринимается как «пророк в отечестве своем», этим отечеством оцененный и признанный.

Поразительны достижения Пушкина в области литературного мастерства: освоив и доведя до совершенства признанные литературные жанры, от архаической оды и сатиры до романтической элегии, он выступил и как создатель «свободного» романа в стихах, «маленьких трагедий» — собственно «пушкинских» жанров. Легко смешивая и видоизменяя устоявшиеся жанровые формы, Пушкин придавал им «второе дыхание», поражая современников новизной художественных решений. «Общество русское с невольным удивлением, полным ожидания и надежды чего-то великого, обратило взоры на нового поэта, смело и гордо открывавшего ему новые стороны жизни и искусства», — отмечал критик В.Г. Белинский.

Опираясь на богатые традиции мировой и отечественной литературы, Пушкин создал произведения, в свою очередь явившие высокий эталон поэзии и прозы для писателей последующих эпох. «Пушкин! *Тайную свободу / Пели мы вослед тебе!*» — с такими словами обращал-

ся к памяти великого учителя поэт XX столетия Александр Блок. «Издревле сладостный союз / Поэтов меж собой связует» — эти пушкинские строки из послания «К Языкову» звучат как гимн служителям искусства и одновременно напоминание о долге художника перед вечностью, о великой силе «божественного глагола».

Еще одной отличительной особенностью пушкинского гения является его всеохватность, способность воссоздать бытие в его многогранности, передать разнообразные оттенки звучания человека в мире и мира в человеке. «Поэт! в твоей предметы воле!» — все творчество Пушкина является ярким подтверждением этих слов. Пройдя краткий земной путь, Пушкин-художник словно бы прожил несколько творческих жизней — столь многое он успел сказать современникам и потомкам. Сам путь художника заключает в себе удивительную внутреннюю стройность и логику: это стремительное движение от краткого опыта ученичества ко всевозрастающей мощи поэтических открытий и духовных прозрений. Прослеживая путь гения, можно увидеть скрытые механизмы движения самой культуры, а главное — полюбить то «обыкновенное чудо» поэзии, без которого жизнь наша бедна и бесцветна:

Мечты поэзии прелестной,
Благословенные мечты!
Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы.

«Мы рождены для вдохновенья...»

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 26 мая (6 июня) 1799 года, в день Вознесения Господня. Род Пушкиных уходил корнями в глубь русской истории («Мой предок Рача мышцей бранной / Святому Невскому служил», — напишет поэт в стихотворении «Моя родословная» (1830). Отец будущего поэта, Сергей Львович, увлекался литературой, имел многотомную домашнюю библиотеку, дружил с В.А. Жуковским, Н.М. Карамзиным, И.И. Дмитриевым и К.Н. Батюшковым. Мать, Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, была по отцу родной внучкой знаменитого «арапа Петра Великого» — Абрама (Ибрагима) Ганнибала. В семье Пушкиных ценилось образование, и по сложившейся в то время традиции дети находились на попечении гувернеров-иностранцев (среди прочих наук маленький Александр особенно преуспел в изучении французского языка, на котором и были написаны его первые стихи). «Иноземное» влияние уравновешивалось общением с бабушкой Марией Алексеевной Ганнибал и няней Ариной Родионовной, прививавшими детям любовь к родному языку и народной культуре.





Н.О. Пушкина, мать поэта. *Художник Ксавье де Местр.* 1802–1805 гг.
С.Л. Пушкин, отец поэта. *Художник К.К. Гампельн.* 1824 г. Фрагмент портрета

Проводником в «большую» светскую литературу в семье Пушкиных явился дядя поэта, Василий Львович Пушкин, писавший элегии, романсы, басни и известный в литературных кругах своей «ироническ-ой» поэмой «Опасный сосед». В аналогичном жанре выступил и малолетний племянник, написавший «детскую» поэму «Толиада» на французском языке, которая начиналась следующими строками:

Пою бой, в котором Толи одержал верх,
Где немало бойцов погибло, где Поль отличился,
Николая Матюрина и красавицу Нитуш,
Коей рука была наградою победителю в ужасной схватке.

Уже эти первые литературные опыты в иронкомическом жанре, пародирующем героический эпос (в «Толиаде» повествуется о войне карликов и карлиц при дворе царя Дагоберта), свидетельствовали о несомненной одаренности юного сочинителя.





В.Л. Пушкин. *Гравюра С.Ф. Галактионова.* 1822 г.
А.С. Пушкин. *Гравюра Е.И. Гейтмана.* 1822 г.

Важнейшей датой в жизни Пушкина стал 1811 год: дядя отвез Александра в Петербург для поступления в Царскосельский лицей — привилегированное закрытое учебное заведение для будущих государственных деятелей (торжественное открытие лицея состоялось 19 октября в присутствии императорской семьи). Здесь мальчика встретили замечательные учителя, множество разнообразных наук, поэзия и, главное, друзья, вольное содружество одаренных юношей, ставшее духовным, поэтическим братством:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Поощряемый профессорами и друзьями, юный лицеист Пушкин пишет стихотворения и поэмы, печатается в журналах. Вместе с друзьями он следит за событиями 1812 года, сближается с Карамзиным,

Чаадаевым, Жуковским, Батюшковым, общается с веселыми и образованными гвардейскими офицерами, прошедшими всю Европу. Лицей стал для Пушкина домом и литературной школой, здесь он обрел наставников и товарищей на всю жизнь. А день 19 октября стал для поэта ежегодно отмечаемым праздником дружбы и неувядающей юности.

Знаменитый публичный экзамен 1815 года и вдохновенное чтение юным поэтом торжественной оды «Воспоминания в Царском Селе» в присутствии «поэтического старца» Державина принесли ему еще большую известность («Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять. Меня искали, но не нашли» — так прокомментирует Пушкин свой первый триумф и собственное смущение по поводу произошедшего). Талант и «нежный ум» созревали быстро: юный поэт воспевал радость жизни, дружбу, любовь, вино, импровизировал, создавал романтические элегии и дружеские послания, остроумные пародии и эпиграммы. Им написаны озорная ироикомическая поэма «Бова» (1814) и сатира «Тень Фонвизина» (1815), направленная против литературных староверов и остроумно задевавшая самого Державина.

Поэт подражал своим литературным учителям, и в первую очередь Батюшкову и Жуковскому, многому учился у других русских и зарубежных поэтов. Мальчишеское озорство и начинавшиеся бурные любовные увлечения у Пушкина соединялись с пылкими вольнолюбивыми мечтами, жадным интересом к новейшим политическим идеям и событиям, чтением книг французских либеральных авторов. В 1816 году он вступил в литературное общество молодых последователей Карамзина «Арзамас», возглавляемое Жуковским и братьями Тургеневыми (по традиции общества Пушкин получил литературную кличку Сверчок, вполне оправдывая ее особенностями своего темперамента).

Закончив учение в лицее в июне 1817 года и попрощавшись с друзьями, Пушкин поступил на государственную службу, став чиновником Коллегии иностранных дел. Должность его не обременяла, к тому же юноша сразу уехал в псковское имение Михайловское, ставшее впоследствии местом его знаменитой ссылки и высочайших творческих достижений. Там поэт обрел новые впечатления и возможность спокойно творить.

Столичный Петербург вернул его в вольную атмосферу вечного праздника жизни, дал новые занятия и увлечения, и прежде всего театр, обширные литературные знакомства, новое дружеское окружение. Пушкин остается неизменным посетителем веселых собраний «Арзамаса» и общества «Зеленая лампа», принимает участие в борьбе с консерваторами и «староверами» из лагеря Шишкова, пишет на них блестящие сатиры и пародии («Слог дурен, темен, напыщён — /





А.С. Шишков. *Литография А. Мюнстера по оригиналу Д. Доу.* 1830-е гг.
В.А. Жуковский. *Гравюра А. Флорова по оригиналу П.Ф. Соколова.* 1817 г.

И тяжки словеса пустые» — так оценит Пушкин одну из поэм Ширинского-Шихматова).

Огромную роль в дальнейшей судьбе Пушкина сыграла общественная среда, определяющая «пульс» столичной жизни. Это передовая и образованная дворянская молодежь, новая элита, молодые Чацкие, умные и критически настроенные, убежденные либералы и патриоты. Позже Пушкин назвал этот кружок «Обществом умных». После величайшей победы 1812 года им многое было разрешено: просвещенный царь многое знал, но воспринимал «тайные» собрания, мятежные речи и политические вольности молодых дворян всего лишь как дань политической моде.

Среди новых друзей много будущих декабристов — М. Лунин, М. Орлов, К. Рылеев, И. Якушкин. Многие из тогдашних знакомых поэта стали потом министрами, государственными деятелями, генералами — Уваров, Блудов, Дашков. Пушкин близко сходится со своим сослуживцем А.С. Грибоедовым, знакомится с поэтами Гнедичем, Баратынским, Катениным, Денисом Давыдовым. П.Я. Чаадаев, братья Тургеневы — основной круг общения молодого поэта, где жаркие политические споры и обсуждение «Истории...» Карамзина соседствовали с чтением только что написанных стихов, бурными веселыми пирушками, любовными увлечениями и посещениями театра.

Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука, —

скажет позже Пушкин в романе «Евгений Онегин».

Идеи этой пестрой столичной среды были летучими, многими разделялись, но все же не являлись сколько-нибудь серьезной политической идеологией, объединявшей единомышленников, братьев по борьбе. В известном послании «К Чаадаеву» (1818) Пушкин точно назвал эти молодые мысли «души прекрасными порывами», но от таких первых порывов до зрелых политических идей и их практического воплощения в реальной жизни страны и народа молодым либералам надо было идти долгой и трудной дорогой. И многие потом выбрали более легкий и безопасный путь, ведущий к примирению с действительностью.

Молодые прогрессисты негодовали против деспотизма и рабства вообще, резко критиковали нерешительного императора и его бездарных министров (особенно — ненавистного всем министра Аракчеева). Сердитым либералам была присуща чисто русская «страсть правительство бранить / За всероссийские недуги» (Н.М. Языков). Не было никакого серьезного общественного движения или заговора, декабризм как тайное политическое общество и революционная идеология тогда еще не оформился, да и впоследствии он не очень далеко ушел от общих либеральных мест, лишенных историзма и конкретности политических решений. Такова была эпоха первых радостей, политическая оттепель, блаженная пора дозволенного, поощряемого сверху дворянского либерализма и просвещенного мистицизма, «дней Александровых прекрасное начало». Пушкин писал об этих шумных и вольных собраниях:

...Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство,
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,

Рассказы, песни шалуна;
И разгорались наши споры
От искр, и шуток, и вина...

Пушкин со всем увлечением молодости погружается в этот увлекательный мир дружеских споров, смелых суждений и грандиозных планов, как эхо, собирает их и с гордостью повторяет в своей вольнолюбивой лирике:

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

Заметим, что серьезные либеральные политики не вполне доверяли пылкому и непостоянному в своих убеждениях и увлечениях поэту, потому он так и не был принят в тайное общество. Однако именно юному Пушкину суждено было удивительно полно и эмоционально выразить либеральные идеи времени в своей вольнолюбивой лирике. Таковы его ранняя политическая сатира «Лицинию» (1815), ода «Вольность» (1817) и «гражданская элегия» «Деревня» (1819), дружеское послание «К Чаадаеву» (1818), сатира на «кочующего деспота» Александра I «Сказки. Noël» (1818), зовущее к мятежу и мести тиранам стихотворение «Кинжал» (1821). Эти смелые бесцензурные стихотворения знали все, они существовали во множестве списков и позже были найдены в бумагах арестованных декабристов. Пушкин стал первым поэтом русской дворянской оппозиции, и это определило его дальнейшую судьбу. Впрочем, тогда же были написаны пародийная поэма-сказка «Руслан и Людмила» (1818—1820) и множество дружеских и любовных посланий и эпиграмм.

К 1820 году правительство уже увидело всю опасность распространения «возмутительных» стихов Пушкина: власти раздражало смелое поведение поэта, неосторожные острые слова и резкая критика в свой адрес. За ним устанавливается полицейская слежка, и он вызывается для объяснений к петербургскому генерал-губернатору М. Милорадовичу. Поэту грозили арест и ссылка в Соловецкий монастырь или Сибирь. Друзья во главе с Карамзиным и Жуковским успешно хлопотали за него при дворе, в результате Пушкин был послан своим министром графом И.А. Каподистрией в длительную служебную командировку на Юг России, где как чиновник Коллегии иностранных дел он должен был переводить с французского законы и выполнять иные поручения. Этот внешне незначительный перевод по службе принято именовать *южной ссылкой* поэта.

Пушкин отправился в Екатеринослав 6 мая 1820 года, где тяжело заболел, но благодаря участию и заботам семьи Раевских добрался до Кавказа и Крыма. Поэт увидел тихий провинциальный Кишинев, бывал на собраниях будущих декабристов в имении Каменка близ Киева, а в 1823 году посетил европейски просвещенную и бурно развивающуюся Одессу. Молодой поэт открыл для себя новый мир, где Россия встретилась с Европой и Востоком, живописную природу, горы и море, бескрайние степи. Он познакомился с бытом цыган, украинцев, молдаван, видел греческих революционеров, казаков, кавказских горцев, крымских татар, европейских и восточных купцов. Смешение языков, преданий, литератур, обычаев и нравов, богатство впечатлений и новых открытий нашло свое отражение в пушкинской поэзии:

Все живо там, все там очей отрада,
Сады татар, селенья, города;
Отражена волнами скал громада,
В морской дали теряются суда...

Попав в среду «южных» декабристов (М.Ф. Орлов, П.И. Пестель, В.Ф. Раевский, В.Л. Давыдов) и либеральных дворянских оппозицио-



Одесса. Приморский бульвар. *Художник Гординский.* Конец 1830-х гг.

неров, Пушкин продолжает писать вольнолюбивые произведения; одновременно достигает расцвета его любовная лирика, появился и принес поэту новую славу цикл «южных» романтических поэм — «Кавказский пленник» (1820—1821), «Бахчисарайский фонтан» (1822—1823), «Цыганы» (1824). Его кумиром и учителем на время становится великий английский поэт Дж.Г. Байрон, вдохновенный романтик, революционер и путешественник, гордый певец могучей личности, свободы, любви, бурных страстей, мятежа против несправедливого общества. Этот смелый, сильный, красивый молодой поэт соперничал с другой легендарной фигурой европейской истории — Наполеоном. Сама смерть Байрона в восставшей и сражающейся Греции, в осажденном турками городе Миссолонги потрясла всю Европу. Байрон стал главным героем собственной поэзии, он дал поэтам своего времени новые темы и новые формы творческого самовыражения, открыл для них Италию, Грецию, мусульманский Восток, героику борьбы за свободу, силу любовных страстей, вечно вольную и мятежную стихию моря. «Он был, о море, твой певец», — скажет Пушкин в своем послании «К морю» (1824).

«Южные» поэмы Пушкина часто называют байроническими, хотя при всем их неизбежном и очевидном автобиографизме герои их, и прежде всего романтический Пленник, скорее отразили типические черты русской дворянской молодежи того времени — мятежность и протест, разочарование и усталость от жизни, тяжелые переживания, преждевременную старость души. В «Бахчисарайском фонтане» русских читателей привлекли сильные, полные страсти характеры гордого влюбленного хана, ревнивой и мятежной Заремы, мечтательной и страдающей Марии, драматическая судьба героев, живописная поэзия и природа экзотического Востока. Романтический герой-скиталец Алеко из «Цыган» стал воплощением крайнего индивидуализма, неуважения к чужой воле и жизни. Стали крылатыми слова старого цыгана, обращенные к главному герою поэмы:

Оставь нас, гордый человек!..
Ты для себя лишь хочешь воли...

На Юге жизнь молодого поэта мало изменилась в сравнении с петербургским периодом: он участвует в дружеских пирушках, ссорится с местными боярами, участвует в дуэльных поединках, влюбляется, путешествует по стране, кочует с цыганским табором, спорит с будущими декабристами о политике, следит за развитием греческой революции. «Разнообразие спасительно для души», — напишет он в письме к А.А. Дельвигу. Одновременно он много работает, читает, особенно

древних авторов, изучает местные исторические достопримечательности и обычаи, записывает песни и сказки. Главным же для Пушкина остается поэтическое творчество, освоение новых тем и жанров.

Эта веселая и вместе с тем творчески насыщенная жизнь продолжалась и в Одессе, о чем рассказывается в «Отрывках из путешествия Онегина». Во время пребывания в этом богатом и культурном европейском городе («Там все Европой дышит; веет...») поэт пишет «Цыган», работает над первыми главами «Евгения Онегина». Здесь же Пушкин поссорился со своим новым начальником, новороссийским генерал-губернатором М.С. Воронцовым, человеком храбрым, умным и просвещенным, но высокомерным и обидчивым (к тому же поэт имел «неосторожность» влюбиться в его красавицу жену Елизавету Ксаверьевну, посвятив ей ряд замечательных стихотворений). Столкновение это привело к официальному прошению графа отозвать Пушкина в Петербург. Возникло и дело об «афеизме» (атеизме) поэта после вскрытия тайной полицией его неосторожного частного письма. Император принял прошение Пушкина об отставке и распорядился сослать его под надзор местных властей в псковское имение Михайловское.

С августа 1824 года начинается новая эпоха в жизни и творчестве опального поэта. В михайловском уединении он критически обдумывает прошедшее, «грустные заблужденья», плоды «южного» байро-





Е.К. Воронцова. *Художник Ж.Э. Тельчер*. 1830 г.
М.С. Воронцов. *Барельеф Н. Шределя*. 1843 г.

низма и одновременно с надеждой смотрит в будущее («Уединение мое совершенно — праздность торжественна»). Здесь поэт завершает «Цыган» и приступает к созданию фантастической народной драмы «Русалка», пишет стихотворение «К морю» и роман «Евгений Онегин». Пушкин так говорил о своем михайловском изгнании:

Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

Душа и гений поэта созревали в деревенской тиши. Пушкин заметно охладевает к миру романтических героев и все больше обращается к изображению жизни обычных людей, прозы повседневной русской действительности, о чем свидетельствует его шутливая поэма «Граф Нулин». В этой веселой истории сказались интерес поэта к превратностям истории, чтение Шекспира, русских летописей и «Истории...» Карамзина, напряженные размышления об известном ему заговоре декабристов. Для Пушкина наступает пора переоценки ценностей, зрелого переосмысления себя и окружающего мира: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить».

В Михайловском создано одно из лучших творений Пушкина — трагедия «Борис Годунов», в которой глубоко осмыслены судьбы



Кабинет А.С. Пушкина в Михайловском. *Современная фотография*

России и народа в сложнейшую пору Смуты. Расцветает и углубляется лирический дар поэта: он пишет замечательные стихотворения «Ненастный день потух...», «К Языкову», «Андрей Шенье», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану», «Желание славы», «К ***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Вакхическая песня», «19 октября», драматическую «Сцену из Фауста».

В Михайловском Пушкина настигла страшная весть о поражении декабристов и тяжкой участи заговорщиков. Известие это стало для поэта великим потрясением: снова и снова он мысленно обращался к опальным друзьям, пытаясь осмыслить произошедшее и понять, какое будущее ожидает его самого. («И я бы мог, как шут...» — эта надпись в пушкинской рукописи соседствует с рисунком, изображающем повешенных декабристов.) В это время смертельно больной Карамзин обращается к Николаю I с просьбой простить и вернуть Пушкина, и эта его последняя воля была императором выполнена.

Осенью 1826 года поэт был с фельдъегерем доставлен в Москву на коронацию, имел с царем важный и откровенный разговор и был прощен (новый император по достоинству оценил искренность и прямоту опального поэта, честно сознавшегося в том, что, окажись 14 декабря в Петербурге, он не остался бы в стороне от известных событий). Николай освободил его от обычной цензуры и обещал сам быть его цензором. Поэт ответил на это программным стихотворением «Стансы»





Н.М. Карамзин. *Художник А.Г. Венецианов.* 1828 г.
Император Николай I. *Литография Ф. Шевалье по оригиналу В.И. Гау.* 1830–1840-е гг.

(«В надежде славы и добра...»), финальные строки которого обращены к новому государю — наследнику Петра Великого: «Во всем будь пращуру подобен: / Как он, неутомим и тверд, / И памятью, как он, незлобен». Москва с восторгом приняла Пушкина. Как первый национальный поэт он стал во главе лучших культурных сил России в это тяжелое, переходное время, принял участие в деятельности нового журнала «Московский вестник».

Творчество художника обрело новые силы, и это прежде всего выразилось в знаменитом цикле стихотворений о назначении поэта («Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту») и в замечательном стихотворении «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»). Пушкинская лирика все более тяготеет к философскому началу («Дар напрасный, дар случайный...», «Анчар», «Элегия», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Пора, мой друг, пора...», «...Вновь я посетил...»).

Наряду с лирическими шедеврами Пушкин создает произведения, обращенные к страницам русской истории, пишет художественную прозу, критические статьи. Вернувшись в 1827 году в Михайловское, он начинает роман «Арап Петра Великого», продолжает работу над «Евгением Онегиным», создает героическую поэму «Полтава».

В 1829 году поэт самовольно едет в действующую армию на Кавказ, и как результат — резкий выговор царя, замечательное «Путешествие в Арзрум», яркие путевые записки, развивающие темы «Кавказского пленника». В этот период многое меняется в личной жизни поэта: он полюбил юную московскую красавицу Наталью Гончарову и сделал ей предложение. («...Извините нетерпение сердца больного, которому недоступно счастье. Я сейчас уезжаю и в глубине своей души увожу образ небесного существа, обязанного вам жизнью» — эти проникновенные слова поэта обращены к Гончаровой-старшей.) Пушкин упорно добивался ответного чувства девушки и согласия ее матери, но венчание состоялось лишь в 1831 году в московской церкви Большого Вознесения. Пушкин наконец обрел любовь, семью и дом, хотя в «большом» мире по-прежнему не было уверенности и покоя.

Несмотря на перипетии бурной жизни, пушкинский дар достигает небывалого расцвета в осенней уединенной тиши болдинского имения в 1830 году, когда были написаны «Маленькие трагедии» «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Каменный гость». Там же создан прозаический цикл «Повести Белкина» и «История села Горюхина», цикл сказок в народном духе. За ними последовали незавершенные романы «Рославлев» (1831) и «Дубровский» (1832). Задумана и частично написана «История Петра», созданы стихотворения на историческую тему — «К вельможе» (1830), «Полководец» и «Пир Петра Первого» (1835). Вторая Болдинская осень 1833 года принесла новые шедевры: поэмы «Анджело» и «Медный всадник», «Историю Пугачева». Тогда же начаты повесть «Пиковая дама» и исторический роман «Капитанская дочка».





А.С. Пушкин. *Художник П.Ф. Соколов.* 1836 г. Фрагмент портрета
Н.Н. Пушкина. *Художник А.П. Брюллов.* 1831–1832 гг. Фрагмент портрета

В этом же году Пушкину был пожалован придворный чин камер-юнкера, что было воспринято «облагодетельствованным» поэтом как унижение. Меняется отношение к царю: Пушкин постоянно думает об отставке и отъезде в деревню, однако царь и жена поэта, любившая балы и светские развлечения, стали препятствием на пути к желаемым «покою и воле». Внутреннее напряжение и недовольство поэта нарастали. «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом!» — в этих словах звучит отчаяние и неверие в лучшую судьбу. Постоянные притеснения и царские выговоры, долги и семейные неурядицы омрачали последние годы жизни поэта, хотя и это время отмечено очередными шедеврами: созданы повесть «Египетские ночи», стихотворения «Из Пиндемонти», «Была пора: наш праздник молодой...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Мирская власть», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

В 1836 году в петербургском высшем обществе против Пушкина была начата интрига: сплетники попытались скомпрометировать молодую и неосторожную жену поэта, за которой настойчиво ухаживал гвардейский офицер, красавец француз Жорж Дантес Геккерен. По-

лучив по почте оскорбительное анонимное письмо, содержащее намеки на связь его жены с Дантесом, Пушкин вызвал француза на дуэль, которая не состоялась благодаря усилиям друзей поэта и хлопотам приемного отца Дантеса, голландского посланника Геккерена.

Началось долгое, необыкновенно тяжелое для оскорбленного, защищавшего свою честь и независимость поэта противостояние, закончившееся 27 января 1837 года роковым поединком на Черной речке. Получив смертельное ранение, Пушкин мужественно переносил жесточайшие мучения и через два дня скончался, оплакиваемый близкими и друзьями. П.А. Вяземский вспоминал: «Прощаясь с детьми, перекрестил он их. С женою прощался несколько раз и всегда говорил ей с нежностью и любовью. С нами прощался он посреди ужасных мучений и судорожных движений, но духом бодрым и с нежностью <...> Данзас, желая выведать, в каких чувствах умирает он к Геккерну, спросил его: не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти касательно Геккерна? «Требую, отвечал он ему, чтобы ты не мстил за мою смерть, прощаю ему и хочу умереть христианином». Десятки тысяч людей побывали за это время на набережной возле его квартиры — так выразились всенародное признание и любовь к великому художнику. Россия прощалась со своим признанным национальным поэтом. «У кого из русских с его смертию не оторвалось что-то от сердца?» — скорбно вопрошал В.А. Жуковский. А молодой гусарский офицер М.Ю. Лермонтов написал в своем знаменитом гневном стихотворении «Смерть Поэта»:

Погиб поэт! — невольник чести, —
Пал, оклеветанный молвой...



Ж.Ш. Дантес Геккерн. *Художник Т. Райт.* 1830-е гг.

ЛИРИКА

«Я петь пустого не умею...»

Поэтическое отрочество Пушкина было овеяно благодатью вольных лицейских лет. И хотя юный поэт часто именовал лицей «монастырем», а себя «монахом», в действительности все выглядело не так мрачно. Разного рода дисциплинарные ограничения, неизбежные в учреждении закрытого типа, не мешали юношам-лицеистам писать стихи, устраивать тайные пирушки, совершать побеги на «волю» и общаться с молодыми гусарами, среди которых Пушкина особо привлекал Петр Чаадаев, удостоившийся «послания к портрету»:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарской.

Среди различных стихотворных жанров с поразительной быстротой освоенных «начинающим» поэтом, жанр послания занимает едва ли не главенствующее место. Это и шутливое, фривольное послание «К Наталье», обращенное к крепостной актрисе театра В.В. Толстого, и многочисленные обращения к друзьям и литературным учителям («Жуковскому», «К Батюшкову», «К Пущину», «Дельвигу»). Лицейская лирика Пушкина необыкновенно жизнерадостна, это голос крылатой юности, пробующий себя в большой поэзии. В послании, адресованном князю А.М. Горчакову, товарищу по Лицею, поэт желает адресату прожить свой век «питомцем нежным Эпикура», то есть стать последователем этического учения известного древнегреческого философа, в основе которого — разумное стремление человека к счастью (*эпикуреизм* смыслился как определенный образ жизни, характеризующийся стремлением к чувственным удовольствиям и радостям бытия). Вакх, Амур, Купидон — эти имена звучат во многих пушкинских стихотворениях, объединенных мотивом «разгула на пиру жизни». В **«Пирующих студентах»** (1814) Пушкин, пародируя форму «Певца во стане русских воинов» Жуковского, представляет участников пира — юных лицеистов, среди которых «ленивец сонный» Дельвиг, «сиятельный повеса» Горчаков, «товарищ милый» Пущин и др. Стихотворение насыщено эпикурейской символикой, в которой особо выделяется «вино златое» — символ высокого дружества, братского едине-

ния юных служителей Вакха и Аполлона: «Друзья! Досужный час настал...»

На фоне этих восторженных прославлений праздника юности отчетливо звучит тема поэзии. В уже упомянутом послании **«Дельвигу»** (1817) поэт признается:

Я лирных звуков наслажденья
Младенцем чувствовать умел,
И лира стала мой удел.

Речь идет не просто об общем увлечении стихотворством, поощряемом лицейскими учителями, а о жизненно важном выборе призвания, о «тайном пути», в начале которого оказался самый одаренный из «лицейских братьев». И хотя в обращении к Дельвигу нельзя не заметить легкой иронии автора, намеренно преуменьшающего свои поэтические заслуги в пользу «милого друга», в целом звучание стихотворения отражает серьезные раздумья начинающего, но уже «власть имущего» стихотворца над проблемой выбора творческого (а значит, жизненного) пути.

Прочитайте стихотворение Пушкина «К другу стихотворцу» (1814), ставшее первым печатным произведением поэта. Определите главную тему стихотворения и, пользуясь необходимым комментарием, выделите персонажи, фигурирующие в монологе обладателя «сатирического пера». В чем убеждает начинающего поэта Ариста его многоопытный друг? Каковы предположительные ответы Ариста? Приемлема ли для художника формула: «Быть славным — хорошо, спокойным — лучше вдвое»?

Ранняя лирика Пушкина отнюдь не сводима к «легким» жанрам. В 1814 году по предложению профессора А. Галича Пушкин написал оду **«Воспоминания в Царском Селе»**, предназначенную для чтения на переходных экзаменах в Лицее 8 января 1815 года. Внешне стихотворение выдержано в жестких рамках классицистических требований: здесь присутствуют и условный, «заставочный» пейзаж, и «высокая» тема, и торжественная лексика («Навис покров угрюмой нощи / На своде дремлющих небес...»). Но под одической «громозвучностью» скрываются личные переживания автора, выступающего как некое лирическое «я» («Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья / Грядет с оливою златой»). Ряд сравнений, к которым прибегает Пушкин, имеет скорее элегическую, а не торжественную огласку («и тихая лу-



А.А. Дельвиг.
Художник К. Шлезигер. 1827 г.

на, как лебедь величавый...»). Молодой поэт-новатор одновременно удерживает себя в рамках традиционного жанра и «вырастает» из него, стремясь к новым формам выражения лирического чувства. И те элегии и романсы, которые Пушкин написал в годы ученичества, — яркое и убедительное подтверждение его окрепшего дара. В ранней, получившей мгновенную популярность элегии **«Желание»** (1816) поэт передает богатейшую гамму любовных переживаний, раскрывает драму безответного чувства («медлительно влекутся дни мои», «мне слезы утешенье», «душа, плененная тоской» и т.п.). Финал этого раннего пушкинского шедевра по глубине психологизма и отточенности формы не уступает многим более поздним вершинным творениям поэта:

О жизни час! Лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье —
Пускай умру, но пусть умру любя!

Уверенно осваивая достижения современной ему поэзии, Пушкин уже на раннем этапе своего творчества проявляет свойственную ему всеохватность, стремление отобразить различные стороны человеческого бытия. Совсем еще юный, вступающий в жизнь поэт размышляет над проблемой веры и безверия («Безверие», 1817), вскрывает сущ-

ность тирании и ее последствий («Лицинию», 1815), дает развернутую оценку великим историческим событиям («Александру» («Утихла брань племен...»), 1815). Отсутствие в творческой судьбе Пушкина периода наивного ученичества, «пробы пера» свидетельствовало о рождении русского гения, поэта-пророка, «близко стоящего к самому средоточию русской жизни» (И.С. Тургенев).

«Свободы верный воин»

По окончании Лицея Пушкин окунулся в бурную, полную развлечений и пропитанную духом либерального вольномыслия атмосферу столичной жизни. Рост свободолюбивых настроений в русском обществе был обусловлен многими причинами, среди них Великая французская революция 1789 года и события 1812 года, а также итоги зарубежного похода русского воинства в 1814 году. Обещанные Александром I в начале царствования либеральные проекты остались лишь намерениями, что вызвало рост недовольства в среде образованного молодого дворянства. На этом фоне вновь стали актуальны радищевские призывы к борьбе с самодержавным самовластьем. Возникали тайные собрания и кружки (вроде упомянутой «Зеленой лампы») — литературно-политические объединения с явным либеральным уклоном. Пушкин был завсегдатаем вечеров, заседаний молодых прогрессистов — членов «Союза спасения» и «Союза благоденствия», рассматривающих лирику вольнолюбивого поэта как важнейшее средство распространения передовых идей. Общение с братьями Тургеневыми, Н. Муравьевым и И. Долгоруким оказало огромное влияние на взгляды Пушкина-художника («Витийством резким знамениты, / Сбирались члены той семьи» — так охарактеризует поэт тайные собрания будущих декабристов в набросках к 10 главе романа «Евгений Онегин»). П.А. Вяземский вспоминал об этом периоде жизни Пушкина: «Он часто был Эолова арфа либерализма на пиршествах молодежи и отзывался теми веяниями, теми голосами, которые налетали на него <...> Он любил чистую свободу, как любить ее должно, как не может не любить ее каждое молодое сердце, каждая благорожденная душа».

Еще в Царском Селе лицеист Пушкин познакомился у Карамзиных с корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Петром Яковлевичем Чаадаевым, участником войны 1812 года и зарубежного похода русской армии, одним из умнейших и образованнейших людей эпохи. Знакомство это быстро превратилось в дружбу. Гвардейский офицер, самобытный мыслитель и даровитый писатель, будущий автор знаменитых «Философических писем», оказал на юношу огромное духов-



П.Я. Чаадаев. *Художник И.И. Вивьен.* 1823 г.

ное влияние и не случайно упомянут в «Евгении Онегине». В позднейшем послании «Чаадаеву» (1821) Пушкин назвал старшего друга мудрецом и мечтателем, вспоминая его с благодарностью:

Ты был ценителем моих душевных сил...
Твой жар воспламенял к высокому любовь...

Общение их продолжалось и в Петербурге, где Чаадаев стал одной из самых заметных фигур. Он ввел Пушкина в среду будущих дворян-революционеров.

Мысли и чаяния столичной либеральной молодежи юный Пушкин поэтически обобщил и вдохновенно высказал в знаменитом дружеском послании **«К Чаадаеву»** (1818). Ключевое, главное слово в этом стихотворении — *горим*. Горят сердца, горят желанья, кипят обличительные речи и политические страсти.

Молодость восторженна, нетерпелива и вольнолюбива, ее пылкие мечты и надежды, «души прекрасные порывы» посвящены томящейся в рабстве и взывающей о спасении отчизне. Гнет роковой власти, твердыни самодержавия не заглушил в друзьях чувства

гражданского долга и чести. Они полны веры, «вольнолюбивых надежд», жаждут разбудить Россию, уничтожить рабство и совершить свой подвиг во имя «вольности святой».

Где-то впереди, вдали, в тумане мерцает яркая «звезда пленительного счастья», символ новой жизни, вольности и справедливости, и поэт призывает старшего товарища и всех истинных друзей свободы верить в ее неизбежный победный восход.

Подумайте над композиционной логикой стихотворения. В чем смысл первой строфы и упоминания о «тихой славе»? Как соотносится начальная строфа послания с последующим его текстом? Какие декабристские образы-эмблемы присутствуют в нем?

Дружеское послание недавно вышедшего из лицейской кельи юноши пронизано страстными политическими призывами, смело и открыто зовет к восстанию и сокрушению самодержавной тирании. Здесь всего лишь шаг до призыва к мести тиранам, к цареубийству (Пушкин делает этот шаг в оде «Вольность», 1817). Даже по тем либеральным временам такие крамольные мысли считались государственным преступлением и карались строго. А ведь послание «К Чаадаеву» в списках разошлось по всей России, и декабристы использовали его в своей агитации.

По форме это пушкинское стихотворение является произнесенной в узком дружеском кругу единомышленников *политической* речью, оно построено по всем правилам преподававшихся в Лицее риторики и красноречия. Выраженные в емких, чеканных формулах, эти мысли были широко известны, разделялись всей молодежью, на этих вдохновенных воззваниях строилась идеология передового дворянства. Хотя непосредственно эта речь обращена к старшему другу, мыслителю и декабристу Чаадаеву, речь идет о целом поколении, призванном решать насущные проблемы общества.

В центре вольнолюбивой лирики молодого Пушкина — ода «Вольность» и стихотворение «Деревня». Как показывает первое название, эти торжественные, велеречивые произведения написаны «вослед» дворянскому революционеру А.Н. Радищеву. И сам жанр оды, и язык этих политических произведений подчеркнуто архаичны, стилизованы в духе древнеримской сатиры, высокой гражданской поэзии в духе Державина, которую возрождали тогда поэты-декабристы, и прежде всего К.Ф. Рылеев.

Если в дружеском послании «К Чаадаеву» содержался пылкий призыв к борьбе с самовластием вообще, то в одах Пушкина подробно

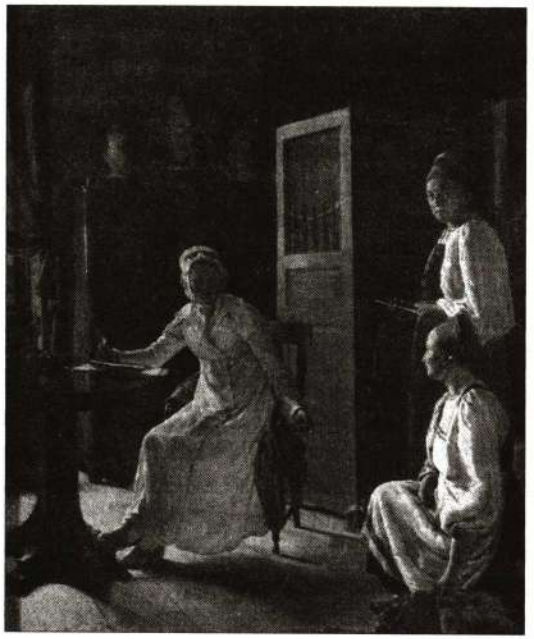
разъяснено, с кем и с чем конкретно необходимо бороться. Эти произведения полны возмущения, политических обвинений и резких оценок, в них со значением говорится о европейских революциях и расправах восставшего народа над монархами-тиранами. Это программные стихотворения русской дворянской оппозиции.

Прочитайте оду Пушкина «Вольность» (1817) и ответьте на вопросы: какую цель ставит перед собой автор? В чем он видит опасность и бесчеловечность тирании? Какие страницы русской и мировой истории аллегорически представлены в «Вольности»? Почему многие слова в стихотворении пишутся с заглавной буквы, и прежде всего — Закон?

«Деревня» (1819) написана в Михайловском «в уединенье величавом». Это большое стихотворение распадается на две части. Первая из них представляет собой сентиментально-нравоучительную элегию в духе «Сельского кладбища» Жуковского. Здесь заметно сильное влияние античной идиллии, картин мирной пастушеской жизни, популярных в тогдашней русской лирике, от Державина до Батюшкова. Традиционно противопоставлены шумные забавы, пороки, суетные заблуждения столицы и сельская тишина и праздность. Пушкин с любовью рисует знакомые пейзажи, но в соответствии с законами оды образ сельской идиллической жизни получается у него обобщенным, идеализированным и условным:

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.

Пушкинская деревня полна довольства и умиротворения и мало напоминает реальное Михайловское. Столь же условен, мало похож на реального юношу Пушкина и образ поэта, уединенного и праздного мудреца, вдали от городской суеты размышляющего об истине, законах, уроках истории, капризах непросвещенной толпы, участи злодеев и глупцов. Слова «порочный двор Цирцей» и «роскошные пиры» являются обычными для просветительской оды и сатиры условными формулами: сам юный поэт не был придворным, имел небольшой чин и жалованье, был далек от роскошных пиров. Поэт в «Деревне», в отличие от реального Пушкина, — человек весьма зрелый, спокойный и мудрый. Высокие мысли, приходящие в тиши, рождают в нем творческий жар, жажду поэтического труда. Этим завершается первая, эле-



Утро помещицы.
Художник А.Г. Венецианов. 1823 г.

гическая часть «Деревни», которая была вскоре опубликована под названием «Уединение». Однако с момента ее написания пушкинская «Деревня» распространялась в многочисленных списках, где текст ее приводился полностью. За первой частью в этом тексте следовала вторая, где по принципу романтического контраста сельской идиллии противопоставлена мрачная картина всеобщего упадка, народных страданий, угнетения, подневольного труда, самодурства и деспотизма:

Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея...

Тихий рай мирных поселян и мудрого просвещенного барина-поэта безжалостно разрушен «Барством диким и Рабством тощим». Здесь нет чувства и Закона, царят Невежество и Позор.

Виной всему безнравственное и беззаконное крепостное право, когда рабы всецело зависят от неумолимого Владельца. Здесь пушкинская элегия переходит в высокую гражданственную сатиру, покой сменяется гневом, бурей возмущения. Есть здесь и черты оды, жанра, как

известно, ораторского, предназначенного для публичного чтения. Поэт передает негодование своей взволнованной души в грозной обвинительной речи, каковой и является, по сути, вторая часть «Деревни».

В этом страстном призыве Пушкин выражает свое желание увидеть освобожденный народ и падшее «по манию царя» рабство, жаждет не только уничтожения крепостного права, но и освобождения всей России от гнета беззаконного деспотизма.

Уничтожение рабства всегда было заветной мечтой Пушкина. Недаром он писал позднее: «Нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян». Эта идея была близка и декабристам, в особенности другу Пушкина Николаю Тургеневу, молодому государственному деятелю и выдающемуся экономисту, готовившему тогда для Александра I записку об отмене крепостного права. Сам царь понимал необходимость такого освобождения «сверху» и пытался что-то сделать практически (закон о вольных хлебопашцах). Поэтому, получив через Чаадаева список «Деревни», Александр I велел «благодарить Пушкина за добрые чувства», не обратив внимания на смелый призыв поэта к свободе. Вскоре царь, ознакомившись и с другими вольнолюбивыми произведениями молодого поэта, изменил свое мнение, и лишь вмешательство влиятельных друзей поэта во главе с Карамзиным позволило уберечь Пушкина от ссылки в Сибирь.

Поэтический побег

«Южный» период творчества Пушкина был не менее плодотворен, нежели годы раннего становления его лирического дара. Побывав на Кавказе, в Крыму и Молдавии, посетив Одессу и Украину, поэт обрел массу новых знакомств, а его лира вобрала в себя яркое многоцветье незабываемых впечатлений, красок, колоритных образов и деталей. Вспоминая о пребывании Пушкина в Кишиневе, писатель А.Ф. Вельтман свидетельствовал о необычайной активности поэта, обладавшего неукротимым темпераментом и открытостью ко всему новому, что предлагала жизнь: «...Живым нравом и остротой ума Пушкин вскоре покорил и внимание молдавского общества: все оригинально-странное не ушло от его колючих эпиграмм, несмотря на то что он их бросал в разговоры как будто только по одной привычке: память молодежи их ловила на лету и носилась с ними по городу». Но ни череда ярких встреч и знакомств, включая тайные собрания в Каменке, ни многочисленные дуэльные истории не заслоняли главного в судьбе поэта — его вдохновенного творчества,

отмеченного в годы южной ссылки яркими достижениями в области романтической лирики.

Жанрово-тематический диапазон «южных» произведений Пушкина необычайно широк: любовные элегии «Погасло дневное светило...», «Редеет облаков летучая гряда...», стихотворения «Наполеон», «К Овидию», «Песнь о вещем Олеге», «В.Л. Давыдову», «Чаадаеву», «Кто, волны, вас остановил...» и др., а также цикл романтических поэм. Вольнолюбивые настроения не покинули поэта, он по-прежнему тянулся к друзьям-декабристам, проводил с ними вечера в спорах о политике, европейских революциях, борьбе греков за свободу и путях изменения судеб России. Вместе с тем он стал лучше понимать подлинную цену свободы, был поражен роковыми неудачами европейского и греческого освободительного движения, начинал видеть нереалистичность и тщетность действий малочисленных и разобщенных дворянских революционеров в стране, где простой люд их не знал, не понимал и не поддерживал. Это растущее разочарование отразилось в таком пушкинском шедевре, как «Свободы сеятель пустынный...»:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.

В период пребывания на Юге Пушкин стремительно менялся, мужал, к поэту приходили новые наблюдения и мудрость, знание реальной жизни и людей. Море, молодость, мечтания, любовь, новые «думы сердца» породили целый лирический цикл, то есть ряд стихотворений, объединенных образом мятежного, страстного певца и открывающихся поэтическим воспоминанием **«Погасло дневное светило...»** (1820), где автор прощается с бурной мятежной молодостью и с надеждой смотрит вперед, в будущее, называя себя «искателем новых впечатлений»: «Прошел веселой жизни праздник».

«Погасло дневное светило...» — характерная романтическая элегия, печальное воспоминание о проходящей молодости, первой любви, надеждах и страданиях, ранах сердца, политических бурях. Это рассказ о том, как на смену первым радостям и иллюзиям приходит дорого давшийся жизненный опыт. Пушкину-романтику мало выразить свои чувства в этом лирическом признании, он хочет рассказать о себе как о человеке, уже прошедшем важную, первую часть жизненного пути, поведать об уроках своей трудной судьбы, столь похожей на жизнь молодых и вольно мыслящих людей его круга. Чувства поэта «начинают мыслить», а встревоженному разуму удается разобраться в окружающей действительности и людях. И здесь

видно, сколь многому научился Пушкин у Байрона. В то же время он пошел дальше своего великого учителя, да и время уже изменилось: героическая эпоха Байрона и его яркая бурная жизнь завершались.

Нельзя не отметить удивительную образную и композиционную стройность пушкинской элегии, части которой скреплены ярким, запоминающимся повтором:

Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан!..

Образ вечно волнующегося моря, пронизывающий все стихотворение, — это образ жизни с ее опасностями, тревогами, бурями и счастьем. Себя поэт отождествляет с мятежным кораблем, смело несущимся вперед по меняющимся, опасным волнам бурной жизни. Отдаленный берег, видящийся ему, символизирует собой новую жизнь, новые идеалы и впечатления. Глядя на эту волшебную страну надежд, поэт вспоминает свою утраченную юность, тот берег разочарований и страданий, который он покинул, свершив свое поэтическое бегство навстречу неизведанному:

Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья...

Именно поэтому так сильны и горьки его воспоминания о прошлом, неизбежные жалобы и сомнения соединяются в стихотворении с верой и надеждой. Вокруг этого этапного, ключевого стихотворения складывается целый цикл элегий («Редеет облаков летучая гряда...», «Я пережил свои желанья...», «К морю» и др.), вершиной которого является *полный* текст гениального **«Воспоминания»** (1828).

Прочитайте элегию Пушкина «Воспоминание», ознакомившись в примечаниях с рукописным авторским окончанием. Сопоставьте первый и второй варианты финала стихотворения. Как они передают общий смысл лирического высказывания?

Эти неизбежные сомнения и разочарования взрослеющей души не следует рассматривать как трагический бесповоротный отказ от молодого вольнолюбия и юношеских надежд. Как уже отмечалось, Пушкин на Юге жил в декабристской среде, наблюдал в Кишиневе,

Одессе и в украинском имении Давыдовых быстрое созревание военного антиправительственного заговора.

Именно в этот период им написано политическое стихотворение «Кинжал» (1821), сразу же распространившееся в списках по России и найденное потом при обысках многих декабристов. Здесь воспето оружие заговорщика, ставшее символом праведной мести и последнего суда еще во времена Великой французской революции. Оно грозно сверкает там, где царят произвол и беззаконие власти, где жестокий тиран нарушил все свои обязательства перед народом и во имя своих прихотей и властолюбия растоптал права самоценной личности:

Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет
Среди своих пиров.

Поэт передает краткую, но выразительную историю «последнего судии Позора и Обиды», рассказывает о мстителях и революционерах — от героического Брута, убийцы Цезаря, до немецкого студента Карла Занда, заколовшего реакционного писателя А. Коцебу, слугу русского императора, и казненного на плахе. Этот ставший европейски знаменитым революционер и мученик назван Пушкиным «юным праведником», а орудие мести — кинжал — становится памятником на его «торжественной могиле». Это дерзкое бесцензурное стихотворение выразило не только личные мысли и убеждения поэта, но и революционную идеологию его времени, настроения пушкинского окружения, радикальных «южных» декабристов.

Тогда же написано пушкинское дружеское послание **«В.Л. Давыдову»** (1821), адресованное приятелю-декабристу. Это совсем другой жанр, другой тон лирического обращения. Здесь много личных чувств и мнений, здесь говорится о быте, звучат добродушный юмор, воспоминания об общих друзьях, любовных проказах и пирах, даже веселое богохульство, за которое неосторожный Пушкин впоследствии расплатится ссылкой в Михайловское. Но поэт с явным сочувствием говорит о неудачном греческом восстании и его вожде князе А. Ипсиланти, об их дружеских тостах в честь европейской революции и ее деятелей. При этом Пушкин признает закономерность поражения освободительного движения, не поддержанного народными массами:

Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.

И все же он призывает друга-декабриста не отчаиваться, насладиться счастьем борьбы и «причаститься кровавой чаши», быть готовым к жертвенным подвигам: «Ужель надежды луч исчез?»

Себя самого Пушкин сравнивает с опальным римским поэтом Овидием, некогда сосланным императором в эти степи (**«К Овидию»**, 1821):

Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой — участью я равен был тебе.

Между тем молодого поэта, принявшего «Овидиев венец» и ставшего «изгнанником самовольным», ожидали новые впечатления и художественные открытия.

Главное стихотворение «южного» цикла **«К морю»** (1824), написанное уже в новой, псковской ссылке, в северном селе Михайловском, стало элегическим воспоминанием о Юге, «свободной стихии» — море, молодой игре смелого разума и сильных страстей, надеждах, желании сражаться за свободу греков и бежать для этого за границу. Оно также стало надгробным словом двум героям того романтического времени — великому Наполеону и мужественному Байрону:

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен.
Как ты, ничем неукротим.

Пребывание поэта на берегах вечного могучего моря обернулось для него и горьким разочарованием в надеждах и иллюзиях вольнолюбивой юности:

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.

Его «поэтический побег» из России не удался, да и был, в сущности, обречен. Так гордый свободолюбивый Пушкин, потомок древних бояр, выразил свой протест, несогласие с верховной властью. Образ моря стал символом бурной поэтической души автора, обращающего-

ся к «свободной стихии» как выражению собственных мыслей и чувств. Пушкин использует романтический принцип контраста, сопоставляя свой внутренний мир со стихией природы. Море вечно в своей «торжественной красе», живет по своим законам, а смертный человек меняется, обретает душевную зрелость и глубину. Здесь важна временна́я дистанция, внимательный и критический взгляд назад, на «мятежной младостью утраченные годы» и себя прежнего на фоне вечной стихии.

Сравните пушкинское стихотворение с элегией В.А. Жуковского «Море». В чем их сходство и как в каждом из них проявляется индивидуальный опыт художника?

Тема пушкинского «прощального» стихотворения — очарование и разочарование, их неизбежная смена, а образ бурного, изменчивого моря, соединившись с образом печальной поэтической души, превращает это лирическое признание в грустную и мудрую элегию — воспоминание о годах юности, ее радостях, порывах и ошибках.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

Для Пушкина начинались другая жизнь и другая поэзия. А другу Чаадаеву он написал из Крыма:

Чедаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

Взлет пушкинского романтического творчества и одновременно преодоление романтизма и байронизма во имя поисков новых форм художественного изображения со всей наглядностью проявляются и в пушкинских «южных» поэмах — «Кавказский пленник» (1821),

«Бахчисарайский фонтан» (1821), «Цыганы» (1824). Среди них особо выделяется **«Кавказский пленник»** — первая «серьезная» поэма молодого автора, сразу принесшая ему славу и титул «русского Байрона». В «Посвящении», адресованном Н.Н. Раевскому, автор «Пленника» замечает:

Ты здесь найдешь воспоминанья,
Быть может, милых сердцу дней,
Противуречия страстей,
Мечты знакомые, знакомые страданья
И тайный глас души моей.

В романтическом произведении голоса автора и его героя сливаются и образуют единую «точку зрения» на мир и людей. У Пушкина это одновременно так и не так: соблюдая все каноны романтической «повести в стихах», автор все же оставляет за собой право быть объективным художником, не «укладывающимся» в рамки романтического типа.

В центре поэмы (а точнее, первого ее варианта) стоит герой, казалось бы, вполне байронический, разочаровавшийся в жизни, говорящий о «души безвременной старости во цвете лет». Тема лермонтовская, но возникшая задолго до появления Лермонтова и решенная Пушкиным совсем иначе. Белинский с полным основанием говорил, что в герое этом тогдашняя молодежь увидела отражение своих заветных дум и чувств: «Пленник — *это герой того времени*». Именно таким задумал и создал своего персонажа сам Пушкин.

Но является ли романтический герой «Кавказского пленника» байроническим в полном смысле этого слова? Здесь чрезвычайно важно выяснить точку зрения поэта на своего главного персонажа, авторскую позицию. Сам Пушкин следующим образом описал пафос Байрона: «Он постиг, полюбил один токмо характер — (именно свой), все, кроме некоторых сатирических выходок, рассеянных в его творениях, отнес он к сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному». Байронизм невозможен без очень серьезного отношения автора к герою и самому себе, и автор «Кавказского пленника» нашел для этого чувства точное название — самолюбование.

Свое же отношение к Пленнику Пушкин в 1822 году определяет совсем иначе: «Характер Пленника неудачен: доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевремен-

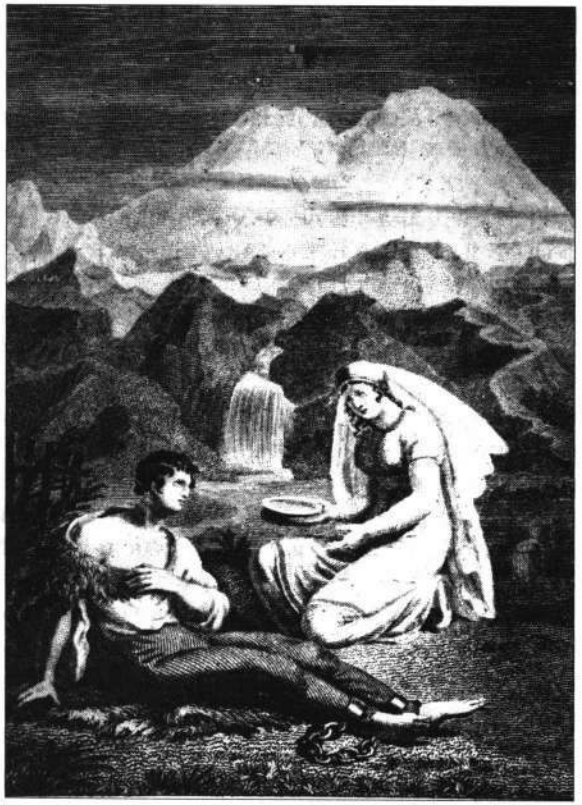


Иллюстрация к поэме «Кавказский пленник».
Гравюра С.Ф. Галактионова и М.В. Ческого по оригиналу И.А. Иванова. 1824 г.

ную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века». И позднее пишет о том же в «Путешествии к Арзрум»: «Здесь нашел я измаранный список «Кавказского пленника» и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно». В одном поэтическом отрывке 1823 года ясно сказано: «Все так — но пленник мой не я». Все эти авторские комментарии чрезвычайно важны для понимания пушкинских персонажей, ибо решительно отделяют от них автора.

Пушкин неоднократно подчеркивает, что автор — не романтический герой «Кавказского пленника». Он лишь угадал и изобразил здесь характерные черты романтической молодежи того времени. Байронизм Пленника не был байронизмом Пушкина. Поэт не выражает свое

мироощущение, а лишь изображает героя байронической эпохи, причем стремится к точности. Характерно, что у Пленника нет имени, ибо это собирательный образ современника, портрет многих молодых читателей и подражателей Байрона. О таких героях точно сказал Белинский: «Но не Пушкин родил или выдумал их: он только первый указал на них, потому что они уже начали показываться еще до него, а при нем их было уже много».

Герой пушкинской поэмы, конечно, романтичен, но рождается он не в глубинах авторской души, а отражает реальный облик молодого поколения и эпохи. Конечно, многие его мысли и чувства поэту понятны и близки, но это не автопортрет. Да и трудно представить, что юноша Пушкин сначала написал веселую и светлую, полную доверия и любви к жизни сказку «Руслан и Людмила», затем вдруг охладел, разочаровался в жизни и любви и это байроническое разочарование с полной серьезностью выразил в «Кавказском пленнике».

К тому же характер романтического героя в «Кавказском пленнике» не только описан как бы со стороны, но и сознательно сопоставлен с вечным и прекрасным миром горных вершин и с органичной жизнью горцев. И оба эти сопоставления отнюдь не в пользу Пленника, его усталая ущербная душа и внутренняя несостоятельность в этом контексте выявляются все яснее и тем самым осуждаются. Этому способствует и подчеркиваемое автором равнодушие героя к черкешенке, ее любви и гибели, характеризующее его не лучшим образом и начинающее столь важную для нашей литературы тему, продолженную в «Евгении Онегине»:

Но поздно: умер я для счастья,
Надежды призрак улетел;
Твой друг отвык от сладострастья,
Для нежных чувств окаменел...

Романтическая личность Пленника выясняется и проверяется в столкновениях с самыми разными ценностями — жертвенной любовью женщины, воинским героизмом, историей, стихией народной жизни, равнодушной вечной природой. Это не оправдывающий героя байронизм, а чисто пушкинское стремление художественно показать и объяснить романтический тип личности.

Объективнее делается и само отношение Пушкина к Байрону: он еще зачитывается его поэмами и все-таки уже в июне 1824 года откровенно пишет из Одессы Вяземскому: «Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии. Гений Байрона



П.А. Вяземский.
Художник И.И. Вивьен. 1817 г.

бледнел с его молодостию». О гении Пушкина смело можно сказать противоположное: он стремительно развивался, шел к зрелости, сбрасывая путы «влияний», освобождался от модного байронизма. И это движение таланта видно уже в «Кавказском пленнике».

Вместе с тем романтический герой «Кавказского пленника» отразил в себе мысли и настроения молодого поэта. Но в окончательном тексте поэмы Пушкин автобиографические лирические признания продуманно убирает или приглушает, подчеркивая холод души Пленника. Поэт как бы отстраняет от себя этот романтический характер, открытый Байроном, показывает, что байронические страсти затемняют душу и разум:

Свершилось... целью упованья
Не зрит он в мире ничего.

Сравните образы Пленника и Алеко из поэмы «Цыганы» (1824). Что роднит этих романтических героев и в чем Алеко идет «дальше» Пленника? Сохраняется ли в «Цыганах» дистанция между автором и персонажем? Какова роль образа старого цыгана в оценке происходящих событий и сущности главного героя поэмы? Составьте сопоставительный цитатный ряд, характеризующий Пленника и Алеко.

Проблематика «южных» поэм свидетельствует о том, что Пушкин видит и умеет преодолеть художественную односторонность, историческую ограниченность романтизма, усваивая его бесспорные творческие достижения. Прекрасно сказал об этом Аполлон Григорьев: «Гениальная натура носит в себе как бы клад всего непременного, что есть в стремлениях ее эпохи. Но, отражая эти стремления, она не служит им рабски, а владычествует над ними, глядя яснее многих вперед». Суд и трагедия через отрицание и критику ведут к пониманию и утверждению героя.

Глубина и ясность пушкинского взгляда на мир и человека ощутимы и в портретах романтических героев. Это еще раз подтверждает всю ценность романтизма для нашей литературы, для всей отечественной культуры пушкинского времени. Без романтических идей и образов лирика Пушкина, как и его проза и драматургия, была бы неполна и непонятна. Однако эта гениальная поэзия — своего рода прощание с героями романтизма и собственной бурной молодостью.

«...Друг истины, поэт!»

«Михайловское заточение» явилось для Пушкина не просто сменой места ссылки, но и важнейшим этапом его творческой судьбы.

Быть может, уж недолго мне
В изгнанье мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться.

Эти идиллические строки из пушкинского послания «П.А. Осиповой» (1825) скрывают те тревоги и сомнения, которые довелось испытать поэту, оторванному от друзей, распрощавшемуся с красотами Кавказа и призванному решить главный для себя вопрос о роли и месте художника в стремительно меняющемся мире.

На смену мятежным романтическим иллюзиям приходят размышления о реальном положении художника в обществе, о его способности отвечать на вызовы «века-торгаша» (об этом говорится в стихотворении **«Разговор книгопродавца с поэтом»** (1824), обозначившем рубеж между «южным» и «михайловским» периодами жизни и творчества Пушкина). Однако, утверждая себя в качестве независимого ху-

дожника, вступающего в «договорные» отношения с обществом, поэт не должен забывать о своей «задумчивой музе», обращенной к тайнам бытия и живым движениям человеческой души.

Эти «вечные» философские вопросы нашли свое новое преломление в пушкинском «восточном» цикле **«Подражания Корану»** (1824), где Бог говорит с пророком о человеке, его назначении, жизни и смерти, о грядущем неизбежном Страшном суде, когда будет определена вина каждого, а мудрая и печальная притча о ропщущем на Бога и заснувшем в пустыне путнике повествует об относительности человеческого времени как великой тайне бытия. Богоизбранному человеку открыты тайны жизни, сила и слабость смертного, дано осознание высших целей творения. Бог одарил своего пророка поэтическим даром, дал ему власть над умами, чтобы тот спокойно, без принуждения учил людей высшей правде. Таков и истинный поэт:

Святые восторги наполнили грудь:
И с Богом он дале пускается в путь.

Пушкин развивает темы и образы Корана, священной книги мусульман, которую автор читал в переводе М. Веревкина. В целом это вольная стилизация, в прямом смысле подражание, цель которого — высказать собственные мысли о вечном и преходящем, великом и малом в жизни человека.

Прочитайте отрывок IX из «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал...») и ответьте на вопрос: в чем философский смысл этой притчи и почему именно она завершает пушкинский цикл?

Пушкин увидел богатые возможности соединения в своей философской поэзии высоких образов Корана и Библии: ведь в обеих священных книгах высшую волю Бога несли людям пророки, посвященные люди, бывшие и великими поэтами. Еще в 1822 году Пушкин как ученик и последователь Карамзина неожиданно приблизился к этой теме, заговорив в «Песни о вещем Олеге» о волхвах — древнерусских прорицателях, мудрецах и поэтах времен язычества:

«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен...»

Пророк для Пушкина — уединенный мыслитель, обладающий даром поэтического проницания и прозрения, зовущий заблудившихся, грешных людей к спасению и покаянию, публично проповедующий законы Истины и Веры. Таков, по его мысли, и подлинный, *вещий* поэт, которому открыты тайны неба. Он не только «владетель умственных даров», но и проповедник, предсказатель, проникающий в глубины человеческой души.

В период духовного кризиса поэта рождается самое знаменитое его стихотворение **«Пророк»** (1826). Это удивительное по мощи внутреннего звучания произведение соединяет в себе величие ветхозаветных образов и страстную проповедь художника.

Тема «духовной жажды», столь важная для поэта, заявлена в «Пророке» как некое исходное условие существования мыслящей личности:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился...

Обилие церковнославянской лексики создает особый, торжественный фон, на котором развивается центральное событие стихотворения — смерть и новое рождение избранной Богом души. Основой сюжета стихотворения послужила VI глава библейской книги пророка Исайи: «Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен».

Обратитесь к тексту пушкинского «Пророка».
Какое развитие получают в нем библейские мотивы? В чем глубинный смысл «превращений», происходящих с героем стихотворения? Чего лишается и что обретает оказавшийся на перепутье пушкинский странник? Какова роль архаизмов в аллегорическом описании рождения Пророка («отверзлись вещие зеницы», «дольней лозы прозябанье», «десницею кровавой» и т.п.).

Финал стихотворения — не только дань величию содержания священной Книги, но и обозначение той высочайшей меры ответственности, которую несет обладатель «божественного глагола» перед Богом и людьми:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Для Пушкина образ ветхозаветного пророка становится своеобразной эмблемой подлинного творчества, немыслимого без проникновения в истинную, пророческую его сущность. Об этом говорится и в позднейших пушкинских стихотворениях «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830), «Из Пиндемонти» (1836), в основе содержания которых — проблема соотношения двух разных сфер бытия художника — его жизни в миру и бытия, даруемого минутами вдохновения:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.

Эти стихотворения Пушкина составляют своеобразный цикл, раскрывающий вечные тайны творчества. Проявилось ли пророческое начало, декларируемое художником, в произведениях самого Пушкина?

Знаменитое стихотворение **«Анчар»** (1828) с его мрачным и величественным восточным колоритом напоминает о «Подражаниях Корану», а сама глубокая и точная постановка темы, великой, вечной проблемы мирового зла, темы власти человека над человеком, преступления и наказания ставит это загадочное стихотворение Пушкина рядом с его «Пророком».

Поэт знал, что природа не всегда равнодушна к человеку. В ней рассеяны, перемешаны добро и зло, жизнь и смерть. Пушкин создает свой миф об анчаре — древе яда, которое вобрало в себя мировое зло, стало угрозой человеку в «день гнева» природы:

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.

Зло материализовалось, оно проступает сквозь древесную кору в виде смертоносного яда, угрожающего всему живому.

Во второй части стихотворения тема зла получает новое развитие, ибо появляется второй план — жизнь людей. Возникает чеканная и трагическая в своей сущности формула:

Но *человека человек*
Послал к анчару властным взглядом...

Жестокий князь не щадит послушного «бедного раба» (поэт в нескольких выразительных словах описывает его жалкий шалаш и ложе из лыка), посылая его силою своей власти на верную смерть для упрочения и распространения своего тлетворного могущества. Так смерть становится расплатой за рабское сознание, вечный страх и послушание; маленький запуганный человек против воли способствует гибели других людей, превращается в такое же орудие зла и бесчеловечной власти, как и «послушливые стрелы» непобедимого владыки.

Проблематика «Анчара» охватывает всю мировую историю, обнажает зло общественного неравенства, ведущего к искажению сущности человека. Применительно к теме поэта духовное содержание «Анчара» явилось одновременно вечным и злободневным. Власть человека над человеком — это и проблема художника и власти в деспотическом государстве, проблема самого Пушкина, его трагической гибели. «Пушкин не мог быть ничьим слугой», — верно сказал его друг П.А. Вяземский.

Тему поиска целей и смысла творчества завершает стихотворение **«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»** (1836). Со времен римского стихотворца Горация (из его оды Пушкин взял латинский эпиграф) почти каждый из значительных русских поэтов создавал свой «памятник», размышляя о том, что же он оставит в памяти культуры и народа после своей смерти. Такие оды написали великие предшественники Пушкина — Ломоносов и Державин. Герой стихотворения — поэт *народный*, и потому уже в первой строфе образ нерукотворного памятника и ведущей к нему народной тропы сливаются воедино:

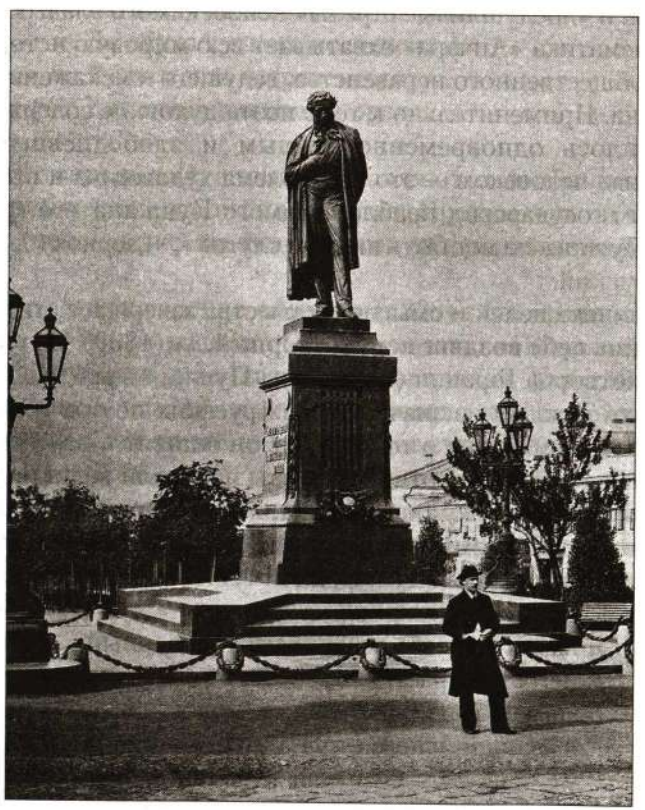
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Он — поэт *свободный*: его творческое наследие выше и грандиознее Александрийского столпа, колоссальной гранитной колонны на Дворцовой площади в Петербурге, поднявшей над городом улыбаю-

щегося бронзового ангела с лицом императора Александра I. Пушкин говорит о духовной и творческой независимости художника, о той внутренней свободе, без которой невозможно ни творить, ни устоять перед «хвалой и клеветой».

У пушкинской музы один закон — *правда*, она служит добру и свободе, пробуждает в людях «чувства добрые». И потому подлинным памятником великому национальному поэту стала его поэзия, в которой живет его неповторимая личность, гений и вещее сердце:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.



Памятник А.С. Пушкину в Москве.
Скульптор А.М. Опекушин. Фотография XIX в.

В этом замечательном четверостишии есть важное слово «слава». Оно здесь имеет особый смысл: в свое время Пушкин написал стихотворение «Желание славы» (1825), в котором мирская слава уподоблена «жужжанью дальному упреков и похвал». Жил и писал он не для славы, хотя любил и желал ее, как всякий творческий человек. Слово «славен» означало «известен», и памятник ставится для того, чтобы не забывали и помнили. Пушкина и его поэзию будут помнить, пока живы Россия, ее великий язык и культура, ее народ, знающий и любящий своего поэта. Слова пушкинской оды высечены на гранитном постаменте знаменитого бронзового памятника поэту на площади его имени в Москве.

«Поговорим о странностях любви...»

Выше говорилось о том, что поэтическое наследие Пушкина проникнуто мыслью о бессмертии. «Весь я не умру», «душа в заветной лире» — великая идея «памятника нерукотворного», достойно завершающая путь художника. Поэт много думал и писал о том, что же в творчестве, а следовательно, и в жизни вечно, останется навсегда, будет «прочнее меди и пирамид». Мысль эта зарождается в первых поэтических опытах Пушкина — ведь еще в лицее сказано им:

Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.

В этой связи следует вспомнить не только пушкинского любимого героя, вечно юного лирика-жизнелюба Андре Шенье и его грустные предсмертные слова «Я скоро весь умру», но и веселый «Городок» со странной для пылкого мальчика глубокой строкой «Не весь я предан тленью», и раннее стихотворение «Война», где сказано, пусть с понятным для поэта и христианина сомнением: «И все умрет со мной». Именно здесь выражены страстная вера и надежда юного автора, что в лирической поэзии его сохранится навсегда одно из главных чувств, ее одухотворявших и ею двигавших: «И ты, и ты, любовь?..» И затем в стихотворении «Таврида» сказано с большей уверенностью: «Любви! Но что же за могилой / Переживет еще меня?»

С первого же стихотворения возник в пушкинской лирике этот светлый радостный мир:

Златые крылья развивая,
Волшебной нежной красотой
Любовь явилась молодая
И полетела предо мной.

Так начался этот и поныне длящийся для благодарного читателя полет, сначала исполненный страстными порывами юной души, а затем и глубокими «заметами» пытливой и мятежной мысли, неразлучной со зреющим и зрячим чувством. Родилась любовная пушкинская лирика, шедевр мировой поэзии. И ныне ничто в ней не устарело. Мир ее целостен, совершенен, имеет собственную историю, географию, изящные искусства («Из наслаждений жизни / Одной любви музыка уступает; / Но и любовь мелодия...»), литературу и мифологию, населен множеством вымышленных и реальных персонажей, здесь есть свой пантеон богов и героев. Если «Евгений Онегин» — «энциклопедия русской жизни» (Белинский), то пушкинская лирика — это энциклопедия любви. Поэт показал себя глубоким и чутким «знатоком в неведомой науке счастья».

В пушкинской лирике запечатлен памятник работы скульптора Фальконе — живая статуя веселого и лукавого бога любви Купидона, «друга наших лир, богов и смертных властелина», помещенная юным поэтом рядом со скромным домиком своего учителя Батюшкова, беззаботного певца страстей (**«Тень Фонвизина»**, 1815). Рядом с Афродитой, харитами греков и ламарами римлян живут Лель, бог любви древних славян, мусульманские гурии и строгие жены пророка; умершего от любви Рафаэля и выразившего в гениальной опере «Дон Жуан» мелодию чувства Моцарта сопровождают великие романтики Байрон и Мицкевич.

В юности поэт признавался: «Ум ищет божества, а сердце не находит». Но сердце его уже обрело раз и навсегда свое главное божество — любовь: «Им мучусь, им утешен». А жена поэта, одна из самых красивых женщин той эпохи, стала Мадонной пушкинской религии любви:

Исполнились мои желанья. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.
Мадонна (1830)

Тема пылкой любви к Деве Марии развивается и в знаменитом стихотворении «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829), написана и галантная вариация на эту тему — послание «К**» («Ты Богоматерь,

нет сомненья...»). Любовное послание к очаровательной девушке Пушкин смело называет акафистом, то есть хвалебной молитвенной песнью, и даже седого митрополита заставляет служить молебен «небесной красоте» женщины. Сам он знает и ценит все радости краткосрочного «плена опасной красоты»:

...Что может быть важней
На свете женщины прекрасной?

Для Пушкина муза — женщина, слава — женщина, как и изменчивая фортуна, которой распоряжаются три богини-парки. Даже толпа у него «крылатой новизны *любовница* слепая». Его знание и понимание женской души удивляли современников и неизменно увлекали современниц.

Поэт воздвиг в своей лирике нерукотворный храм бессмертной любви к земным женщинам, и здесь немалая доля его собственного бессмертия.

В поэтическом мире любовной лирики Пушкина все уравновешено, гармонично, творчески завершено и тем самым оправдано. Здесь вольно живет свободная душа поэта — это лирика в полном смысле слова, где чувства даны в развитии, ибо это история бесконечно богатой, сложной, мятущейся души, жизнь великого сердца, история любви в тончайших ее движениях, во всем богатстве мыслей и переживаний. Лишь великая лирическая поэзия может полно высказать «свободную, кипящую любовь», сделать ее бессмертной. Лучше всего об этом сказано в «Евгении Онегине»:

Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум.

Здесь ясно определено движение поэтических чувств и мыслей: сначала «безумная» страсть, туманящая разум, затем постепенное успокоение и творческое прояснение и, наконец, дарованная поэзией свобода понимания и выражения любви.

Характерны названия ранних пушкинских стихотворений — «Наслажденье», «Желание», «Блаженство», «Рассудок и любовь». Для романтиков красота и любовь — возвышенные идеалы, которые не на земле обитают, по точному слову меланхолического Жуковского, поэт — их вдохновенный певец и мечтательный служитель, стре-

мящийся к «очарованному *там*». А юный Пушкин — поэт земной, певец живых страстей любви реальной, не мечтательной, понимаемой как радость: «*Миг* блаженства *век* лови... Пока живется нам, живи». Главное для него тогда и потом — «бесценной жизни сладость»:

Поэма никогда не стоит
Улыбки сладострастных уст.

С самого начала лирика любви юного поэта явила собой бурное кипение жизненных сил и страстей, в ней горел «огонь мучительных желаний». Это светлый, радостный мир, чуждый «угрюмых страданий»:

Я знал любовь не мрачною тоской,
Не безнадежным заблужденьем,
Я знал любовь прелестною мечтой,
Очарованьем, упоеньем.

Раннее стихотворение **«Торжество Вакха»** (1818) — красочный и бурный праздник жизни, любви и наслаждения. Юноша-поэт называет себя «красоты беспечным обожателем» и «страдальцем чувственной любви», говорит, что чувство это «мучительно жестокое, дарит «сладкие тревоги любви таинственной», «желаний и надежд томительный обман», «измены сладость», «минутные обиды». В скоротечных увлекательных играх любовного чувства Пушкин всегда «обманываться рад», но никогда не верит в «нас возвышающий обман» и всегда понимает, с кем он имеет дело. Потому так различны пушкинские поэтические портреты женщин, но все они проницательны: «Я вижу все и не сержусь».

И в зрелые годы Пушкин свободно говорил в своей поэзии на упоительном языке «страстей безумных и мятежных», с радостью попадал в обманчивые сети любви:

В жару сердечных вдохновений
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений.

Стихотворение **«Что в имени тебе моем?..»** Пушкин записал в альбом Каролины Собаньской в январе 1830 года. Оно, как и многие другие пушкинские шедевры, стало воплощением высоких чувств.

С годами любовная лирика поэта усложняется, обретает особую «драматургию» звучания. Все чаще возникает тема неразделенной или уходящей, угасшей любви:

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.

Обилие эмоционально окрашенных эпитетов, «тихая» звукопись, элегический тон обращений — все это воссоздает мир интимных переживаний поэта, наполняет его исповедь особым, глубинным звучанием.

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я.

Стихотворение это, как и вся любовная лирика Пушкина, гениально и самобытно развивает батюшковскую тему «памяти сердца». В юные годы поэт мог спокойно сказать: «И вы забыты мной, изменницы младые...»

Казалось бы, схожая тема звучит и в знаменитом послании к А.П. Керн (**«Я помню чудное мгновенье...»**, 1825), спокойно переходящая к простодушным в своей откровенности словам:

И *я забыл* твой голос нежный,
Твои небесные черты.

Но с забвением милого облика приходит общее угасание души, оставшейся «без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви». Картина жизни обесцвечивается, мрачнеет: это движение к духовному небытию, утрате живых порывов. Новая встреча по прошествии бурных лет становится своего рода знамением, свидетельством возвращения героя к жизни: «И сердце бьется в упоенье...» Возлюбленная названа *гением чистой красоты* (образ, заимствованный у В.А. Жуковского), то есть представлена как явление неземное, несущее в себе идеальные черты.

В элегии **«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»** (1829) поэт вспоминает о возлюбленной в дальнем и опасном кавказском путешествии, среди поэтических гор, на берегу бурной реки. Он вновь



А.П. Керн. *Неизвестный художник.* 1830-е гг.

и вновь мысленно обращается к любимой с грустью, но уныние это не тяжело, не затемняет его духовного взгляда, памяти сердца:

...Печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой...

Эти движения влюбленной души выражаются то в доброй насмешливости милых, тонких комплиментов (**«Подъезжая под Ижоры...»**, 1829), то в преодолении драматической коллизии неразделенной любви. Последняя представлена в гениальном пушкинском восьмистишии **«Я вас любил: любовь еще, быть может...»** (1829). В признании лирического героя развернута целая любовная история: страсть, ревность, невозможность принятия «окончательных» решений и, наконец, разрыв: «Я не хочу печалить вас ничем».

Подумайте над вопросами: что представляет собой речь героя стихотворения «Я вас любил...» — отповедь или исповедь? Как соотносится в этом лирическом признании прошедшее и настоящее? В чем необычность развязки традиционной любовной драмы («я» — «вы» — «другой»)?

Пушкинские любовные элегии ранних и зрелых лет поражают удивительной гармонией формы и содержания, «прозрачностью» мысли и чувства. В них отсутствуют изысканные поэтические «украшения», но очевидно наличие внутренней мелодии, особой духовной энергии, не оставляющей равнодушным эмоционально отзывчивого писателя (не случайно возникновение многочисленных переложений на музыку упомянутых выше пушкинских шедевров). Пушкинская любовная лирика — явление не только эстетического, но и этического характера: это одновременно проявление и внушение тех «чувств добрых», которыми овеяно все творчество поэта.

«...Чтоб мыслить и страдать...»

Позднее творчество Пушкина отмечено высочайшими литературными достижениями: гениальный дар художника искал и находил новые формы выражения. Наряду со стихотворениями и поэмами Пушкин создает ряд драматических произведений, обращается к прозаическому и стихотворному эпосу. Пушкинский художественный дар обретает поистине *общенациональные* масштабы. «Корни его поэзии постепенно, медленно и глубоко проникали в глубь жизни и души человеческой», — отмечал критик П.В. Анненков. Своего рода «рубежным» произведением, создание которого свидетельствовало о преодолении Пушкиным рамок господствующей тогда романтической традиции, стала трагедия **«Борис Годунов»** (1824—1825).

Когда поэт узнал о катастрофе 14 декабря 1825 года на Сенатской площади и гибели друзей, он написал поэту А. Дельвигу: «Взглянем на трагедию взглядом Шекспира». Таким взглядом и стал его «Борис Годунов». В период работы над трагедией на письменном столе Пушкина лежали исторические хроники Шекспира, «История государства Российского» Н.М. Карамзина, древнерусские летописи. В русской истории заключено немало трагедий, войн и смут; народ жил и развивался внутри этой огромной, бесконечной и жестокой драмы, в горниле которой выковывались самобытные человеческие характеры и судьбы.

События 1820-х годов показали, что русская история имеет обыкновение повторяться, причем повторения эти иногда приводят к великим потрясениям, национальным трагедиям.

«Трагедия моя идет, и думаю к зиме ее кончить... Что за чудо эти 2 последние тома Карамзина! Какая жизнь! Это злободневно, как свежая газета». (А ведь это сказано поэтом до декабристского мятежа. В свою оче-



А.С. Пушкин. *Художник В.А. Тропинин.* 1827 г.

редь, Шекспир дал ему ключ к созданию сложных, развивающихся характеров, подчиняющихся общему движению истории.)

Карамзинская же «История...» дала Пушкину два сильных характера — Ивана Грозного и Бориса Годунова. Так реалистически, правдиво никто еще царей не изображал. Личность Ивана IV потрясла читателей своей звериной жестокостью и вероломством, непредсказуемостью, проявлениями дикой тирании. Но вот парадокс — народ почитал этого страшного царя, о нем слагались песни и былины, он был понятен, был «свой», его уважительно прозвали Грозным, таким и должен быть русский царь. В трагедии Пушкина мудрый монах-летописец Пимен, видевший двор Иоанна и слышавший царя, поминает своего страшного господина добрым словом:

Да ниспошлет Господь любовь и мир
Его душе страдающей и бурной.

Царь Борис — умный, опытный правитель, восстановивший после фантастических зверств Грозного разрушенное царство. Он прекратил войны, укрепил государственный аппарат и армию, пригласил ино-



Иллюстрация к трагедии «Борис Годунов».
Художник В.А. Фаворский. 1954–1955 гг.

земных ученых и военных, послал русских юношей учиться в Европу. Этот любящий муж и отец произносит мудрые слова, обращенные к сыну и наследнику Феодору:

Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни.

Но народу он не по сердцу: люд не любит скрытного, неискреннего Бориса, избранного на царство в период безвластия. К тому же на совести Годунова лежит тягчайшее преступление: новый царь подозревается в убиении юного царевича Дмитрия, сына и законного наследника Грозного (в истории этот факт до сих пор не доказан). Этого достаточно, чтобы трон Бориса зашатался: «Но счастья нет моей душе».

Прочитайте сцену «Площадь перед собором в Москве» и подумайте над вопросами: как в сцене столкновения Бориса с юродивым Николкой звучит тема преступления и нравственного возмездия? Почему именно юродивый воплощает в себе идею народной совести, духовного просветления народа? Чем объясняется присутствие в этой сцене детей (вспомните видéние Годунова: «мальчики кровавые в глазах...»)?

В сильном благоустроенном царстве Годунова появляется роковая неустойчивость, нарастают сомнения и народный ропот, приводящие к русскому бунту, Смута. Нужен только повод, и он появляется: монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев, молодой, грамотный и честолюбивый дворянин, объявляет себя спасшимся царевичем Дмитрием, бежит за поддержкой в Польшу, чтобы оттуда грозить Борису и его трону.

Мятежного Самозванца Карамзин и Пушкин показали как человека живого и сложного, достойного противника царя Бориса («Всё за меня: и люди и судьба»). Лжедмитрий в трагедии — отчаянный удачливый авантюрист, храбрый и решительный полководец, настоящий рыцарь. Он красноречив и остроумен, обладает благородной осанкой, отличный наездник, владеет оружием, обходителен с женщинами, знает латынь и польский, читает стихи. Самозванец искренно скорбит о пролитии русской крови, о последствиях вторжения на Русь польских войск. Ему способствует удача, пока народ видит в царевиче «орудие небесного правосудия», свершающее суд Божий над державным преступником Борисом.

Заговор, измена, Смута, ложь, убийство, война — все это придает пушкинской трагедии особое напряжение и значительность. Стремительно само действие, смена декораций: кремлевские палаты, Красная площадь, монастырская келья, замок польского магната, корчма на литовской границе, царская дума, Лобное место, фонтан, возле которого происходит любовное объяснение между Самозванцем и гордой полькой Мариной Мнишек. Текст пьесы то стихотворный, то прозаический, в ней звучат и песни, и французская, немецкая, латинская речь. Но сквозь этот шум времени пробивается грозный глас народа, его «особое» мнение.

Пушкин задумал свое произведение как народную драму, и народ русский является ее главным действующим лицом. Соотношение людских интересов с высшей правдой, «русской точкой зрения» определяет сюжет новаторской пьесы, соединяющий столь разных людей, их судьбы и интересы. Народного мнения боится преступный Борис, на него надеется смелый и хвастливый Самозванец, о нем не забывают опытные политики и царедворцы Шуйский (кстати, будущий убийца Самозванца и новый царь) и Басманов, даже престарелый патриарх по-своему заботится об успокоении общего недовольства. Народ, в свое время поддавшийся стадному чувству страха перед неопределенностью, ныне отшатнулся от преступного царя и пошел за Лжедмитрием, однако новая ложь и преступления бояр и Самозванца, убийство ни в чем не повинных членов семьи Годунова вызывают всеобщее потрясение. Пьеса Пушкина заканчивается знаменитой ремаркой «Народ безмолвствует».

Народ чувствует и знает правду, и его вмешательство в историю, русский беспощадный кровавый бунт являются законной попыткой восстановить попранную справедливость, покарать преступников, воров и лжецов. Есть высшие законы нравственности, народ о них всегда помнит, умеет защитить от внешних врагов не власть (она часто недостойна этих великих жертв и усилий), а свой национальный образ жизни, свою веру в высший закон. Именно нравственное начало в истории интересовало Пушкина-художника и Пушкина-мыслителя (вспомним его раннюю оду «Вольность»).

Создание «Бориса Годунова» стало очередным этапом неуклонного восхождения пушкинского гения к новым художественным достижениям. На этом пути можно обозначить ключевые периоды, важные этапы, когда поэт находился на вершине своих творческих возможностей, создавал целые созвездия шедевров, испытывал чувство полноты бытия. Понятно, что к таким взлетам он шел, готовился многие годы. Эти особые вехи пушкинского творчества названы *Болдинской осенью*, хотя первая такая осень уже была в ссылке в Михайловском.

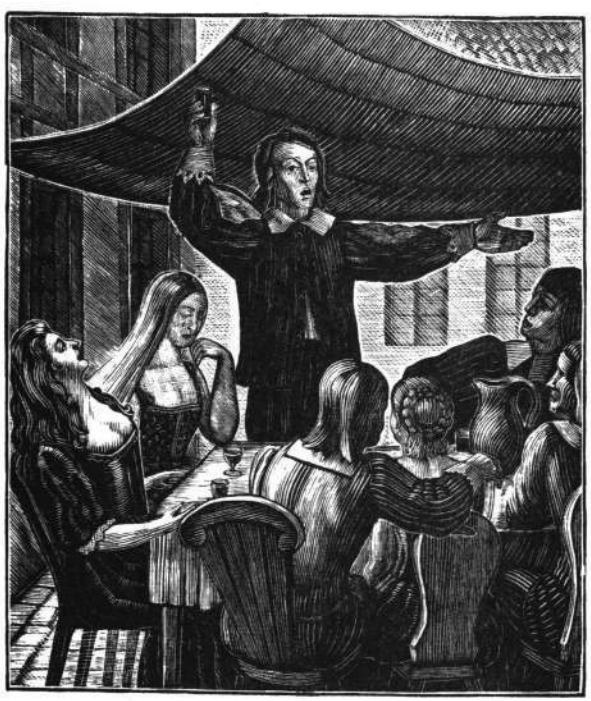
Осенью 1830 года в своем нижегородском имении Болдино Пушкин завершил в основном «Евгения Онегина», написал поэму «Домик в Коломне» и сатиру «История села Горюхина», создал прозаический цикл «Повести Белкина» и четыре «драматических очерка», которые обычно именуются **«Маленькими трагедиями»**, — «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы».

Трагедия «Борис Годунов» была народной, масштабной, то есть «большой». Называя свои «Маленькие трагедии» «сценами» и «опытом драматических изучений», Пушкин стремился определить их жанр и назначение. Он вовсе не считал эти пьесы камерными или незначительными по своей тематике и характерам. Их сюжеты взяты из западноевропейской жизни, являются обработками легенд и литературных сюжетов, продуманно отобранных автором и иногда выдаваемых за перевод. Это «вечные» сюжеты и образы: Пушкин намеренно отстраняется от русской истории, уходя от не-

избежных параллелей и аллюзии, от борьбы пристрастий и мнений, и поныне кипящей вокруг «Бориса Годунова».

Народ в «Маленьких трагедиях» отсутствует. Здесь нет войн и смут, переворотов, казней. Текст трагедий стихотворный, но сами диалоги и монологи разговорные, легкие, стремительные, им присуща особая выразительность, превратившая многие крылатые пушкинские фразы в часто цитируемые поговорки и афоризмы. Все скупо, сжато, по преимуществу замкнуто в пространствах комнат, подвалов, башен, трактирных залов, монастырских покоев и кладбищенских склепов.

Так что же изучается в этих «драматических опытах»? Темы их отнюдь не «частные», они вечны и касаются каждого. Достаточно прочитать коротенькую пьесу **«Пир во время чумы»**, чтобы увидеть ее ключевую проблему — человек и смерть. Человек, увы, смертен, и работа жизни и смерти вокруг него не останавливается ни на секунду: в любой момент рок может оборвать его бытие. С этой точки зрения жизнь человеческая является непрерывным «пиром во время чумы», но люди стараются об этом не думать, их спасает дар забвения. Эпидемия



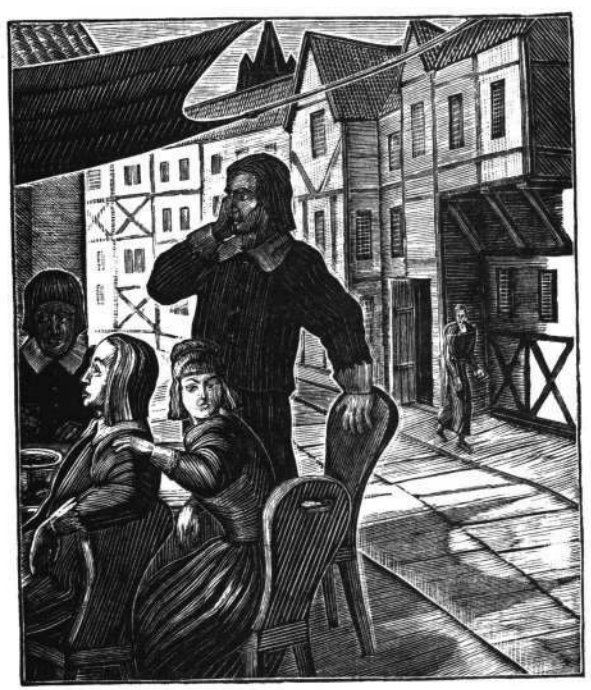
«Пир во время чумы». Иллюстративный разворот. *Художник В.А. Фаворский.* 1959–1961 гг.

чумы лишь обнажает, обостряет понимание человеком бренности своего существования. Люди в отчаянном разгуле стремятся забыться, защититься от простой и жестокой мысли о неизбежном. Похоронивший мать и жену Вальсингам, председатель этого безбожного пира, отвечает укоряющему его священнику:

...Я здесь удержан
Отчаяньем, воспоминаньем страшным,
Сознаньем беззаконья моего,
И ужасом той мертвой пустоты,
Которую в моем дому встречаю...

Злая и ревнивая Луиза вдруг падает в обморок, увидев страшную телегу с мертвыми телами, и наблюдательный Вальсингам верно объясняет ее тяжелый характер, эту агрессивную самозащиту:

...Нежного слабей жестокий,
И страх живет в душе, страстьми томимой!



Чума меняет жизнь всех этих людей, заставляет их устроить этот жестокий спектакль, искать забвения. Это бунт смертного человека против смерти, отчаянный, безнадежный вызов ей. Меняются, трезвеют мысли, открываются мрачные глубины души. И в знаменитой песне председателя, предвосхищающей размышления Достоевского, сказано, что сама близость смерти, опасность духовно возвышает, раскрывает человека:

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

А вот **«Каменный гость»** в полном соответствии с законами драматического цикла посвящен идее Жизни. Жизнь есть любовь. О великом любовнике Дон Жуане, этом вечном образе мировой литературы, написана пьеса Жана Батиста Мольера и, что важнее для творческой истории всего цикла «Маленьких трагедий», знаменитая опера Вольфганга Амадея Моцарта. Причем для понимания пушкинского замысла важны не неизбежные заимствования из пьесы Мольера и либретто Лоренцо да Понте, важна музыка Моцарта, персонажа другой «Маленькой трагедии» Пушкина, сама сложная музыкальная тема Дон Жуана, вполне выражающая в опере этот яркий характер, напор и кипение жизни. Неожиданно Пушкину помогает и великий трагик Шекспир, и где — в любовной сцене Дон Гуана и Донны Анны, повторяющей признание тирана Ричарда III леди Анне у гроба убитого им мужа!

Пушкинский Дон Гуан — воплощенная жажда жизни, любви, борьбы и успеха, и в этом он близок моцартовскому герою. Он любит не столько конкретную женщину, сколько саму любовь со всеми ее радостями и опасностями. Это цель и смысл всей его жизни. Пушкин утверждает любовь как великую Гармонию, к которой стремится жизнерадостный «безбожник» (так его называет суровый Дон Карлос) Дон Гуан и которая стала его религией. Сила страсти делает его блистательным актером, подлинным артистом любви: Дон Гуан воспринимает любовь как поединок и всегда добивается победы, как смелый Самозванец над гордой и коварной красавицей полькой Мариной в знаменитой сцене у фонтана в «Борисе Годунове». Перед этим смелым напором, красноречием, знанием женского сердца и цельным характером никто и ничто не устоит. Заметим, что Дон Гуан — испанский гранд, он знатен



«Каменный гость». *Художник В.А. Фаворский.* 1959–1961 гг.

и богат, безоглядно щедр, всем рискует, все, даже жизнь свою, готов отдать во имя радости любви. Это настоящий человек эпохи Возрождения:

Мой сан, мои богатства, все бы отдал,
Все за единый благосклонный взгляд...

Этот великий и тонкий льстец смело и изобретательно возвращает к жизни и любви молодую красавицу вдову Донну Анну, а статую ее мужа Командора великодушно приглашает участвовать в их празднике радости. Смелость его такова, что он не колеблясь протягивает руку Каменному гостю и выдерживает страшное пожатие его десницы. Даже силы ада и смерти не могут остановить этого вдохновенного служителя страсти.

Моцарт назвал свою оперу «Дон Жуан» «веселой драмой». Такова и пушкинская светлая трагедия, противостоящая в этом драматическом цикле «Пиру во время чумы». Дон Гуан гибнет, ибо богатая впечатлениями и приключениями жизнь его была смелой рискованной игрой. Да, иногда он отнимал жизнь на честном поединке, изменял женщинам, делал их несчастными и даже доводил их до гибели (история печальной Инезы), но все возлюбленные Дон Гуана сначала были с ним счастливы. Как потом сказал Достоевский в «Бесах», для полноты жизни необходимо ровно столько же несчастья, сколько и счастья. Дон Гуан — воплощение противоречивой гармонии жизни. И его видавший виды старый слуга Лепорелло с невольным уважением наблюдает проявления страстной силы и упорства хозяина в науке любви.

Наряду с любовной страстью существуют и другие, не менее сильные, среди которых — скупость. Теме «вдохновенного» накопления, безмерной любви к золоту посвящена трагедия **«Скупой рыцарь»**. В самом названии кроется парадокс: ведь подлинный рыцарь не может быть скупым. Рыцарь — это воин, благородный дворянин, проводящий свою жизнь в боях и походах, турнирах и пирах, служении прекрасной даме. Все это требует немалых денег, и потому в кармане у рыцаря всегда пусто. Именно таков Альбер, сын старого барона, юноша ветреный, легкомысленный, но добрый (отдал последнюю бутылку испанского вина больному кузнецу), честный (с гневом отверг предложение ростовщика отравить скупого отца), гордый (его тяготит и унижает вечная нищета), жаждущий исполнить свой рыцарский долг. Он весел и молод, полон надежд, открыт живой жизни, радости и любви. Все это не нужно его старому, обезумевшему от скупости отцу, чьи мечты и идеалы сосредоточились в мрачном тайном подвале и ржавых сундуках с сокровищами:

Хочу себе сегодня пир устроить:
Зажгу свечу пред каждым сундуком,
И все их отопру, и стану сам
Средь них глазеть на блещущие груды.

Такого отвратительного скупца легко осудить. Но ведь это трагедия, истинная трагедия человека незаурядного, когда-то храброго воина, любящего мужа и отца семейства, верного друга покойного герцога. Мрачная могучая страсть его переродила. Столкновение между старым бароном и Альбером говорит о нарушении всех семейных связей и нравственных норм: старик ненавидит родного сына и наследника и обречен на одиночество. Ведь именно о нем сказаны в финале трагедии знаменитые слова герцога: «Ужасный век, ужасные сердца!» В рукописи трагедия называлась просто «Скупой». Но пушкинский характер скупого рыцаря по-шекспировски сложен, богат, противоречив, как и его предшественник, жестокий и мрачный ростовщик Шейлок из комедии Шекспира «Венецианский купец».

Старый барон — не просто скупец, он поэт богатства: каждый свой червонец или дублон он «знает в лицо» и описывает с такой любовью, которой сын его никогда не знал. Старый барон, когда-то знавший муки совести («когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, незваный гость, докучный собеседник»), убил в себе все человеческие чувства и желания, предал жизнь и любовь, память о жене, отвернулся от единственного сына и удалился от мира и людей в мрачный подвал с шестью сундуками золота.



«Скупой рыцарь». *Художник В.А. Фаворский.* 1959–1961 гг.

Каково же назначение этих неправедно, бесчеловечно нажитых сокровищ? Знаменитый монолог старого барона во второй сцене говорит ясно: «проклятые деньги» (М. Булгаков) дают одинокому немощному старцу незримую, но огромную власть над миром и людьми. Скупец способен заставить служить себе нимф, муз, вольного Гения, Добродетель и бессонный Труд, нанять «окровавленное Злодейство», воздвигнуть царские чертоги. Барон в своем подземелье при сиянии золота, нажитого ценой чужих слез, крови и пота, вырастает в фигуру титаническую, становится демоном богатства, его рокового могущества. Это уже не человек. Он стал «выше всех желаний» и жаждет только бессмертия, чтобы вечно сидеть в подвале на своих сундуках и не отдать их наследнику. Здесь он устраивает свой одинокий пир и одновременно кощунственный молебен, зажигая праздничную свечу перед каждым сундуком. Золото — его бог и хозяин. И очевидно, что враги старого барона — это не только его сын Альбер, но и расточитель и жизнелюбец Дон Гуан и «гуляка праздный», вольный и светлый гений Моцарт, бездумно жертвующие материальными благами ради радости любви, творчества.

Когда Пушкин задумал в 1826 году маленькую трагедию **«Моцарт и Сальери»**, он вначале назвал ее — «Зависть», желая выдать ее за перевод с немецкого. Потом он так объяснит свой замысел:

«В первое представление «Дон Жуана», в то время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист — все обратились с негодованием, и знаме-

нитый Сальери вышел из залы, в бешенстве, снедаемый завистию. Сальери умер лет 8 тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении — в отравлении великого Моцарта. Завистник, который мог освистать «Дон Жуана», мог отравить его творца».

Зависть — сюжетный узел, стягивающий все персонажи и нити пушкинской трагедии. Но само явление в ней Моцарта, величайшего композитора и удивительно цельной, светлой личности, существенно раздвигает рамки первоначально обозначенной автором темы: речь идет о гениальном творце и самой природе музыки, нравственном смысле творчества.

С появлением завистника Сальери пушкинская трагедия обретает глубокий философский смысл, начинается «драматическое изучение» гения и злодейства, преступления и наказания, завершенное лишь в «Пиковой даме», этой русской трагедии в прозе.

Зависть — не просто страсть, но целая философия жизни. Музыкант Сальери в муках этой злой страсти начинает бунт против устройства мира, считая его несправедливым. Он рано отверг «праздные забавы» и всю жизнь посвятил музыке как ремеслу, а не как высокой Гармонии, равной любви: «Поверил / Я алгеброй гармонию». Антонио Сальери упорным трудом достиг вершин мастерства, став знаменитым композитором (автором свыше 40 опер), придворным капельмейстером в Вене. Оперы его часто ставились в России (заметим, что он умер в 1825 г., когда ссыльный Пушкин писал в Михайловском «Бориса Годунова»). С явлением Моцарта для Сальери становится ясно, что великую музыку нельзя «разъять как труп», подвергнув точным расчетам. Музыка, как и великая поэзия, — не ремесло, а волшебство, требующее тем не менее совершенного знания техники (заметим, что точно такое же значение имело явление в России самого Пушкина, и очень многие влиятельные люди, в том числе писатели, желали его «остановить»).

Пушкин как-то сказал об одном третьестепенном поэте: «В нем не вижу я ни капли творчества, а много искусства». В этом же состоит главное различие между творцом Моцартом и искусником Сальери. И включается «механизм» зависти, приводящий придворного композитора Сальери к бунту против «неправильного» порядка вещей:

О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,

Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Идея Сальери в том, что небесный, «херувимский» гений Моцарта слишком совершенен, высок и тем унижает и разоблачает все современное искусство («Мы все погибли, / Мы все, жрецы, служители музыки»), а славу самого завистника делает «глухой». А потому великого творца можно и должно остановить, пойдя на любое злодейство, преступление ради спасения искусства (завистливый и обидчивый итальянец мало любил жизнь и всегда носил с собой яд, чтобы отравиться самому или отомстить врагу). Для Сальери пришло время мести, восстановления попранной справедливости.

Подумайте над вопросами: какую роль в общем звучании трагедии играют сцена со слепым скрипачом и рассказ Моцарта о черном человеке? Что вносят эти персонажи в тему «гения и злодейства»?

Новая гениальная мелодия Моцарта ускорила задуманное преступление. Мы не знаем, какую именно сонату он играет для Сальери, но можем судить о ней по реакции последнего:

Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, недостоин сам себя!

Решение принято.

Трагедия Сальери не в самом его преступлении, хотя убийство гения непоправимо и бесконечно обедняет мир, а в том, что, совершая его, гордый завистник переходит от уверенности в своем праве на убийство к великим сомнениям в нравственности своего деяния. И терзания эти порождает беспечный Моцарт своей великой музыкой и неожиданно точными словами: «А гений и злодейство / Две вещи несовместные». Автор «Дон Жуана» пьет бокал с ядом за союз двух «сыновей гармонии». Но уже ясно, что он — власть имущий повелитель всех стихий Гармонии, а его убийца в лучшем случае ее незаконный сын, подмастерье.

Принимая роковое решение, труженик искусства Сальери самонадеянно считал, что он — «правильный» гений, а Моцарт — гений «неправильный», творящий подозрительно легко, без усердного труда. Моцарта же перед смертью волнует и печалит его гениальный «Реквием» с его запредельной музыкой сфер.



«Моцарт и Сальери». *Художник В.А. Фаворский.* 1959–1961 гг.

Слушая печальный и в то же время полный высшей радости «Реквием», Сальери плачет, ибо как музыкант понимает, какой духовный труд, опыт и высота творческой мысли выразились в этом гениальном произведении уходящего в бессмертие «гуляки праздного». Прозревший убийца понимает, что уже самим своим преступлением показал, что как музыкант и человек он находится вне узкого и высокого круга «счастливцев праздных»: «Ужель он прав, / И я не гений?»

Финал трагедии является открытым: Пушкин оставляет убийцу Моцарта на пороге высшего суда, в великой тревоге и сомнениях.

«Маленькие трагедии» Пушкина явили читателю новаторские опыты драматического исследования «крупных» характеров и философских проблем, вскрывающих вечные законы человеческого бытия. Их темы перекликаются, объясняя друг друга, здесь все время вершится суд под знаком высшей Правды и Совести.

Итогом болдинских «осенних досугов» явился еще один новаторский цикл, но уже в прозе — **«Повести покойного Ивана Петровича Белкина»** (1830). В целом движение поэта-лирика и автора романа в стихах к драме и «смиренной прозе» позволило Пушкину расширить круг тем, дать место новым героям и реальной «прозе жизни», увереннее использовать пародию и сатиру, обновить язык прозаического повествования и драмы. Русская жизнь в 1830-е годы изменилась, иными стали люди, их характеры и исторический опыт. Действительность представлялась суровой и реальной, романтические герои и иллюзии отходили на второй план. Болдинской осенью Пушкин подводил некие предварительные итоги и потому творил так стремительно и плодотворно. Именно это имел в виду Лев Толстой, говоря, что Пушкин «двинул вперед форму».

Автором повестей назван смиренный Белкин, но за этим вымышленным лицом стоит мощный талант художника. Прочитав «Повести Белкина», Толстой был восхищен: «У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства». Сам же автор говорил: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат». Работая над «Повестями Белкина», Пушкин так обозначил одну из своих главных задач: «Языку нашему надобно воли дать более (разумеется, сообразно с духом его)».

Как задумывались и писались «Повести Белкина»? Другу П. Плетневу Пушкин писал: «Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать... Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется». Что же это за весело написанная проза, заставившая хохотать замкнутого, всегда печального поэта Баратынского? Это «замечательные анекдоты», занимательные истории, в них ощутимо веселое лукавство ума, добрая насмешливость, склонность к пародии. Впрочем, это вовсе не исключает присутствия глубоких раздумий, пушкинской глубины и серьезности в воплощении жизненных коллизий.

И все же Пушкин намеренно «отказывается» от авторства этих повестей и передает его Ивану Петровичу Белкину, человеку вымышленному, да еще и покойному. Повествователь — кроткий, честный, добрый человек, отставной офицер и помещик, получивший свое первоначальное образование от деревенского дьячка и заинтересовавшийся изящной словесностью. Эпиграф фонвизинского «Недоросля», предпосланный всему циклу, подчеркивает эту народность и простоту (если не сказать — простоватость) Ивана Петровича. Он и «собрал» эти повести, записав их от разных рассказчиков (они названы в пре-

дисловии) и обработав их по своему умению и усмотрению. Таким образом, Пушкин как подлинный автор «белкинских» повестей скрывается за повествованием от лица простодушных рассказчиков, что дает ему большую свободу выражения и в то же время позволяет выразить свое отношение к этим историям.

«Повести Белкина» — простые занимательные истории об обычных людях по преимуществу простого звания (например, «Гробовщик» рассказан приказчиком Б.В.), а автор-собиратель их — маленький человек из этой же среды. Читателю явлена простая, «низовая», народная Россия с ее реальными заботами, каждодневным бытием. Жизнь эта неярка и трудна, полна неурядиц, тревог, ссор с соседями и властями, различных притеснений и чиновничьих злоупотреблений, обмана и самодурства и требует повседневного изнурительного преодоления этих обычных житейских проблем. Вместе с тем эти простые люди хотят быть счастливыми, желают лучшей жизни для своих близких, борются за свое будущее. Именно эти неистребимые начала жизни привлекли Пушкина к «демократической» прозе.

При чтении повестей Ивана Петровича Белкина вспоминается меткое название пьесы А.Н. Островского — «Правда — хорошо, а счастье лучше». В нем заключены русская народная мудрость и вековой опыт, хорошо знакомые Белкину. Тема его повестей — *счастье* человека в народном его понимании. Есть житейская мудрость, правила бытового поведения, общепринятая мораль, простая необходимость, закрепленные в катехизисах, прописях. Однако следование им не всегда и не всех приводит к удаче, иначе наступил бы рай на русской земле. Нужно, чтобы сама судьба подарила человеку счастье, чтобы удачно сошлись все обстоятельства. В «Повестях Белкина» звучит мысль о том, что нет безвыходных положений, а есть неустанная борьба с жизненными препятствиями, успех которой зависит от воли и характера человека.

Сильвио, герой повести **«Выстрел»**, явился из уходящей эпохи романтизма. Это красивый и сильный человек, цельная, страстная натура. Он назван экзотическим нерусским именем, напоминающим загадочных и роковых героев романтических поэм Байрона и молодого Пушкина («его необыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы»). Он служит в гусарском полку, по-русски буянит, пьет, играет в карты, стреляется на дуэлях до тех пор, пока не вступает в неравную борьбу с красивым, богатым и знатным сослуживцем, удачливым во всем — службе, чинах, деньгах, картах, любви, даже в смертельном поединке. Незнатный, но гордый храбрец Сильвио обладает незаурядным, но мало приспо-

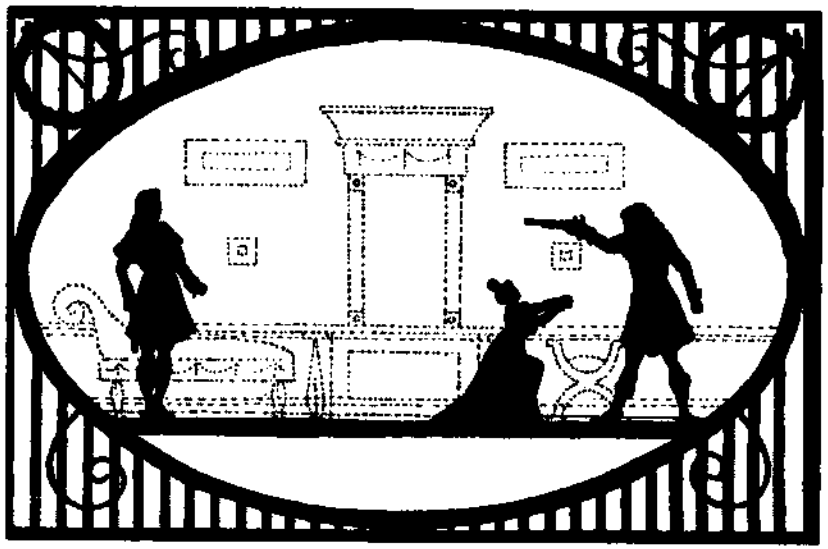


Иллюстрация к повести «Выстрел».
Художник В.В. Гельмерсен. 1900-е гг.

собленным для обычной жизни искусством меткой стрельбы. И великий стрелок всю жизнь свою потратил на то, чтобы повернуть фортуну к себе лицом, изменить свою судьбу и отомстить графу, отстояв свое внутреннее превосходство. Он — одинокий романтик, и все его средства и методы самоутверждения эффектные, романтические: месть, отложенная дуэль, внезапное явление с пистолетами к счастливцу-графу, новый смертельный поединок и отметина в картине, красиво ставящая точку в этой роковой истории. Сильвио отстоял свою честь под дулом пистолета, переступил через свой трагический романтизм и великодушно простил врага. Но места в обыденной русской жизни этой экзотической личности уже нет, и Сильвио совершает последний свой героический поступок — участвует в освободительном восстании греков и погибает в бою с турками. Пушкин пародирует здесь распространенный в то время жанр романтической повести, но сама история схватки гордого человека с судьбой звучит скорее драматично, нежели пародийно.

В сюжете повести **«Метель»** угадываются черты романтической баллады Жуковского: неравная любовь, родительский запрет, ночь, зима, метель, тайная свадьба в удаленной церкви, сани, несущие богатую невесту по снежной дороге к нищему жениху... Борьба Марьи Гавриловны за свое счастье разворачивается в духе французских рома-

нов и немецких баллад. Но жизненная реальность постоянно просвечивает сквозь романтическую книжную: невеста убегает из дома в теплом капоте, прихватив шкатулку с драгоценностями и два узла с вещами; жестокие родители соглашаются на неравный брак, бедный жених погибает от ран, полученных при Бородине (замечательно описание современником этой великой русской победы и возвращения наших войск, кипения новой жизни и любви). Жизнь реальная богаче и интереснее романтической баллады, впрочем, она же гораздо суровее и прозаичнее. Жизнь — царство случая. Старая комическая путаница с женихами приводит героиню повести к новому, выстраданному счастью.

В **«Гробовщике»** Пушкин еще раз возвращается к сюжету оперы Моцарта «Дон Жуан». Адриан Прохоров тоже приглашает к себе в гости покойников, но этот неожиданный званый пир у гробовщика связан не с любовными приключениями, а с его мрачным ремеслом, приводящим к повседневному общению со смертью. Пушкин с неожиданно бытовой и даже комической стороны подходит к очень серьезной теме, заявленной им в «Пире во время чумы». Живой человек посвятил себя смерти, похоронам, покойникам, ему обидно слышать попреки живых и незатруднительно пригласить к себе на новоселье своих клиентов-мертвецов. Автором повести пародируются опера Моцарта и романтические «страшные истории». Но все эти ужасы приземлены, растворены в обычном городском быте, являются частью профессии и частной коммерции. Огрубевшая душа гробовщика даже не ощущает страха при явлении потусторонних гостей. Адриан вспоминает только, по какому разряду и в каких гробах он их хоронил, какова была его прибыль. И явление мертвецов нисколько не меняет образ мыслей и жизнь гробовщика: он радуется, узнав, что его приключение — лишь пьяный тяжелый сон, и продолжает жить дальше, кормясь своим мрачным, но прибыльным делом. Такова история гробовщика, позволившая нам не только заглянуть в его заскорузлую душу, но и увидеть маленькую картинку реальной московской жизни в ее разнообразных, противоречивых проявлениях (Адриан Прохоров — отнюдь не «мертвая душа»: в финале обрадованный герой спешит увидеть дочерей, и это теплое человеческое проявление вполне вписывается в рамки «срединной» русской жизни).

Повесть **«Барышня-крестьянка»** остроумно пародирует знаменитую трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта». Помещики, Муромский и Берестов, один надутый англоман, другой медвежеватый поклонник всего русского, издавна враждуют из-за какой-то мелочи. Между тем юные Алексей Берестов и Лиза Муромская, ровесники и богатые наследники, оказываются заложниками родительской вражды. И все же молодым предстоит встретиться и полюбить друг друга, пройдя перипетии затейливой комедии с перевоплощением барышни Лизы в крестьянку Акулину. Однако реальное счастье их зависит не от этого увлекательного деревенского романа, а от пугливости куцей кобылки, сбросившей на охоте старого Муромского на мерзлую землю. Помирившись и подружившись, старики решили все за молодых. Не нужно было всех этих водевильных переодеваний, переписки, тайных любовных встреч — все эти сложные романтические взаимоотношения новых Ромео и Джульетты отменены простым счастливым стечением обстоятельств.

Центр и вершина пушкинского цикла — повесть **«Станционный смотритель»**. По выразительности и емкости сюжета, стройности композиции, ярким характерам это маленький, сжатый роман, оказавший влияние на всю последующую русскую прозу. Здесь также изображены простые люди, и сама их история была бы простой, если бы не вмешательство различных житейских обстоятельств. Немецкие гравюры с историей блудного сына показывают, по какому направлению мог бы развиваться сюжет повести. Однако у действия повести имеется своя реальная логика, противоречащая спрямленной житейской мудрости и библейскому нравоучению.

Пушкин выстраивает повесть на развитии двух судеб и характеров — отца и дочери. Станционный смотритель Самсон Вырин — старый заслуженный (три медали на полинялых ленточках) отставной солдат, человек добрый и честный, но грубоватый и простодушный. Он находится в самом низу Табели о рангах, на низшей ступени социальной лестницы.

Обратитесь к тексту повести. В какой из ее частей прозвучало имя станционного смотрителя? Почему оно названо автором лишь однажды?

Каждый проезжий дворянин мог оскорбить, накричать, ударить «маленького человека», хотя его чин 14 класса все же давал право на личное дворянство. Всех гостей встречала, утихомиривала и поила чаем красивая и бойкая Дуня четырнадцати лет.

Эта семейная идиллия не могла продолжаться вечно, и кончилась она на первый взгляд плохо: проезжий молодой красавец гусар Минский влюбился в Дуню, ловко разыграл болезнь, добился взаимного чувства и увез, как и полагается гусару, плачущую, но не сопротивляющуюся девушку на тройке в Петербург.

Не примирившись с обидой, отец отправляется в Петербург спасать дочь, которую, как Вырин не без оснований считал, соблазнитель



Иллюстрации к повести «Станционный смотритель» — *художник М.В. Добужинский.* 1905 г.

скоро бросит, выгонит на улицу («Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою»). Само укоряющее явление страдающего отца в доме Минского было важно для дальнейшего развития этой истории и для судьбы его Дуни. Все оказывается сложнее, нежели представлял себе старый смотритель: ротмистр любит его дочь и к тому же оказывается человеком совестливым, честным. И красавица Дуня отвечает похитителю сильным, искренним чувством. Страдания бедного отца, вынужденного вернуться на станцию, сильны и искренни («Долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне...»). Вопреки нравоучительным картинкам о блудном сыне дочь так и не приехала навестить спивающегося от горя отца, не была и на его похоронах.

Казалось, все опасения смотрителя и уроки житейской мудрости сбылись. Однако история Дуни развивается по своей логике. Приезд на бывшую почтовую станцию прекрасной барыни с тремя маленькими барчатами на роскошной карете шестерней показал, что все это время Дуня решительно боролась за свое счастье и в конце концов победила. Мы не знаем всех тех препятствий, которые ей пришлось преодолеть. Возможно, знатная и богатая семья Минского была против неравного союза, светское общество тоже; может быть, и сам он не очень стремился к браку (разрешение на брак гвардейского офицера давал сам государь, который навряд ли одобрил бы женитьбу на дочери простого солдата).



Тем не менее в финале мы видим Дуню блистательной барыней. Придя на печальное сельское кладбище, она молча легла на могилу отца и «лежала долго». Так проявляется простое величие искреннего горя и раскаяния.

«Повести Белкина», ярко и многогранно отразившие различные проявления русской «срединной» жизни, написаны удивительно ясным, лаконичным, безыскусственным языком (этим особенным, «пушкинским» стилем отмечены и такие прозаические шедевры писателя, как незаконченный роман «Дубровский» и исторический роман «Капитанская дочка»). За внешней простотой «Повестей...» скрываются глубокие авторские обобщения, позволяющие понять и почувствовать трагические сплетения реалий «обыкновенной жизни». Наряду с драматургическими опытами проникновения в вечные законы человеческого бытия эпос Пушкина вбирает в себя злободневное и непреходящее, «высокое» и «низкое», великое и малое.

Яркие достижения Пушкина-художника в области реалистической прозы не заслонили его лирического дара: рубеж 1820—1830-х годов стал для поэта периодом небывалого творческого подъема. Испытав тяжелейший кризис, связанный с разгромом декабристского движения, Пушкин остался верен тем идеалам, которые сблизили его с людьми радикальных взглядов («Я гимны прежние пою» — такое признание прозвучит в известном стихотворении «Арион», 1827). В январе 1827 года поэт передаст А.Г. Муравьевой, отъезжаю-

щей в Сибирь к ссыльному мужу, стихотворное послание **«Во глубине сибирских руд...»**, адресованное друзьям-декабристам:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Тема свободы по-прежнему остается важнейшей для Пушкина в 1830-е годы, но постепенно отходит на второй план ее политическая составляющая, уступая место философскому осмыслению внутренней свободы как важнейшего слагаемого человеческого «я». Этой теме посвящено стихотворение **«Из Пиндемонти»** (1836) — знаменитая пушкинская мистификация с ложной ссылкой на произведение-источник итальянского поэта Ипполито Пиндемонте (Пушкин неточно указал последнюю букву его фамилии). В действительности стихотворение является оригинальным пушкинским произведением, «защищенным» от цензуры ссылкой на «чужой» текст. Поэт декларативно отказывается от «громких прав», которыми гордится «общественный» человек и которые дают лишь иллюзию господства над живой жизнью («все это, видите ль, *слова, слова, слова*»). Любой тип социального устройства стесняет личность, ограничивает ее свободу («Зависеть от царя, зависеть от народа — / Не все ли нам равно?..»). В чем же, по мнению поэта, заключается «иная», «лучшая» свобода?

<...> для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
— Вот счастье! Вот права...

Эти строки, завершающие поэтический монолог, звучат как откровение, творческое и человеческое кредо художника-философа. Схожие мотивы мы встречаем ранее в стихотворении **«Не дай мне Бог сойти с ума...»** (1833), вносящим в тему личной свободы трагическое звучание (здесь отчасти нашли свое выражение впечатления Пушкина от встречи в апреле 1830 года с душевнобольным Батюшковым). Тема разума и безумия, столь знаковая для русской классики, находит в пушкинском шедевре глубокое философское осмысление: жизненной обыденности и ее «разумным» законам поэт противопоставляет высокий род безумия, граничащий с подлинным духовным раскрепощением личности:

И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.

Однако проявления неограниченной свободы на фоне господствующей «нормы» чревато трагическими последствиями:

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут...

За этими трагическими размышлениями кроются поистине гамлетовские вопросы: каким должен быть выбор мыслителя-одиночки в обезбоженном обществе, глядящем в «пустые небеса»? Какая участь ожидает «непохожего», осмелившегося бросить вызов «разумному» большинству? Эти вопросы, занимавшие Пушкина-романтика, не утратили своей остроты и в поздний период творчества поэта.

Противостояние внешнего мира и «внутреннего» человека не исчерпывает мировоззренческую тематику пушкинской поэзии зрелых лет. Не менее важным для поэта является противопоставление сил добра и зла внутри самого человека, вечная борьба «темного» и «светлого» в его душе. Острота и напряженность этого неустанного внутреннего борения передана в короткой, но удивительно мощной по своему драматизму лирической исповеди, близкой к духовной поэзии:

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

Напрасно я бегу к сионским высотам... (1836)

Духовные стихи — фольклорно-литературный жанр, объединяющий поэтические произведения христианско-религиозного содержания (тема благочестивой жизни, греха и раскаяния, неизбежности Страшного суда и т.п.). Духовные стихи чаще всего имели музыкальную

основу и распевались сказителями по аналогии с пением псалмов, литературные переложения которых явились первыми образцами русской духовной поэзии (см. раздел о творчестве М.В. Ломоносова). Ее черты присутствуют во многих произведениях поэтов XIX–XX веков.

Христианские мотивы сближают пушкинскую лирику с великой духовной традицией (примечательно, что в русских духовных песнях встречались цитаты из пушкинских произведений). Среди бесспорных шедевров духовной лирики поэта такие стихотворения, как «И дале мы пошли — и страх обнял меня...» (1832), «Странник» (1835), «Отцы пустынники и жены непорочны» (1836).

Поздняя пушкинская лирика не ограничивается взглядом «вовнутрь себя»: она, как и прежде, обращена к великим и малым проявлениям окружающего мира. Постигая их, поэт «пропускает через себя» его тревоги и радости. Годы странствий, жизненных испытаний породили немало «кризисных» стихотворений, в которых поэт передал ощущение неустойчивости бытия, его враждебности по отношению к человеку. Таково стихотворение **«Бесы»** (1830), написанное в Болдине:

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

Сам ритмический строй стихотворения передает внутреннее напряжение лирического героя, его душевный надрыв. Это не просто мираж, дорожное наваждение — это мрачное соединение внутренней и внешней дисгармонии мира («Сбились мы. Что делать нам!»). Кружение «бесов разных» возникает как некое подтверждение общего кризиса и упадка («Пушкина <...> убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха», — напишет позже поэт Александр Блок).

Прочитайте стихотворение Пушкина «Дорожные жалобы» (1829). Можно ли отнести его к числу «кризисных» произведений поэта? Какое звучание обретает в нем традиционная для русской поэзии «дорожная» тема? Как соотносится общее содержание стихотворения с его финальной строфой? Какова основная мысль «Дорожных жалоб»?

И все же главной чертой пушкинского гения является его «моцартианство», светлое, жизнелюбивое начало. Отсутствие гармонии в мире порождает новую веру, поиск устойчивых основ бытия:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит... (1834)

Речь идет о творческом покое и о свободе вдохновенья, без которых невозможно существование художника. Именно о них говорится в знаменитом лирическом отрывке «Осень» (1833).

В пушкинских пейзажных картинах поражают точность, любовно выписанные предметы и характерные детали: промерзшая дорога, застывший от первых заморозков пруд, «бешеная забава» охоты, зимний бег саней и катание на коньках, широкая Масленица с ее гуляньями и блинами и встреча весны, тяжелый летний зной, пыль, докучливые комары и мухи.

Поэт тонко чувствует милую, тихую красу поздней осени, с удовольствием рисует ее «пышное увяданье». Все бранят эту скучную, холодную, дождливую пору, тогда как герой стихотворения видит в ней новый расцвет природы и своего творческого дара, духовных и физических сил: «И с каждой осенью я расцветаю вновь...» Это пора внутренней зрелости.

Уснувшая природа уступает «поле битвы» человеку, и это передается через образ бешеной веселой скачки по осенним раздольям полей и лесов; причем радость и полноту жизни ощущает не только посвежевший всадник, но и его могучий конь, бьющий звонкими копытами. Накопленная жизненная энергия выливается в творчество, пробуждается поэзия:

Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем...

Мы наблюдаем сложное движение творческой мысли от замысла к перу и бумаге, пестрый рой элегических воспоминаний, взволнованное ожидание свободного рождения стихов. Рождение поэзии сравнивается с выходом в море корабля, ранее недвижного в зеркальной воде гавани, но вдруг подхваченного резким ветром и смело рас-

секающего волны. И поэт задает знаменитый вопрос: «Куда ж нам плыть?» Этот маршрут неведом и неисчерпаем, как неисчерпаема сама поэзия.

Поздняя лирика Пушкина — в определенном смысле «поэзия итогов»: заметно движение поэта к своим истокам, к тем вехам памяти, без которых невозможно «самостоянье человека». Одна из таких важнейших жизненных «опор» — лицейская дружба, не меркнущая под тяжестью прожитых лет:

Вы помните: когда возник Лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын...

Была пора: наш праздник молодой... (1836)

Есть и память рода, связующая прошлое, настоящее и будущее. В элегии **«...Вновь я посетил...»** (1833) явлен образ быстротекущего времени, уносящего вместе с собой надежды и иллюзии прошлых лет: «Уж десять лет ушло с тех пор — и много / Переменилось в жизни для меня». Описание родового гнезда поэта наполнено приметами уходящего времени: ветхий домик покойной няни, скривившаяся мельница, «устарелые корни» сосен... Но на этом безотрадном фоне, напоминающем о конечности человеческого бытия, возникает мысль о бессмертии, перекликающаяся с содержанием стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Образы трех сосен, отмечающих границу «владений дедовских», и молодой рощи, разросшейся у их корней, символизируют вечные законы движения жизни и одновременно свидетельствуют о существовании родовых знаков памяти, подобных мифологическому «древу жизни»:

<...> Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.

Вся пушкинская лирика устремлена к жизни, проникнута неистребимой верой в творческие возможности человека, пересоздающего этот мир на духовных началах. «Но не хочу, о други, умирать; / Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» — так выразит поэт вечно воспеваемое им «бытие — к — жизни». В основе же этого бытия — великие незабываемые чувства, возвеличивающие человека:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Эти строки — не только свидетельство гениальности написавшего их поэта, но и вечная формула духовного самосохранения нации, способной являть миру величайших художников и мыслителей.

РОМАН «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

«Я думал уж о форме плана...»

Пушкинский роман в стихах **«Евгений Онегин»** (1823 —1831 — полн. 1833) — не только самое известное произведение писателя, но и некий ключ к пониманию его творческой личности, самой эволюции его литературного пути.

Пушкин начал писать роман весной 1823 года в Кишиневе и в целом завершил его в «болдинский» период — осенью 1830 года. Работа над «Онегиным» продолжалась и после Болдина: в знаменательный «лицейский» день 19 октября того же года Пушкин сжег рукопись «опасной» десятой главы, пронизанной декабристскими настроениями, а в октябре 1831 года написал «Письмо Онегина к Татьяне», включенное затем в последнюю главу романа. Из общего «плана» произведения была изъята глава о путешествии Онегина, что коренным образом изменило первоначальный пушкинский замысел. Исходно композиция романа предполагала наличие трех частей по три главы в каждой:

Часть первая. Предисловие

I песнь. Хандра.
II песнь. Поэт.
III песнь. Барышня.

Часть вторая

IV песнь. Деревня.
V песнь. Именины.
VI песнь. Поединок.

Часть третья

VII песнь. Москва.
VIII песнь. Странствие.
IX песнь. Большой свет.

В дальнейшем на место «изъятой» седьмой главы переместилась глава девятая, ставшая восьмой, и последней: композиционная «симметрия» была утрачена. Однако внешний структурный «порядок» занимал автора значительно меньше, нежели «внутренний» эмоционально-художественный строй произведения. «Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии <...> Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы», — писал критик В.Г. Белинский.

В первой главе автор-повествователь делится своими воспоминаниями с читателями:

Я думал уж о форме плана
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу...

Начиная «большое стихотворение», Пушкин не сразу пришел к идее «лирического эпоса», но уже в 1823 году он поделился с П.А. Вяземским своим открытием: «Я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница». Эту разницу читатели-современники не вполне смогли уловить: от Пушкина ждали привычных романтических коллизий с участием героя, являющегося alter ego (вторым «я») автора, как это было принято в произведениях поэтов-романтиков. В пушкинский «план» эти привычные литературные клише не входили: в романе герой носит «нейтральную», ни на кого не указывающую фамилию, наблюдается удивительное смешение тематически разнородных глав — «полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных». В этом отношении пушкинский роман разительно отличается от своего жанрового образца — стихотворного романа

Дж.Г. Байрона «Дон Жуан», выдержанного в основном в пародийно-сатирическом ключе. Главное в пушкинском романе — не сатирическая картина нравов, а те нравственные уроки, которые были адресованы читателям и в которых отразился духовный опыт автора. «Читая Онегина, мы впервые учились наблюдать и понимать житейские явления, формулировать свои неясные чувства, разбираться в беспорядочных порывах и стремлениях. Это был для нас первый житейский учебник», — вспоминал историк В.О. Ключевский. Герои романа Пушкина навсегда остались для русских читателей живыми, близкими людьми, чьи образы и судьбы волновали, заставляли мыслить. Это этапная книга, вобравшая в себя предшествующие творческие открытия поэта.

Вдохновенный, подчас ироничный, но всегда искренний разговор автора с читателем удивительно свободен, ничто не сковывает поэта. Автор становится главным действующим лицом своего романа в стихах, неравнодушным «режиссером» романного действа. Он с легкостью переходит от судьбы героев к собственным рассуждениям и воспоминаниям, иногда спокойно обрывает свой рассказ, по цензурным



Пушкин и Онегин на набережной Невы.
Художник Ф.Д. Константинов. 1949–1950-е гг.

и иным соображениям изымает целые главы и важные эпизоды (например, обличающий Аракчеева рассказ о посещении Онегиным новгородских военных поселений) и даже саму сюжетную канву романа намеренно оставляет незавершенной. И лишь потом читатель осознает внутреннюю законченность пушкинской книги. Эта органическая цельность, единство разнородных тем, образов и мыслей — итог вдохновенного труда художника:

Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум...

Мы видим поэта в непрестанном движении, «живом и постоянном» творческом действе; вослед автору стремительно движется, продуманно развивается и его повествование в стихах. В стройных и емких строфах «Евгения Онегина» поэт запечатлел большие и малые перемены в себе самом, русской жизни, тогдашней литературе, показав это этапное для России семилетие как важный для всех, а не только для автора исторический период. «В наше время под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании», — отмечал Пушкин. И потому пушкинский роман в стихах не только лирический дневник поэта, но и развернутый рассказ о современности и современниках.

Чувство реального времени важно для поэта, отметившего в примечаниях: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю».

В пушкинском повествовании ощутима определенная историческая дистанция: напомним, что Онегин и Ленский встретились в 1820 году, а роман о них завершен через десять лет в Болдине. Такая временная динамика не укладывалась в «пестрые строфы романтической поэмы», которая могла стать лишь «собраньем пестрых глав» и «рассказом несвязным» и принять только форму романа:

И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.

Свободное течение повествования, удаленность сюжетной перспективы не означали невнимания автора к самой форме художественного высказывания: она изначально была продумана и строго организована. Речь идет о знаменитой «Онегинской строфе», емкой, состоящей из четырнадцати рифмованных строк, связанных единой тематикой.

Обратитесь к первой строфе I главы романа. Какой темой объединено ее содержание? Определите типы рифмовки внутри строфы, разделите ее на смысловые части. Какую содержательную нагрузку несет в себе каждая из частей? Почему для романа в стихах Пушкин выбрал определенный стихотворный размер — четырехстопный ямб?

Каждая глава «Евгения Онегина» движима продуманным сцеплением завершенных строф. В отличие от романтической поэмы, роман в стихах позволяет соединять высокую поэзию с прозой жизни, вводить в состав действующих лиц сатирические портреты-шаржи, изображать характеры людей самых обычных, с их повседневными заботами и жизненными стремлениями («самый ничтожный предмет может быть изображен стихотворцем» (Пушкин).

Эти срезы, картины русской жизни обретают свою динамику благодаря близости «Евгения Онегина» к «литературе путешествий»: вместе с автором, главным героем и другими персонажами читатели странствуют по всей России, от Петербурга и Москвы до Одессы и Кавказа. Образом «путешествующего» героя, с его меняющимся мировосприятием, а также авторской точкой зрения объединяются различные типы жизненного уклада и культуры. Это логика движения и изменений простирается за рамки открытого финала: ведь согласно первоначальному пушкинскому замыслу Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или примкнуть к декабристам, о чем Пушкин намеревался сказать в десятой главе. Судьба главного героя — это путь странствий и духовных исканий, встреч и прощаний, открытий и разочарований, путь не только Онегина, но и самого Пушкина. Так рождается художественная «энциклопедия русской жизни» (Белинский).

Онегин и другие

Пространство пушкинского романа в стихах представлено множеством персонажей, от императора Александра I до крепостной старушки няни. Здесь есть полновесные портреты и мимолетные зарисовки, карикатуры и шаржи. Но в центре внимания — три самобытных, соотносящихся друг с другом характера: Татьяна Ларина, Евгений Онегин и Владимир Ленский.

Длительность создания романа повлияла на характер бытования героев в тексте: с годами менялся сам поэт, менялось и его отношение к своим героям. В XX веке поэт Вяч. Иванов заметил, что это особенность именно *романного мышления*: «Поэт не ограничивается обрисовкой своих действующих лиц на широком фоне городской и деревенской, великосветской и мелкопоместной России, но изображает (что возможно только в романе) и постепенное развитие их характеров, внутренние перемены, в них совершающиеся с течением событий».

Главным героем пушкинской эпохи являлся молодой романтик, и именно он должен был занять в пушкинском произведении главное место. Сам романтизм, в свою очередь, делился на два направления, две школы — мятежную и мрачноватую поэзию Байрона и его подражателей и светлую и мечтательную «немецкую» лирику, главным последователем которой в России был поэт и переводчик Жуковский. И если рассудочный скептик и эгоист Онегин может быть отнесен к «байроническому» направлению «образованного меньшинства», то мечтательный и наивно-доверчивый поэт Владимир Ленский, «немецкий студент» и элегический лирик, являлся символом сентиментального романтизма (в нем проглядывали черты В. Кюхельбекера и Н. Языкова, молодых поэтов и друзей Пушкина).

Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный...

Владимир Ленский — не только лирик, писавший романтические элегии, отразившие жизнь его сердца, движения молодой души, идеальную любовь к Ольге. Пушкин называет его «поклонником славы и свободы», упоминает о его «вольнолюбивых мечтах», а в черновиках Ленский назван «крикуном, мятежником и поэтом». В то же время он богат, владеет большим имением и крепостными. Ленский с Онегиным увлеченно беседуют не только о литературе, но и о текущей политике, судьбах царей и народов, обсуждают философские проблемы. Это обычные темы дружеских разговоров либеральной дворянской молодежи той эпохи (действие этой главы романа приурочено автором к 1820 году).

Каковы мотивы сближения Онегина и Ленского? Какой смысл вложен в авторскую формулу «от делать нечего друзья»? Каково значение образной антитезы, указывающей на различия между героями в XIII строфе 2 главы романа?



Н.М. Языков. *Неизвестный художник.*
Конец 1810-х гг.

Поэту Ленскому присущи все характерные черты романтика элегического склада: пылкость, мечтательность, наивность, юношеская доверчивость («он сердцем милый был невежда»). В согласии с заветами Жуковского восторженная душа восемнадцатилетнего юноши выявилась в его лирических стихах и поэмах. Пушкин подробно описал его поэтическое творчество: это в основном любовные элегии и послания, «отрывки северных поэм» и песни, в которых звучат «сердца исповедь» и «доверчивая совесть». Любовь восторженного поэта к Ольге романтична, он робко и нежно любит во многом придуманную им идеальную деву, а не реальную уездную барышню из патриархального помещичьего семейства Лариных. Эта наивность, ревнивая пылкость и обидчивость и привели Ленского к роковой дуэли, накануне которой он читает Шиллера, этого представителя литературы «бури и натиска».

Романтиков, подобных Ленскому, в те годы было много, среди них — юный поэт, студент немецкого университета Николай Языков, черты которого угадываются в герое пушкинского романа. Глубина и искренность чувства, несомненный поэтический дар могли сделать Ленского известным поэтом (не случайно автор подарил своему герою собственную замечательную элегию, ставшую знаменитой оперной арией). Однако Пушкин, уже зная о разочаровании многих своих знакомых в романтизме, пройдя через собственный внутренний кризис

после поражения декабристского восстания (глава 6 написана в Михайловском в 1826 году), заговорил и о возможном духовном перерождении, превращении пылкого и возвышенного молодого поэта в растолстевшего помещика в стеганом халате, женатого, охладевшего душою и живущего «как все» (см. главу 6, строфы XXXVIII—XXXIX). Эти намеченные автором варианты судьбы героя показывают всю непрочность и даже опасность идеализма, легко перерастающего с возрастом в свою противоположность, а в юную пору делающего человека незащищенным («Покоится в сердечной неге, / Как пьяный путник на ночлеге»).

Таким образом, «отдав честь» романтизму, автор не делает главным героем пылкого поэта-романтика. Этим главным лицом становится приятель автора-повествователя и носитель «русской хандры» Евгений Онегин.

С самого начала романа мы видим постоянное внимание автора к своему герою: продуманная в своей последовательности характеристика, рассказ о детстве, отрочестве и юности, описание характера, быта, увлечений и развлечений... Пушкин следит и за датами, «хронологией» судьбы Онегина: герой его родился в 1795 году, во время встречи в деревне с Ленским и Татьяной ему двадцать пять лет. Очевидна близость Евгения к героям романтических поэм Байрона (портрет великого английского романтика внимательная Татьяна видит в деревенском кабинете Онегина) и самого Пушкина (Евгений напоминает разочарованного Пленника («Кавказский пленник»), самолюбивого и своевольного Алеко («Цыганы»).

Однако пушкинский Онегин — не романтический злодей или мрачный мятежник и мститель, он прежде всего обычный русский человек, отнюдь не гений, но умный образованный молодой дворянин, современник и приятель автора, то есть «типический характер в типических обстоятельствах», представитель своего поколения («Знаком он вам? — И да и нет»).

Обратитесь к I строфе 1 главы романа. Какая самохарактеристика звучит в небольшом монологе героя? Что свидетельствует о «неоднолинейности», сложности его натуры? Каким смыслом наполнена авторская оценка Онегина: «молодой повеса»?

Характер героя показан в развитии. Автор уверяет читателей, что после разочарования во всех модных масках и напускном байронизме Онегин просто явится перед нами «добрым малым», «как вы да я, как целый свет». Потому так важны для Пушкина даты и приметы

времени. Речь идет о конкретном поколении русских дворян, о его исторической судьбе. В движении времени охладелые душой и «преданные безделью» Онегины сменили пылких и наивных Чацких (не случайно эта фамилия встречается в черновиках пушкинского романа), которые жаждали жизненного дела, хотели перемен, смело вступили в конфликт со старшим поколением, но позже испытали всю жестокую тяжесть давления косной российской действительности. Из массы Чацких выделилось затем радикальное крыло — декабристы. Однако разочарование и бездеятельность Онегиных вовсе не следствие разгрома восстания 1825 года, ведь действие романа в основном происходит до этого события, и либерал Евгений так к декабристам и не примкнул, хотя о его близости к ним должно было говориться в десятой, незаконченной главе романа.

Защищая свои идеалы, Чацкие встретили нарастающее сопротивление, но не власти и Фамусовых, а самой русской действительности, не воспринявшей их передовые идеи. Разрушилась молодая наивная вера в скорые и быстрые реформы, способные усовершенствовать российское общество. Мыслящий человек оказывался один на один с собой. «Это была полная нравственная растерянность, выражавшаяся в одном правиле: ничего сделать нельзя и не нужно делать. Поэтическим олицетворением этой растерянности и явился Евгений Онегин», — писал историк В.О. Ключевский.

Декабристы, составлявшие в обществе деятельное меньшинство, выбрали привычный для военного русского дворянства путь заговора и мятежа. «Умеренные» либералы ограничивались словесной критикой, желчными эпиграммами, игрой в байроническое разочарование, модную тоску; кто-то, как обиженный Чаадаев, надолго отправился за границу. Эта «болезнь века» охватила целое поколение способных, образованных, вполне передовых по своим убеждениям русских людей, многое исказила в незаурядной душе и судьбе молодого дворянина, что и показал Пушкин на примере судьбы своего героя.

Тем не менее Евгений Онегин не просто «тип», «характерный представитель», а самобытный, живой характер, проявляющий себя в конкретных жизненных ситуациях. Пушкин называет Евгения «модным тираном», «чудаком печальным и опасным», «преданным безделью» и изысканной роскоши, говорит о его «диком нраве», эгоизме и скепсисе, душевной пустоте и холодности, неспособности к «труду упорному», о желчном, насмешливом характере, «резком, охлажденном уме». Его кумиры, образцы для подражания — «гордости поэт» Байрон и великий Наполеон с их высокомерным презрением к людям «обыкновенным». Поэтому Евгений нелюдим: «Людей он



Евгений Онегин. *Художник Д.Н. Кардовский.* 1909 г.

просто не любил». Он безоглядно тратит в столице восемь лет на светские забавы, на «науку страсти нежной», но отвергает искреннюю любовь уездной барышни. Следуя дворянским предрассудкам и страшась им же презираемого «общественного мнения», Онегин убивает своего юного друга, причем накануне его счастливой женитьбы.

Пушкин беспощаден в *художественной* критике своего главного героя. Однако Онегин — молодой человек, с умом трезвым и ищущим, характер живой, сложный, развивающийся, внимающий суровым урокам реальной русской жизни. Он наделен незаурядными свойствами натуры и яркими личностными качествами.

Обратитесь к предыстории Онегина в 1 главе романа. С чем связана ирония автора-повествователя, рассказывающего о «нежном» возрасте героя? В какой период петербургской жизни Онегина произошло его сближение с автором («С ним подружился я в то время...»)?

За красивой позой, за модными привычками столичного денди, рассудочным эгоизмом и разочарованностью скрываются живой независимый ум и доброе сердце, сильный характер, хорошее знание людей, «души прямое благородство». Скептический мизантроп, Онегин в глубине души жаждет любви и дружбы. Иначе не полюбила бы его чуткая сердцем Татьяна:

Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.

Безусловно, Онегин не антигерой, принимающий на себя все язвы «больного века». Он «жить торопится и чувствовать спешит» (вспомним эпиграф к 1 главе романа), но в какой-то момент «быстрой» петербургской жизни перестает чувствовать вкус к этой жизни, впускает в душу «хладный яд» скептического бесчувствия. Авторское отношение к онегинской «хандре» двойственно. С одной стороны, это неизбежная «болезнь роста», известная повествователю («Кто жил и мыслил, тот не может / В душе не презирать людей»). Но это состояние мыслится как временное, переходное для зреющей души. Для Онегина же оно становится тяжким душевным недугом:

Он застрелиться, слава Богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.

Подумайте над вопросом: в чем конкретно проявляется «охлажденность» души героя? Сравните Онегина и автора-повествователя в их отношении к природе, искусству, поэзии, любви. Подтверждается ли авторский тезис: «Всегда я рад заметить разность / Между Онегиным и мной»?

Жизнь, идеалом которой становится эгоистическое стремление к «вольности и покою» в отъединенности от других людей и их чувств, становится дорогой в никуда. Поэтому внешние перемещения героя ничего не меняют в его внутренне бесплодном существовании:

Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубравы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле...

Усадебная жизнь, «привычки милой старины» не вызывают в душе Онегина должного отклика, а в семье Лариных и среди соседей он выглядит каким-то «русским иностранцем» («Какие глупые места!» — такова реакция Онегина на визит в ларинские пенаты). Даже «реформы», произведенные героем в собственном имении, выглядят как дань либеральной моде, лишенной сочувствия к облагодетельствованным крестьянам. Единственным островком «светской жизни» в провинции является для Онегина общество Ленского, героя «другого романа». В этой дружбе изначально заложен некий порок, ибо Онегин дружит «для себя» и его отношение к Ленскому — снисходительное покровительство «старшего». И здесь охлажденный ум Евгения проявляет себя с наиболее страшной стороны.

Перечитайте строфы VII–XII 6 главы романа. О чем размышляет Онегин, принимая решение об участии в дуэли? Какова роль грибоедовской формулы «и вот общественное мненье» в контексте онегинских раздумий? Почему в главе так много внимания уделяется Зарецкому? Чем вызван пафос последней строфы, содержащей авторский призыв: «Не дай остыть душе поэта, / Ожесточиться, очерстветь...»?

Неизбывное чувство вины, «тоска сердечных угрызений», муки совести после убийства друга гонят Онегина в странствия:

Оставил он свое селенье,
Лесов и нив уединенье,
Где окровавленная тень
Ему являлась каждый день.

Герой сам вершит над собой суровый суд и этим отличается от гордого преступника Алеко из поэмы «Цыганы», осужденного и изгнанного вольным народом. Как уже отмечалось, Онегин, решив, что счастье ему недоступно, пытается найти ему замену и забвение в отстраненном спокойствии. Но и здесь он трагически ошибся, причем замечательный нравственный урок преподала ему умудренная жизнью и любящая его Татьяна, назвавшая все модные светские увлечения и красивые маски Онегина «ветошью маскарада». Онегинское письмо к ней становится важной вехой в жизни героя, а отказ сильной духом Татьяны избавляет Онегина от очередной трагической ошибки.

«Как я ошибся, как наказан!» В чем винит себя Онегин в 8 главе романа? Какие изменения происходят в герое с момента написания письма к Татьяне до последней встречи героев?

Выстраданная искренняя любовь Онегина к Татьяне, подлинное чувство зрелого, много испытавшего и пережившего мужчины, говорит о неисчерпанной жизненной силе, богатстве чувств, «буре ощущений», возможности возрождения:

Я знаю: век мой уж измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

В «открытом» финале Пушкин оставляет своего героя, потерявшего друга и любимую женщину, на пороге новой жизни, которая простирается за рамки романного действия. Автор верит в него, и эта вера передается читателю.

Милый идеал

О Татьяне Лариной Достоевский, споря в своей речи о Пушкине с Белинским, говорил: «Это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда... Это тип положительной красоты, это апофеоза русской женщины». Важно то, что пушкинская героиня не идеальная романтическая дева или «гений чистой красоты», а самая обычная русская девушка-дворянка, простая уездная барышня, выросшая в патриархальном семействе под присмотром крестьянки-няни. Автор назвал ее «милым идеалом» и признавался, что «модный тиран» Онегин во многом недостоин его любимой героини.

Само неспешное течение жизни провинциальной девушки (о ее предшественнице Людмиле из известной поэмы-сказки Пушкин сказал: «Мне нрав ее всего дороже») узнаваемо и характерно: чтение чувствительных романов, гаданье о суженом, вера в приметы, крещенские страхи, вещие сны и их толкование по старинной книге Мартына Задеки, разговоры с няней, девичье любопытство и упрямство, доверчивость, мечтательность, страстность, сильный характер, нежное сердце, сложившиеся жизненные принципы и идеалы. С удивительной откровенностью и смелостью пишет эта скромная уездная

барышня чужому, едва знакомому молодому мужчине, легко и быстро переходя на «ты»:

Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает...

Выращенная крепостной няней в патриархальной русской семье, Татьяна избежала влияния иностранных «мамзелей»-гувернанток и стала, по знаменитому выражению Пушкина, «русская душою». Отсюда ее любовь к природе (замечательно по своей поэтичности прощание Тани с родными местами) и чудный вещий сон в 5 главе романа. Она ближе всех из персонажей пушкинского романа к народной среде, ее вере и нравственности, хотя ее знаменитое письмо и написано по-французски.

Обратитесь к эпизоду «сон Татьяны». Какие образы и мотивы русского фольклора присутствуют в нем? Сравните его с пророческим сном Гринева в «Капитанской дочке». Какую смысловую нагрузку несет в себе описание сна героя (или героини) как художественный прием?

Интересно, что и другие герои романа отмечают характерные черты Татьяны. Например, Ленский сравнил молчаливую и задумчивую Татьяну с русской девушкой Светланой, героиней сказочной баллады Жуковского.

А Пушкин назвал свою героиню «девчонкой нежной» и «простой девой». Онегин отметил, что письмо героини написано «с такою простотой, с таким умом».

В милой героине романа нет ничего наносного, неискреннего, нет кокетливой позы и набора банальных фраз светской девицы на выданье. Пушкин постоянно подчеркивает, что Татьяна «любит без искусства», «любит не шутя» и что лишь ее сильная жертвенная любовь смогла бы примирить Онегина и Ленского. Не случайно в ее скромном девичьем облике он представляет в романе и свою музу.

Этот цельный, сильный и глубокий характер русской женщины выразился в замечательных разговорах ее с няней, в момент написания письма Онегину, во время посещения кабинета Евгения, явлении на балу в 8 главе («так смела», «покойна и вольна») и, наконец, в знаменитой сцене решительного объяснения с Онегиным. Мы видим, как много перечувствовала, передумала, перестрадала эта доверчивая де-



Онегин и Татьяна — первая встреча.
Художник М.В. Добужинский. 1936–1938 гг.

вочка «из глуши степных селений», в итоге став мудрой разумом и сердцем женщиной, неприступной богиней высшего света. Однако Пушкин сразу отделяет ее от знаменитых светских красавиц, как ранее подчеркивал ее несходство с прелестной, но внутренне бесцветной Ольгой:

Никто б не мог ее прекрасной
Назвать...

Другое присуще Татьяне — красота духовная, доброта, нравственная сила и вера. Она сохранила в себе лучшее от несмелой и простой Тани, помнит о прошлом, о своем сельском доме, старушке няне, встрече с Онегиным, своих «любви безумных страданиях», о столь



Татьяна и Онегин – последнее свидание.
Художник М.В. Добужинский. 1936–1938 гг.

возможном и близком счастье. Но находит в себе силы спокойно и достойно сказать любимому и любящему ее человеку знаменитые слова признания и прощания:

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Эпическая муза

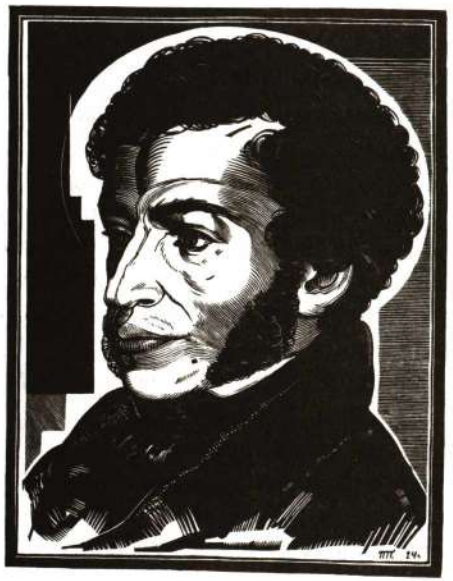
Пушкинский роман в стихах продолжает лучшие традиции русской классики: в нем мы встречаем «следы» Фонвизина (на именинах Тани появляется «Скотининых чета седая») и Грибоедова (его комедию Пушкин прочитал в Михайловском и взял из нее один из эпиграфов). Изображая сельское и столичное дворянское общество (и даже самого императора Александра I в 10 главе) в духе общественной сатиры и политического памфлета, Пушкин тем самым предвосхищает «Мертвые души» Гоголя и «Историю одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Вместе с тем автор романа помнит, что из этого же социально несовершенного, но хранящего нравственные идеалы, высокую культуру и «предания русской старины» общества появились Татьяна, Онегин, Ленский, он сам, его лицейские друзья, его знакомый Грибоедов, герои 1812 года. Недаром в «московской» 7 главе звучит хвала поэта древней столице и ее гордым жителям, не склонившимся перед «нетерпеливым героем» Наполеоном:

Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Замечательна и патриархальная семья помещиков Лариных, в описании которой добрый юмор соединился с поэтической сельской идиллией. Хорошо сказал об этом Белинский: «Он любил сословие, в котором почти исключительно выразился прогресс русского общества и к которому принадлежал сам, – и в «Онегине» он решился представить нам внутреннюю жизнь этого сословия, а вместе с ним и общество в том виде, в каком оно находилось в избранную им эпоху, т.е. в двадцатых годах...»

Пушкинский роман по праву является «энциклопедией русской жизни» не столько в силу широкого охвата изображаемого (автор по преимуществу показал жизнь дворянского сословия), сколько благодаря содержательному, тематическому богатству самого диалога автора с читателем (не случайно исследователи пушкинского творчества называют «Евгения Онегина» «романом-разговором»). Романный автор-повествователь удивительно открыт, обращен к читателю: он доверительно беседует с «друзьями Людмилы и Руслана», делится своими литературными (и не только!) взглядами и пристрастиями, смело обнажает «швы» собственного повествования, раскрывая авторские намерения и планы. Последние слова романа также обращены к чита-



А.С. Пушкин. *Художник П.Я. Павлинов.* 1924 г.

телю: автор дает понять, что дальнейший путь Онегина связан с выбором самого героя, тогда как коллизия данного повествования исчерпана сценой финального объяснения Онегина и Татьяны. Оставляя героя «в минуту злую для него», автор как бы дает ему шанс переосмыслить прежнюю жизнь и принять важные решения, которые могут кардинально изменить его судьбу.

Последняя встреча героев духовно уравнивает их, связывает общей драмой любви и пониманием подлинных, вечных ценностей этой жизни. К этому и шел автор, проживающий судьбы своих героев и приведший их к «идеальному» диалогу о главном. Это главное, сущностное и делает пушкинский роман произведением вневременны́м, творением «эпической музы» великого художника. Оно по-прежнему живет, читается, ставится на сцене, звучит в музыке, волнует, помогает понять русскую культуру и русскую душу. Не случайно Пушкин в конце 2 главы романа высказал надежду, что «Евгений Онегин» останется в памяти потомков, тронет их сердца, напомнит о его создателе:

И этот юный стих небрежный
Переживет мой век мятежный.
Могу ль воскликнуть, о друзья:
Воздвигнул памятник и я.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Известно мнение критиков и собратьев по перу о многотемности, всеохватности пушкинской лирики. Каков ваш опыт прочтения Пушкина? Какие темы и мотивы его лирики оказались вам особенно близки? Приведите конкретные примеры из пушкинских стихотворений.
2. На какие этапы делится творчество Пушкина? Кратко охарактеризуйте каждый из них. Как повлияли на внутреннюю логику творческого пути поэта личностные, индивидуальные особенности его дара и внешние, исторические обстоятельства русской жизни первой трети XIX века?
3. Охарактеризуйте лицейский, «ученический» период творчества Пушкина. Как соединяются в нем «чужие» влияния и самобытные, пушкинские образы и мотивы? Проанализируйте с этих позиций произведения поэта с «эпикурейской» тематикой («Блаженство», «Друзьям», «К Наталье» и др.).
4. Что определило специфику «петербургского» периода пушкинского творчества? Как повлияли на него общественные настроения в России 1820-х годов? Какие идеи нашли свое выражение в «политических» произведениях поэта (стихотворения «Вольность», «Деревня», «К Чаадаеву» и др.)?
5. В чем своеобразие «южных» стихотворений и поэм Пушкина? Как проявилось в них влияние поэзии Дж.Г. Байрона? Что определяет звучание сюжетов и образов в произведениях данного периода?
6*. Как в поэме «Кавказский пленник» решается проблема соотношения любви и свободы как абсолютных ценностей человеческого бытия? Сопоставьте проблематику поэмы с содержанием «Бахчисарайского фонтана» и «Цыган» с точки зрения воплощения авторского идеала. Каково соотношение «автор — герой» в пушкинских «южных» поэмах?
7. Каково значение для творчества поэта стихотворения «михайловского» периода «Разговор книгопродавца с поэтом»? Какова роль диалога в раскрытии идейного содержания стихотворения?
8. Как раскрывается тема лицейского братства в стихотворении «19 октября» 1825 года? Что отличает «юбилейную» лирику Пушкина от дружеских посланий ранних лет?
9. В чем заключается художественно-эстетическое и духовное богатство пушкинской любовной лирики? Проанализируйте с этой точки зрения один из шедевров поэта.
10. Почему стихотворение «Пророк» (1826) считается «поворотным» явлением в пушкинской творческой биографии? Какова роль библейских мотивов и образов в «Пророке»?

11. В каких произведениях поэта затрагивается тема художника и власти? Каким образом она раскрывается в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»?
12*. В чем своеобразие решения исторической темы в трагедии «Борис Годунов»? Каково финальное звучание проблемы власти и народа в пушкинской пьесе?
13. Охарактеризуйте жанровое своеобразие и проблематику «Маленьких трагедий». Какие общие темы и мотивы звучат в произведениях этого цикла?
14*. Каковы особенности формы повествования и тематики «Повестей Белкина»? Как соотносятся в них пародийные мотивы и реалистическая «проза жизни»?
15. Что составляет философскую проблематику поздней лирики Пушкина? Проанализируйте одно из произведений данного периода.
16. В чем «дьявольская разница» (выражение Пушкина) между традиционным романом и пушкинским романом в стихах «Евгений Онегин»? Какова сюжетно-композиционная структура романа?
17. Что представляет собой «Онегинская строфа»? Проиллюстрируйте ее особенности на примере конкретной строфы из «Евгения Онегина».
18. Как представлен в романе «онегинский тип»? (С привлечением материала статей 8–9 из работы В.Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина».) Неизменна ли авторская оценка главного героя на протяжении повествования? Что сближает и что отдаляет друг от друга Онегина и автора?
19. Как развиваются в пушкинском романе параллели «Онегин — Ленский» и «Онегин — Татьяна»? Что явилось причиной «поражения» главного героя в дружбе и любви?
20. Каким предстает в романе «Татьяны милый идеал»? В чем главное обаяние героини?
21. Как представлены в романе различные «срезы» жизни русского дворянства? Что отличает петербургский, московский и провинциальный дворянский быт? Какой из них ближе автору? Главному герою?
22. В чем смысл «открытого» финала «Евгения Онегина»? Каково ваше понимание «энциклопедизма» пушкинского «свободного романа»?

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



Эпикурейская лирика.
Дружеское послание.
Политическая ода.

Лирический отрывок.
Романтическая поэма.
Байронические мотивы.
Трагедия.
Роман в стихах.
«Онегинская строфа».

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ



1. Тема дружбы и любви в пушкинской лирике.
2. «Хочу воспеть Свободу миру...» (Вольнолюбивые мотивы в лирике А.С. Пушкина.)
3. Образ «взыскательного художника» в лирике А.С. Пушкина.
4. Особенности романтического конфликта в «южных» поэмах А.С. Пушкина (на примере одной из поэм).
5. Философские решения «вечных» вопросов в поздней лирике А.С. Пушкина.
6. Тема преступления и наказания в трагедии «Борис Годунов».
7. «Бездны мрачной на краю...» (на материале «Маленьких трагедий»).
8. «Повести Белкина»: герои, проблематика, стиль.
9. Автор и его герой в романе «Евгений Онегин».
10. Образ идеальной героини в романе «Евгений Онегин».
11. Испытание дружбой и любовью (по роману «Евгений Онегин»).
12. В чем идейный смысл финала «Евгения Онегина»?

ДОКЛАДЫ И РЕФЕРАТЫ



1. Пушкин и декабристы («декабристская» тема в творчестве поэта).
2. Герои и проблематика драматургических произведений А.С. Пушкина.
3. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в русской критике.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА



А.С. Пушкин: Школьный энциклопедический словарь. М., 1999.
Бонди С.М. О Пушкине: Статьи и исследования. 2-е изд. М., 1983.
Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. М., 1974.
Бурсов Б.И. Судьба Пушкина: Роман-исследование. Л., 1986.
Вересаев В.В. Пушкин в жизни. Т. 1–2. М., 1936–1937.

Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве. М., 2003.
Кулешов В.И. Жизнь и творчество А.С. Пушкина.
Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980.
Маймин Е.А. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1982.
Мейлах Б.С. Жизнь Александра Пушкина. Л., 1974.
Модзалевский Б.Л. Пушкин и его современники. СПб., 1999.
Непомнящий В.С. Пушкин. Русская картина мира. М., 1999.
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1—2. М., 1974.
Пушкинская энциклопедия. М., 1999.
Русская критика о Пушкине: Избранные статьи. Комментарии. М., 1998.
Тынянов Ю.Н. Пушкин. М., 1984.
Тыркова-Вильямс А.В. Жизнь Пушкина. М., 1998 (Жизнь замечательных людей).



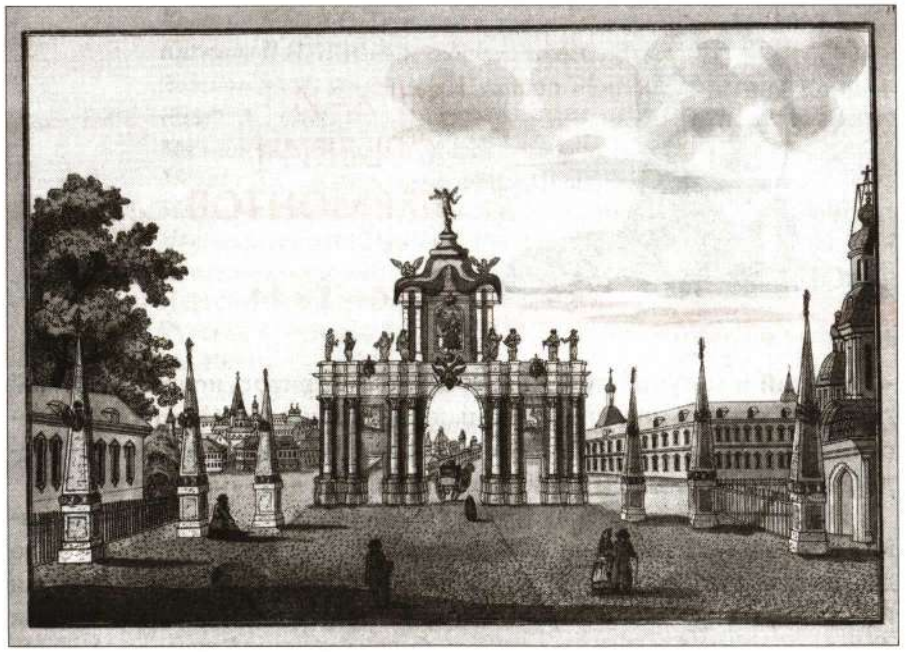
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ **ЛЕРМОНТОВ**

1814—1841

«Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чýдная натура!» — так отозвался В.Г. Белинский о набирающем силу художественном даре Лермонтова.

Наследнику пушкинских традиций, великому русскому поэту **Михаилу Юрьевичу Лермонтову** (1814 — 1841) в день последней дуэли было двадцать шесть лет. Его мать, Мария Михайловна Лермонтова, тихая и болезненная женщина, происходила из известного дворянского рода Арсеньевых, а заботливая и властолюбивая бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева принадлежала к не менее известной фамилии Столыпиных. Мария Михайловна умерла, когда мальчик еще не достиг трехлетнего возраста. Позже поэт вспоминал: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал; ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать». Отец, Юрий Петрович, — небогатый офицер, потомок приехавшего в Россию шотландского воина, служил воспитателем в кадетском корпусе. Брак родителей поэта нельзя было назвать счастливым, и это по-своему отразилось на всей судьбе Лермонтова.

Он родился в Москве у Красных Ворот, детство прошло в пензенском селе Тарханы. Мальчик рос болезненным, нервным. Бабушка взяла на себя все заботы о воспитании внука, возила его в Москву, на Кавказ. Лермонтов жил в живописном подмосковном имении Столыпиных Середникове, с удовольствием гостил в Кропотове, тульском имении униженного и изгнанного отца. «Кажется, Юрию Петровичу было обещано, что если сына он оставит у бабушки, то ему отдадут причитавшееся за покойной женой имение, которое должно было перейти к сыну. <...> Мальчика берегли и хранили строго... Когда Юрий Петрович приезжал навестить сына, то Мишу увозили и прятали где-то в соседнем имении...» — так отобразил перипетии семейной драмы Лермонтовых известный биограф писателя П.А. Висковатый.



Красные Ворота в Москве. *Гравюра Ф. Дюрфельдта* (начало 1790-х гг.) *по оригиналу М.И. Махаева* (1763)

Осенью 1827 года бабушка с внуком переехали в Москву, и на следующий год Лермонтов был зачислен полупансионером в Московский университетский благородный пансион — закрытое учебное заведение при университете, где поощрялись занятия русской словесностью и литературные опыты, устраивались публичные чтения и издавались рукописные журналы и сборники. Огромное влияние на начинающего поэта оказал С.Е. Раич, преподававший отечественную словесность и возглавлявший Общество молодых любителей литературы. Здесь Лермонтов начал писать стихи для пансионского журнала «Улей», учился музыке, занимался рисованием и живописью, посещал московские театры.

В 1829 году им начата поэма «Демон», а в 1830 году Лермонтов сдал экзамены и был принят в Московский университет. Очутившись в среде передовой студенческой молодежи, он много пишет и начинает печататься.

Одинокий отец его приезжал к сыну в Москву, был с ним на маскараде в Благородном собрании. Спустя короткое время он умер от чахотки в своем маленьком имении. «Ужасная судьба отца и сына /



Московский университет. *Неизвестный художник*. 1820-е гг.

Жить розно и в разлуке умереть» — эти лермонтовские строки станут эпитафией рано умершему отцу, при жизни успевшему оценить степень творческой одаренности сына («это такой талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу!..»).

Для студента Лермонтова 1831 год отмечен яркими событиями: он участвует в публичном выступлении против консервативного профессора М.Я. Малова, пишет стихотворения и драмы, танцует на балах, серьезно увлекается Н.Ф. Ивановой, дочерью московского драматурга. Затем — новое бурное увлечение: адресатом многих лермонтовских стихотворений становится В.А. Лопухина, сестра близкого друга поэта.

В 1832 году Лермонтовым были написаны «кавказская» романтическая поэма «Измаил-Бей» и знаменитое стихотворение «Парус», ставшее благодаря музыке А.Е. Варламова народной песней. В этом же году юноша покидает университет и уезжает с бабушкой в Петербург, выбирает военную карьеру — поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Его поэмы и стихотворения появляются в рукописном журнале, в это время он работает над «Демоном» и романом о Пугачевском бунте «Вадим», пишет поэму «Хаджи Абрек». Обучение и воспитание питомцев школы менее всего было ориентировано на их умственное развитие, и молодой поэт тяготился юнкерской средой, мало располагавшей к интеллектуальному и духовному труду. В одном из писем Лермонтов признавался: «Тайное сознание, что я кончу жизнь



М.Ю. Лермонтов – юнкер.
Художник А. Челышев. 1830-е гг.

ничтожным человеком, меня мучит». В манеже школы с поэтом произошел несчастный случай: норовистая лошадь разбила ему ногу, и с тех пор Лермонтов хромал, как его любимый поэт Байрон.

В 1834 году он выпущен корнетом лейб-гвардии Гусарского полка. Тогда же началось его увлечение Е.А. Сушковой, выросшее в затяжную историю борьбы самолюбий (перипетии этого любовного романа легли в основу «сушковского» цикла стихотворений, главным мотивом которого является неразделенная любовь героя).

В 1835 году начата романтическая драма «Маскарад», в основе которой – конфликт одинокой сильной личности и «большого света». А 1836 год насыщен литературными событиями: написано стихотворение «Умирающий гладиатор», запрещена цензурой к постановке драма «Маскарад», начат роман «Княгиня Лиговская», тогда же, по всей видимости, написано известное стихотворение «Бородино», позднее опубликованное в пушкинском «Современнике». К этому времени относится и начало работы над поэмой «Тамбовская казначейша», продолжившей традиции «Евгения Онегина».

В 1837 году, на следующий день после смерти Пушкина, Лермонтовым было написано и распространилось по стране в десятках тысяч списков знаменитое стихотворение «Смерть Поэта». Автор его сразу





Иллюстрации к драме «Маскарад».
Арбенин. *Художник Н.В. Кузьмин.* 1949 г.; Нина. *Художник В.П. Панов.* 1982 г.

стал известен, а вскоре был арестован и по высочайшему повелению переведен тем же чином (то есть понижен в чине) из привилегированной гвардии в армейский кавалерийский полк на Кавказ. «Ссылка на Кавказ наделала много шуму; на него смотрели как на жертву, и это быстро возвысило его поэтическую славу», – вспоминал А.Н. Муравьев. На Кавказе поэт познакомился со ссыльными декабристами и с лечившимся там В.Г. Белинским, подружился с разжалованным в солдаты поэтом А.И. Одоевским. Кавказские впечатления отразились в его поэзии и живописи. Во время визита императора в Тифлис Лермонтов был прощен (примечательно, что за него одновременно хлопотали поэт В.А. Жуковский и шеф жандармов А.Х. Бенкендорф) и возвращен в гвардию. В этот период Лермонтовым написаны восточная сказка «Ашик Кериб» и близкая к исторической песне-думе и древнерусской былине поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

В начале 1838 года Лермонтов прибыл в Москву, а затем и в Петербург. Поэт очутился в кругу Карамзиных, сблизился с Жуковским и другими друзьями покойного Пушкина, много писал и печатался, особенно в новом передовом журнале «Отечественные записки». Он был произведен в поручики, участвовал в военном молодежном оппозиционном

«Кружке шестнадцати». Литературная известность Лермонтова росла: завершена последняя редакция «Демона», написаны кавказская поэма «Мцыри», стихотворения «Дума», «Поэт», «Молитва», «Русалка», «Три пальмы», повести «Бэла» и «Фаталист».

Поэт посещает вечера и балы петербургского высшего общества и имеет там успех. Но своим беспокойным и смелым характером и острым языком Лермонтов наживает много влиятельных недоброжелателей. В феврале 1840 года столкновение Лермонтова с сыном французского посла Эрнестом де Барантом закончилось опасной дуэлью на саблях, легкой раной, арестом и суровым приговором: двухлетнее заключение в крепости и исключение навсегда из гвардии (царь смягчил это решение военного суда).

За этим последовала новая ссылка в армейский пехотный полк, действовавший на опаснейшем участке Кавказа. «Лермонтов отправлен на Кавказ за дуэль. Боюсь, не убили бы. Ведь пуля дура, а он с истинным талантом, и как поэт, и как прозатор», — писал А.С. Хомяков.

После очередных знаменательных прощаний в Петербурге и Москве (здесь он провел почти месяц и читал Гоголю и другим писателям поэму «Мцыри»), Лермонтов отбыл на новое место службы. Впереди были кровопролитные сражения и походы в Чечне, в том числе описан-


СТИХОТВОРЕНІЯ

М. Лермонтова.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

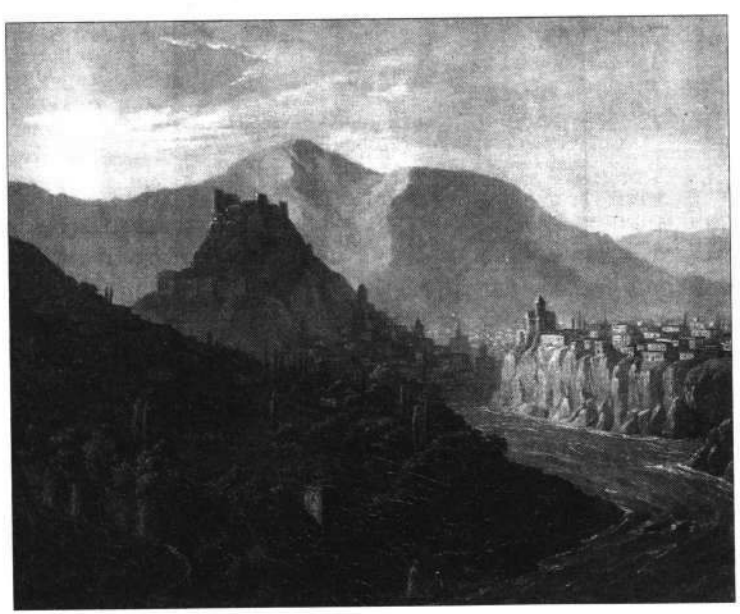
1840.

Титульный лист сборника поэзии М.Ю. Лермонтова. 1840 г.

ный поэтом жесточайший бой на реке Валерик («Я к вам пишу случайно; право...», 1840). Тем временем в Петербурге вышло отдельное издание романа «Герой нашего времени», а также однотомник поэзии, имевшие большой успех и вызвавшие восторженные отклики и статьи Белинского.

В 1841 году отличившийся в сражениях поэт получил двухмесячный отпуск и прибыл в Петербург. Лермонтов был полон надежд и планов, мечтал об отставке и занятиях литературной деятельностью, издании собственного журнала: «Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое». В этот краткий, необыкновенно плодотворный промежуток времени между ссылками поэт создает лучшие свои произведения, среди которых – в опубликованных «Отечественных записках» знаменитое программное стихотворение «Родина». В этом же номере сообщалось: «Кстати о самом Лермонтове: он теперь в Петербурге и привез с Кавказа несколько новых прелестных сихотворений <...> Тревоги военной жизни не позволили ему спокойно и вполне предаваться искусству <...>, но замышлено им много и все замышленное превосходно».

В.Г. Белинский вспоминал о Лермонтове: «Пылкая молодость, жадная <до> впечатлений бытия, самый род жизни, — отвлекали его от



Тифлис. *Художник М.Ю. Лермонтов*. 1837 г.

мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взгляд спокойнее стал вглядываться в глубь жизни». Однако надеждам и планам поэта не суждено было сбыться. Его снова выслали «по минованию срока отпуска», и снова друзья провожали поэта. На вечере у Карамзиных Лермонтов долго беседовал с Н.Н. Пушкиной: «Прощание их было самое задушевное...» (запись в журнале П.А. Плетнева). «Лермонтов <...> поспешно уехал на Кавказ, торопясь принять участие в штурме, который ему обещан. Он продолжает писать стихи со свойственным ему бурным вдохновением», — вспоминала Е.А. Свербеева. В короткий срок поэт создает ряд лирических стихотворений «Сон», «Утес», «Листок», «Выхожу один я на дорогу...», «Пророк» и др.

В мае Лермонтов приехал на лечение в Пятигорск. Нелепая ссора на балу привела к дуэли, и 15 июля поэт был убит майором Н.С. Мартыновым. В начале августа генерал Л.В. Дубельт, как обычно, подал императору оперативную сводку — «Таблицу главнейших в Империи происшествий», и Николай, нахмурившись, прочитал там сообщение «о дуэле»: «Находившиеся в Пятигорске для пользования минеральными водами отставной из Гребенского казачьего полка майор Мартынов и Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов 15 июля имели дуэль, и последний, будучи ранен пулею в бок, умер на месте».



Н.С. Мартынов. *Художник Г.Г. Гагарин.*
Конец 1830 – начало 1840-х гг.



М.Ю. Лермонтов. Автопортрет в бурке. 1837–1838 гг.

«В нашу поэзию стреляют удачнее, нежели в Людвига-Филиппа. Второй раз не дают промаха. Грустно!» — писал П.А. Вяземский. «...Этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором, оставить после себя длинную струю света и благоухания и — исчезнуть во всей красе своей...» — так отозвался о личности ушедшего гения В.Г. Белинский.

На протяжении своей короткой творческой жизни Лермонтов оставался певцом мятежного одиночества, а его вершинные произведения — образцом могучей энергии творчества. «Так жизнь скучна, когда боренья нет» — эта лермонтовская строчка может служить своеобразной эмблемой всего творчества писателя.

Неведомый избранник

Лермонтов рано осознал свою принадлежность к настоящей литературе: в его творчестве практически нет традиционного периода ученичества, «литературного младенчества». В стихотворении четырнадцатилетнего автора **«Поэт»** (1828) звучат удивительно зрелые для столь «детского» возраста размышления о статусе художника и таинстве вдохновения:

Таков поэт: чуть мысль блеснет,
Как он пером своим прольет
Всю душу; звуком громкой лиры
Чарует свет и в тишине
Поет, забывшись в райском сне,
Вас, вас! души его кумиры!

Но это идиллическое погружение в мир поэтических мечтаний и грез неродственно лермонтовскому дару, стремящемуся к печали – «любви и счастию назло». Ранняя лирика поэта наполнена пришедшей «прежде опыта» тоской, пронизана мотивом разочарования: «В шуме буйного похмелья / Дума на сердце лежит» («К друзьям», 1829), «Все изменило мне, везде отравы, / Лишь лиры звук мне неизменен был!» («Письмо», 1829), «Не привлекай меня красой! / Мой дух погас и состарелся» («К...», 1829). Лермонтовское лирическое «я» разительно отличается от пушкинского «моцартианства»: вместо юношеского «разгула на пиру жизни» в лирике «поэта печали» звучит ранняя усталость, предвосхищение трудного и краткого пути:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

В этом лермонтовском шедевре 1832 года обозначена главная черта творческого облика поэта — его избранничество, осознание своей особой миссии в «мире печали и слез». Упоминание о Байроне также не случайно: в 30-е годы XIX века позиции романтизма заметно ослабели и имя английского поэта уже начинало уходить в историю. Лермонтов дал русскому романтизму «второе дыхание», что стало возможным благодаря небывалому масштабу лермонтовского дарования, который обозначен строками процитированного выше лирического

признания: «В душе моей, как *в океане*, / Надежд разбитых груз лежит». Это сравнение души поэта с безбрежным океаном традиционно для романтической поэзии, но в контексте лермонтовского стихотворения оно обретает особое, трагическое звучание — это океан, на дне которого, подобно остовам погибших кораблей, лежат похороненные в безбрежных волнах стремительной жизни благородные мечты поэта. Этот характерный для романтической лирики разлад между мечтой и реальностью доведен у Лермонтова до особой остроты, свойственной поэту с «русской душой». «Пока еще не назовем мы его ни Байроном, ни Гёте, ни Пушкиным и не скажем, чтоб из него со временем вышел Байрон, Гёте или Пушкин: ибо мы убеждены, что из него выйдет ни тот, ни другой, ни третий, а выйдет — *Лермонтов*», — писал Белинский в одной из своих критических статей.

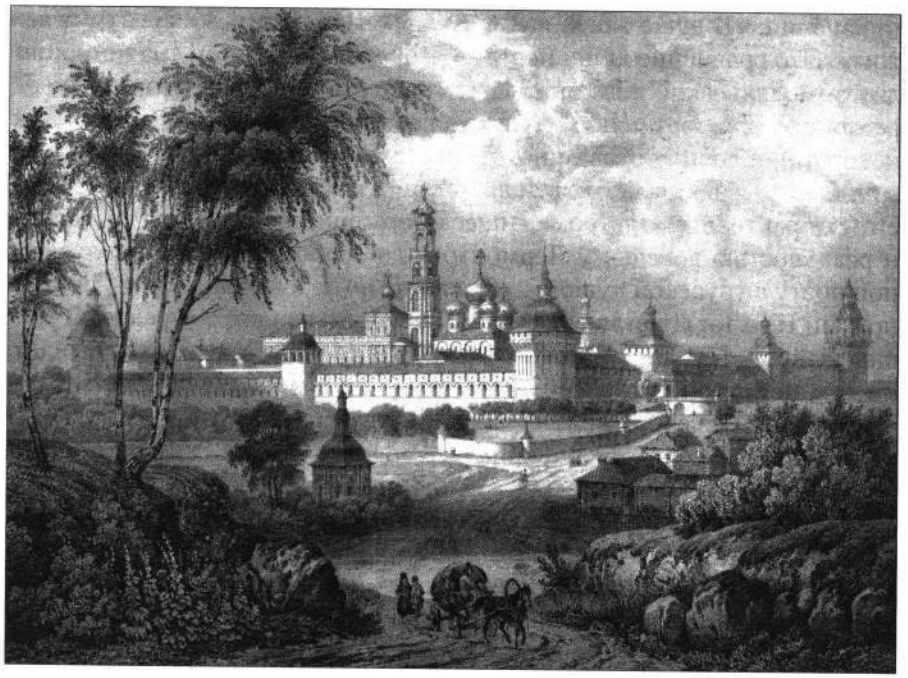
Прочитайте лермонтовское стихотворение **«И скучно и грустно»** (1840). Что сближает его с традиционными романтическими элегиями и что делает его самобытным, присущим неповторимой поэтике Лермонтова? Как соотносится в контексте стихотворения мгновенное, сиюминутное и вечное? Сравните лермонтовское стихотворение с элегией А.С. Пушкина «Я пережил свои желанья...» (1821). К каким приемам лирического самовыражения прибегает каждый из поэтов?

Избранничество Лермонтова-художника чревато страданиями: поэт должен быть готов испить до дна горькую чашу бытия («Мы пьем из чаши бытия / С закрытыми очами, / Златые омочив края / Своими же слезами»).

Эта позиция ощущается даже в любовной лирике поэта. Она часто полна тоски, неудовлетворенности, гнева и обвинений в адрес женщины, не сумевшей понять и оценить страсть поэта, ее силу, искренность и глубину. Чаще всего речь идет о неразделенной любви, и здесь присутствует несомненное влияние Байрона.

Таково раннее стихотворение Лермонтова **«Нищий»** (1830), обращенное, как и другие произведения этого лирического цикла, к красивой и умной московской барышне Е.А. Сушковой. Оно написано после пешего паломничества поэта в компании Сушковой и других молодых людей к Троице-Сергиевой лавре, где им встретился слепой нищий, пожаловавшийся на жестокую шутку каких-то «господ», бросивших ему камень вместо милостыни.

Вначале поэт с возмущением рассказывает эту историю жестокого и легкомысленного обмана несчастного страдальца «у врат обители



Вид Троице-Сергиевой лавры.
Литография Дациаро по оригиналу Л.П. Бишбуа. Середина XIX века

святой» и вносит в нее мудрость евангельской проповеди о подаянии всякому просящему: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» (Евангелие от Матфея 7: 9). Затем следует характерное для Лермонтова сравнение: поэт говорит о горечи тяжелых воспоминаний и тоске несбывшихся надежд, о жестокости и равнодушии героини, обманувшей его сильное, искреннее чувство и отвергшей его мольбы и слезы:

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

Стихотворение звучит как укор, страстная, негодующая обвинительная речь, упрек легкомысленной кокетливой красавице, не оценившей чувство поэта.

Не менее острое любовное переживание отображено в стихотворении **«К ***» («Я не унижусь пред тобою...»**, 1832), адресованном Н.Ф. Ивановой. Оно написано совсем еще юным поэтом, но проникнуто чувством личного достоинства и желанием раз и навсегда разорвать путы, связывающие творящего художника с бесплодной «надеждой юных дней». Тяжелая, поработительная страсть лишает поэта вдохновенья, уводит его с избранной стези:

Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?

Влюбленность, обернувшаяся тяжким недугом, остается на сердце поэта «чумным пятном» («Пусть я кого-нибудь люблю...»), она подобна смертельному яду, отравляющему все радости бытия. Теме любви-страдания посвящены стихотворения «К***» («Мы снова встретились с тобой...», 1829), «Поцелуями прежде считал...» (1832), «К***» («Оставь напрасные заботы...», 1832) и др.

Но только ли для страданий призвана в этот мир вещая душа поэта? Без стремления ее к гармонии, без вечного движения к идеалу, романтическому Абсолюту она становится бескрылой, теряя свою связь с небом (не случайно обращение Лермонтова к жанру молитвы!). Такой идеал есть и в любовной лирике поэта. В стихотворении **«Из-под таинственной холодной полумаски...»** (1840) женский образ предстает в обрамлении романтической тайны и является воплощением идеальной мечты поэта:

И создал я тогда в моем воображенье
По легким признакам красавицу мою;
И с той поры бесплотное виденье
Ношу в душе моей, ласкаю и люблю.

Таким же светлым мечтательным чувством окрашены стихотворения поэта, адресованные В.А. Лопухиной («Она не гордой красотою...», 1832) и М.А. Щербатовой («Отчего», 1840). А знаменитая **«Молитва»** (1837), обращенная к Богородице и воспевающая «деву невинную» и «лучшего ангела душу прекрасную», поднимает лермонтовскую интимную лирику до высоты пушкинской «Мадонны». Принимая страдания, поэт благодарит любовь за те мгновения, которые и делают поэта Поэтом.

Прочитайте стихотворение Лермонтова «Благодарю!» (1830). Что составляет гамму чувств, переживаемых лирическим героем? Какова роль повтора в конце каждой строфы стихотворения? Как сквозной рефрен соотнесен с названием произведения? В чем смысл последнего «благодарю» поэта?

Другая ипостась личности поэта-избранника лежит вне интимной сферы его жизни и связана не с борьбой самолюбий на любовном поприще, а с противостоянием поэта и толпы, столь ярко представленным в творчестве великого предшественника Пушкина. Уже в ранней лермонтовской лирике герой-одиночка бросает вызов сильным мира сего, он способен идти до конца в конфликте с властью и окружающим ее миром лжи, обмана и пошлости.

С мятежным юным Лермонтовым в русскую поэзию после Пушкина неожиданно возвращается романтизм со всей его субъективностью, поэт снова осознает себя центром вселенной, восстает против неправильного миропорядка и угнетения личности. Лермонтовская лирика, в отличие от пушкинской, порывиста, неровна, тороплива, беспокойна, полна сильного борения страстей и желаний, яростного негодования, обид и обвинений:

Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества иль гибели моей.

Самым известным произведением, сразу сделавшим молодого поэта знаменитым, является **«Смерть Поэта»** (1837). Это уже гражданская лирика, политическая сатира, смелое обличение тех, кто скрывает свои преступления под сенью царского трона и бездействующего Закона. Это и страстный упрек самой Власти, допустившей столь страшное преступление. Только Лермонтов имел право написать такое стихотворение, и именно он лучше всех выразил скорбь и негодование русского общества по поводу трагической гибели национального поэта. В итоге потрясенное и прозревшее общество узнало и признало автора как достойного наследника великого Пушкина.

Тематика стихотворения заявлена сразу и прямо указывает на его принадлежность к обличительной лирике. Его темы — «поэт и толпа», «поэт и власть», «поэт и Закон», «суд истории».

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..



На великосветском балу.
Изображены: обер-церемониймейстер граф Воронцов-Дашков, канцлер граф Нессельроде, министр юстиции граф Панин, графиня Борх, военный министр князь Чернышев.
Художник П.И. Челищев. 1840-е гг.

Образ «невольника чести» взят из пушкинского «Кавказского пленника», и это еще одна дань памяти ушедшему гению.

Стихотворение выстроено по всем правилам торжественной риторики, обвинительной речи: оно делится на три основные части. Гнев, негодование, скорбь, характерные для красноречия сознательные преувеличения и заострение тем и суждений создают особое, «лермонтовское» звучание темы. Вначале Лермонтов говорит о трагической гибели оклеветанного поэта и прямо называет ее убийством. От мелочных обид, мучений и светской клеветы высокопоставленные гонители поэта перешли к заговору против непокорного, восставшего «против мнений света» Пушкина и путем тонкой циничной интриги вложили смертоносное оружие в руки самодовольного, неумного и ничтожного чужестранца: «Его убийца хладнокровно / Навел удар... спасенья нет...»

Интонации лермонтовской речи разительно меняются, когда он обращается к поэтическому образу живого Пушкина, сравнивая его с «милым певцом» Ленским. Лермонтов скорбит, сожалеет о неосторожном вступлении ранимого поэта в высший свет, о его доверчивости к неискренним ласкам и обещаниям, об отравленных последних мгновениях жизни гения:

Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

Заключительная часть стихотворения была дописана Лермонтовым после взволнованных споров, суждений и появления новых фактов об убийстве Пушкина. Поэт возвращается к обвинениям и прямо называет виновников гибели великого певца гармонии: это вожди «новой» аристократии, ставшие ядром николаевской машины власти, «жадною толпой стоящие у трона», презревшие закон и справедливость. На одном из бесчисленных списков «Смерти Поэта» написаны имена «наперсников разврата»: графы Орловы, Бобринские, Воронцовы, Завадовские, Нессельроде, князья Барятинские, Васильчиковы, бароны Энгельгардты и Фредериксы. Обвинительная речь Лермонтова завершается грозным напоминанием о «мнении народном», о высшем, Божьем суде и суде истории, который выявит правду и заклеймит кровавое преступление в веках.

Отдав последние почести солнечному гению Пушкина, Лермонтов задумывается о роли поэта в современном ему, «послепушкинском» обществе. Каков он, современный поэт, и каковы его взаимоотношения с окружающим миром? Так рождается второе в творчестве Лермонтова стихотворение **«Поэт»** (**«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»**), написанное в 1838 году и опубликованное спустя два года после смерти Пушкина. В стихотворении чувствуется влияние как пушкинской лирики («Пророк», «Поэт», «Поэту», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»), так и декабристской поэзии (произведения К.Ф. Рылеева, А.И. Одоевского и др.). Метафорическое уподобление поэта и его творений боевому оружию — кинжалу близко «агитационной» поэзии декабристов:

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда, на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

Подумайте над вопросами: на какие смысловые части делится стихотворение и как они связаны между собой? Как соотносится прошлое и настоящее в размышлениях автора о поэте и поэзии? Что нового вносит Лермонтов в традиционную для романтизма тему художника и толпы? Как соотносится образ «осмеянного пророка» с идейным звучанием «Пророка», созданного Пушкиным? Как бы вы определили жанр лермонтовского стихотворения?

Следуя пушкинской традиции, Лермонтов создает еще одно произведение, прямо соотносящееся с шедевром великого предшественника, — стихотворение **«Пророк»** (1841), в котором также обращается к «вечной» библейской тематике:

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Пушкинский пророк, наделенный сверхспособностями, в финале стихотворения внимает Божьему напутствию и готовится идти в мир. Герой Лермонтова повествует о своем хождении в народ как о трагической неудаче: «любви и правды чистые ученья» отвергаются толпой, а сам пророк вынужден бежать в пустыню (именно оттуда начал свой путь герой Пушкина). Только здесь, в спасительном одиночестве, изгой-пустынник обретает гармонию и покой:

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная.
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Мотив одиночества пронизывает всю лирику поэта, являясь своеобразной «религией» Лермонтова-художника. «Святое одиночество», воспетое немецкими романтиками, для Лермонтова — единственно возможная форма существования мятежной, гордой души (вспомним героя знаменитого «Паруса», просящего бури во имя покоя и отъединенного от мира своей «нездешней» мечтой о высшей гармонии). Но то, что гармонично для «немирной» романтической личности, для реального земного человека оборачивается трагедией («Как страшно жизни сей оковы / Нам в одиночестве влачить»). Лермонтовский герой страдает от вынужденной изоляции в обществе, где царят ложь, обман и предательство:

Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть:
Как я любил, за что страдал, —
Тому судья лишь Бог да совесть!..

Я не хочу, чтоб свет узнал... (1837)

Теме одиночества посвящено известное лермонтовское стихотворение **«Как часто, пестрою толпою окружен...»** (1840). Мир светских отношений представлен в нем как непрекращающийся бал-маскарад, суетливое и призрачное театральное действо: «Мелькают образы бездушные людей, / Приличьем стянутые маски...» От этого мелькания людей-масок, лжи и фальши затверженных речей может спасти лишь некое внутреннее уединение, погружение в мир «старинной мечты» — воспоминаний о детских иллюзиях влюбленной в жизнь души поэта. Пробуждение от забытья, возвращение в суету людской толпы мучительно для героя, с новой силой ощущающего свое духовное сиротство «при шуме музыки и пляски». И именно в этот момент на смену вдохновенной мечтательности приходят другие, не менее сильные чувства:

О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

Это плата и за горечь изгнанья, и за вынужденное одиночество в родном краю (в стихотворении явно угадываются автобиографические мотивы). Это суровый и резкий вызов тем силам, что из века в век являются гонителями живой души поэта.

Желанное пристанище одинокого поэта — вечная природа (вспомним пушкинского героя, бегущего от толпы «на берега пустынных волн, в широкошумные дубравы»). В мире природном поэт ищет и находит созвучие своим грустным одиноким думам. Сила поэтического воображения рождает яркие, запоминающиеся образы: перед нами возникает угрюмый утес, оплакивающий разлуку с «тучкой золотой» («Утес»), «бедный листочек дубовый», превратившийся в горестного скитальца («Листок»), одинокая сосна, дремлющая на голой вершине («На севере диком стоит одиноко...»). В стихотворении **«Тучи»** (1840) герой следит за полетом «вечных странников» небес, следующих «с милого севера в сторону южную»:

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

В этих вопросах скрывается драма поэта-изгнанника, гонимого миром, как и было предсказано в строках стихотворения «Нет, я не

Байрон, я другой...». Лермонтовский герой тоскует по гармонии, мечтает о свободном и справедливом мире подобно герою поэмы «Мцыри» и так же, как он, готов заплатить за это дорогую цену.

Сопоставьте два шедевра лермонтовской поздней лирики — «Пленный рыцарь» (1840) и «Выхожу один я на дорогу...» (1841). Какие мотивы сближают два стихотворения? В чем состоит драма лирического героя каждого из стихотворений и какими средствами пользуется поэт для ее воплощения? К какому жанру можно отнести эти произведения?

Тема человека и природы, художника и мирозданья имеет у Лермонтова различные, подчас полярные оттенки звучания. Сам миропорядок в сознании поэта разделен на темную и светлую стороны. Силы тьмы олицетворяет демон, который, «носясь меж дымных облаков... любит бури роковые» (стихотворение **«Мой демон»** имеет две редакции — 1829 и 1831 годов). Озаряя ум поэта «лучом чудесного огня», он способен питать вдохновение художника, оставаясь при этом коварным демоном-искусителем:

Покажет образ совершенства —
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствия блаженства,
Не даст мне счастья никогда.

Но есть другой род вдохновенья, питающий усталую душу поэта животворящей верой, доносящий до поэта звуки неба:

По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Ангел (1831)

Душа поэта стремится ввысь, к лучшему миру, несбыточному идеалу, движима небывалой по силе творческой энергией и жаждой деятельности. Не случайно перу Лермонтова принадлежат искренние, прочувствованные молитвы, которые философ В.В. Розанов точно назвал «оригинальными и личными гимнами».

Вдумчивый читатель понимает, что автор этих светлых гимнов искренен в своей вере, прошедшей через великие сомнения и отчаяние

одиночества, надеется на спасение. Гоголь находил у Лермонтова глубокое религиозное чувство. «Хотя он и не отличался особенно усердным выполнением религиозных обрядов, но не был ни атеистом, ни богохульником», — вспоминали современники о поэте и добавляли, что бабушка подарила ему целый иконостас в дорогих окладах, с каменьями и жемчугами.

Лермонтов создал три стихотворения с названием «Молитва», но таковыми, по сути, являются и многие другие его произведения, и прежде всего написанное в том же этапном 1837 году проникновенное стихотворение **«Когда волнуется желтеющая нива...»**.

Как и другие лирические шедевры поэта, оно продуманно и музыкально выстроено, разбито на три повторяющие друг друга части и завершается мощным финальным аккордом — последним четверостишием, содержащим добытую умом и сердцем высокую истину. Лермонтов в совершенстве владеет искусством лирической композиции. Это медленное восхождение мысли и развитие чувства на пути к просветлению.

«Когда волнуется желтеющая нива...» — одно из лучших стихотворений о природе, причем видно, что автор не только лирический поэт, но и художник и музыкант. Ему знакомы живописные и экзотические пейзажи Кавказа, но здесь он говорит о родном, с детства знакомом:

Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой...

Это русская природа средней полосы, где под неярким солнцем мирно желтеют хлеба, шумят свежие листья в лесу, журчит в овраге студеный ключ. Летний зной и прохлада соседствуют, сменяют друг друга. Эта картина живет в своих неповторимых красках, запахах и звуках, и ее делают реальной, подлинной и поэтичной точно найденные зримые детали — «свежий лес», «малиновая слива», «румяный вечер», «час златой» утра, «ландыш серебристый», вечно лепечущий родник (пейзаж в стихотворении как бы «собран» из наиболее ярких примет различных времен года). Такой удивительно емкой словесной живописи Лермонтов достигает только в **«Родине»** (1841), передающей глубоко интимное патриотическое чувство поэта. Отказываясь следовать общепринятым, в том числе государственным, постулатам народности и патриотизма, Лермонтов говорит о своей «странной», иррациональной любви к России, ее грандиозным пространствам и малым, но родным проявлениям «русского» («Смотреть до полночи готов / На пляску с топаньем и свистом / Под говор пьяных мужичков»).

В стихотворении ощущается то же духовное пространство Руси. Поэт видит по-новому с детства знакомое и родное, душа его светлеет, успокаивается, освобождается от сомнений, отрицания, неверия, мрачных мыслей, предчувствий и отчаяния. Мысль и чувство стремятся вверх, к лазурным небесам, вечной красоте и покою. Природа примиряет поэта с тяжелой, неудачливой судьбой, поражениями и разочарованиями, рождает веру, надежду:

И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...

Той же просветленностью отмечено стихотворение **«Молитва»** (**«В минуту жизни трудную...»**, 1839), но здесь ритм поэтической речи стремителен, душа поэта словно бы парит над землей. У стихотворения характерное «лермонтовское» начало: речь идет о трудном моменте жизни, разочаровании и обиде, тяжести сомнений. Но стихотворение это о другом. Оно — о благодатной, исцеляющей и просветляющей силе вдохновенного молитвенного слова, овладевающей усталым и отчаявшимся сердцем. Все свершается в тишине и одиночестве, и молящий, ищущий покоя взгляд поэта устремляется в небеса. «Тихо было всё на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы» — так описано Лермонтовым это редкое благое мгновение в «Герое нашего времени».

«Созвучье слов живых» в лермонтовской «Молитве» дышит «непонятной, святой прелестью». Она уносит все сомнения, облегчает душу:

И верится, и плачется,
И так легко, легко...

«Из того же самого духа поэта, из которого вышли такие безотрадные, леденящие сердце человеческое звуки, из того же самого духа вышла и эта молитвенная, елейная мелодия надежды, примирения и блаженства в жизни жизнию», — писал Белинский об этом замечательном стихотворении.

Поэту очень нужны были такие молитвы, пободные минуты душевного просветления, ибо он, как и лучшие люди его поколения, знал мрачные минуты отчаяния и разочарования во всем, зловещие предчувствия, ощущение полной безысходности бытия, порождавшие в нем «ледяное ироническое спокойствие» (Аполлон Григорьев).

Творя в «безмолитвенную» эпоху, Лермонтов нередко задумывался о судьбах поколения молодых людей, преждевременно ощутивших «старость души» и замкнувшихся в эгоистическом своеволии. Еще в раннем своем стихотворении **«Монолог»** (1829) Лермонтов указывает на страшные симптомы нравственной болезни, поразившей общество:

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?

Слабость современного поколения, его духовное банкротство особенно ярко проступают на фоне сравнения с историческим прошлым, великими свершениями предшественников. В этом отношении особого внимания заслуживают произведения так называемого «новгородского» цикла, в которых Лермонтов обращается к теме славянской вольности («Новгород», 1830, «Приветствую тебя, воинственных славян...», 1832, «Последний сын вольности», 1831). Поэт отдает дань памяти «сынам снегов, сынам славян», мужественно защищавшим свою свободу от посягательства князя Рюрика и его варяжской дружины.

Образ новгородского вечевого колокола становится для Лермонтова олицетворением одного из вершинных проявлений русского духа (не случайно в стихотворении «Поэт» (1838) этот образ перекликается с образом свободолюбивого поэта — вдохновителя сограждан). Подвиги героев-новгородцев Лермонтов возводит в ранг легенды, ожившей в другую эпоху, эпоху декабризма:

До наших дней при имени свободы
Трепещет ваше сердце и кипит!..

Новгород (1830)

Не забыто и поколение 1812 года, заслужившее вечную славу на Бородинском поле. Слова старого солдата из стихотворения **«Бородино»** (1837) выражают общее чувство, владевшее защитниками России: «Уж мы пойдем ломить стеною, / Уж постоим мы головою / За родину свою!» До и после описания грандиозной картины битвы рассказчик дважды обращается к «нынешнему племени» с упреком: «Богатыри — не вы!» За этим простым, бесхитростным противопоставлением пролегает бездна, отделившая эпоху великих исторических свершений от периода безвременья, породившего феномен «потерянного» поколения.

Говоря «мы», герой «Бородина» ощущает себя частицей великой русской истории: он говорит от имени целого народа, защитившего страну от иноземного нашествия. Обобщенно-риторическое «мы» прозвучало и в другом, позднем, стихотворении поэта, герой которого является представителем поколения 1830-х годов. В стихотворении **«Дума»** (1838) нашли свое отражение размышленья поэта над судьбами современников. Обращаясь к жанру исторической думы (см. о поэзии К.Ф. Рылеева в разделе «Литература русского романтизма первой четверти XIX века»), Лермонтов отходит от традиционного содержания: поэт не отображает крупные, ключевые события прошлого или современности, а осмысливает причины их отсутствия с наступлением «больного» века:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.



М.Ю. Лермонтов. *Художник К.А. Горбунов.* 1841 г.

Это элегическое начало несет на себе печать личного опыта художника, глубоко проникшего в сущность социального скепсиса и пессимизма, носителями которого являлись многие достойные молодые люди, не нашедшие применения своим талантам и способностям. Сами ключевые понятия — «познанье», «сомненье», «бездействие» — намечают некую схему «убывания», утраты духовных сил личности по мере ее погружения в действительность, лишенную нравственных опор и высоких идеалов.

В самом начале стихотворения автор упоминает об «ошибках отцов», тяжким грузом лежащих на судьбах тех, кто только вступил на историческую сцену. Речь идет о неудавшемся опыте декабризма, вызвавшем политическую реакцию и лишившем последующее поколение возможности социального действия. Но если историческая вина лежит на «отцах», то почему же так критичен автор «Думы» по отношению к «без вины виноватым» наследникам несбывшихся социальных утопий? «Перед опасностью позорно малодушны / И перед властию — презренные рабы» — это звучит не элегически, а скорее напоминает гражданскую сатиру. Сочувствие перерастает в обвинение — но в чем?

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.

Вновь вспоминается стихотворение «Поэт» (1838), в котором автор бросает упрек художнику, утратившему свое назначение в обществе, где самолюбие «тешат блестки и обманы». Лермонтов напоминает о необходимости совершить свой нравственный выбор независимо от степени исторического «благоприятствования»: мыслящий человек «восстает против мнений света» или «уходит в себя», измеряя жизнь людей своим холодно-эгоистическим «я» (вспомним «онегинский» тип личности). Выбрав последнее, молодые люди эпохи безвременья обрели эфемерную защиту от несовершенства окружающей жизни, заключающуюся во внешней иронии и равнодушии, за которыми тщательно скрываются подлинные чувства и страсти. Итогом подобного насилия над живой жизнью в самом себе становится постепенное умирание души, обесценивание важнейших категорий человеческого бытия:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,

И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

Пройдя «толпой угрюмою» отмеренный ему век, это поколение «эгоистов поневоле» не способно оставить сколько-нибудь значимый след в истории. Будущее беспощадно заклеймит и бесславную, лишенную высоких порывов эпоху, и подчинившееся ей «потерянное» поколение: в финале «Думы» возникает фигура потомка, чей «презрительный стих» подведет итог бесплодному существованию сыновей «бескрылого» века.

Обращаясь к читателю от лица некой общности, составляющей целое поколение, лирический герой Лермонтова воспринимает себя как ее органическую часть («печально *я* гляжу» — «и жизнь уж *нас* томит»). Достаточно сравнить один из центральных образов «Думы»

Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час!

Дума (1838)

с аналогичным образом из другого лермонтовского стихотворения:

И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя;
Как ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока
Под знойным солнцем бытия.

Гляжу на будущность
с боязнью... (не ранее 1837)

Разделяя участь своего поколения, Лермонтов одновременно является автором того самого «презрительного стиха», с которым в будущем должен выступить потомок — «судья и гражданин». Именно эта способность вынести суровый приговор своей эпохе, сделать свою поэзию поборницей истины и справедливости и выделяет поэта из «угрюмой» и «скоро позабытой» толпы скучающих современников.

Выразив свою позицию в ярких поэтических образах, Лермонтов не менее определенно и талантливо явил ее в эпосе, создав роман **«Герой нашего времени»**.

РОМАН «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

«...Признаки таланта первостепенного...»

Лермонтов — тонкий лирик, романтик, которого не случайно называли русским Байроном. Лермонтову-поэту присущ субъективный взгляд на мир, характеризующийся порывами мятущейся души, бурной и сложной диалектикой страстей. Это богатая гамма цветов и настроений нашла свое отражение в стихотворениях, поэмах, романтических драмах. Роман — жанр эпический, объективный, требующий «взгляда сверху», исторической точки зрения, соблюдения дистанции между автором и персонажем. Именно в таком качестве он должен был восприниматься читателем. Но этого не произошло с появлением первого издания романа. «Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой нашего времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка!» — так откомментировал реакцию читательской публики автор романа в предисловии ко второму его изданию. Уже из этого авторского предуведомления следует, что лермонтовский роман вызвал широкий общественный резонанс остротой поставленных в нем вопросов. Вполне естественно, что в центре полемики оказалась фигура главного героя романа, явившегося, по замыслу автора, «знаковой» фигурой эпохи. В отношении самого автора можно было лишь сказать словами Гоголя: «В нем слышатся признаки таланта первостепенного...»

«"Герой нашего времени" принадлежит к тем явлениям истинного искусства, которые, занимая и услаждая внимание публики как литературная новость, обращаются в прочный литературный капитал, который с течением времени все более и более увеличивается верными процентами» — так оценил В.Г. Белинский лермонтовский роман из современной жизни, появившийся в печати в мае 1840 года.

Замысел «Героя нашего времени» складывался постепенно. В 1836 году Лермонтовым были написаны драма «Два брата» (в ее герое Александре Радине угадываются черты будущего «героя време-


ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
СОЧИНЕНІЕ
М. ЛЕРМОНТОВА.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
1840.

«Герой нашего времени». Титульный лист. 1840 г.

ни») и девять глав романа «Княгиня Лиговская», который не был закончен, а его герой, Григорий Александрович Печорин, «перешел» в роман о русском офицере на Кавказе. В Печорине из «Княгини Лиговской» сосредоточены те черты характера, которые затем будут развиты в «Герое...»: в определенной степени незаконченный «петербургский» роман можно считать своеобразным прологом к более крупному замыслу и одновременно предысторией «кавказского» Печорина.

Роман «Герой нашего времени» включил пять сюжетно завершенных повестей, из которых три — «Бэла», «Фаталист» и «Тамань» — были опубликованы в «Отечественных записках», а остальные две — «Максим Максимыч» и «Княжна Мери» — появились уже в отдельном издании романа в 1840 году. «"Герой нашего времени" отнюдь не есть собрание нескольких повестей, изданных в двух книжках и связанных только общим названием <...> это роман, в котором один герой и одна основная идея, художнически развитая» — так объяснил Белинский замысел автора.

«Онегин нашего времени»

Роман строится вокруг главного героя и связанной с ним, всем близкой и понятной общественно-философской проблемы. С самого начала вниманием автора-повествователя, а вместе с ним и читателей овладевает Григорий Александрович Печорин, молодой, образованный, полный жизненных сил дворянин, человек большого света, гвардейский офицер, сосланный из Петербурга на Кавказ за дуэль. Яркие способности и силы его не находят достойного применения, тратятся на мимолетные увлечения и бессмысленные, подчас жестокие эксперименты над окружающими. Уже в начале романа звучит самопризнание героя: «Во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне всё мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня...»

Очевидно, что лермонтовский Печорин принадлежит к разочарованным молодым людям той эпохи, ставшими героями многих западноевропейских романов и поэм. Речь идет об эпохе позднего романтизма. Резкий протест, бесплодное бунтарство против политического безвременья и общего равнодушия говорят о близости Печорина к мятежным персонажам поэм Байрона, а сходство судеб автора и героя позволяет увидеть в Печорине автобиографические черты. «Автор постарался отделить себя от своего героя, однако для читателя с повышенной восприимчивостью щемящий лиризм и очарование этой книги в значительной мере заключаются в том, что трагическая судьба самого Лермонтова каким-то образом проецируется на судьбу Печорина», — точно подметил писатель В.В. Набоков.

Однако, если бы в Печорине был воспроизведен только лишь портрет самого Лермонтова, роман не вызвал бы столь ожесточенные споры, оставшись фактом биографии конкретного человека. Но сквозь внутренний облик Печорина мы видим эпоху, нравы и судьбу поколения — и в этом проявляется *реализм* лермонтовского социально-философского романа.

Сама фамилия главного героя романа является в каком-то смысле «говорящей», ясно указывая на его родство с пушкинским Онегиным: они как бы сменяют один другого в русской действительности. Лермонтовский Печорин с удовольствием цитирует пушкинского «Евгения Онегина» и сам не чужд некоторого романтического демонизма, отчасти ставшего красивой позой скучающего молодого дворянина. Однако он не мифологический Демон, а русский человек, сын своего нелегкого времени. Сходные мысли и чувства высказаны в лирических стихотворениях Лермонтова «Дума», «И скучно и грустно», «Не

верь себе», «Прощай, немытая Россия...». В нескончаемой «буре страстей» лермонтовский лирический герой страдает без «цели благородной», жизнь видится ему как «борьба бесплодная» («Графине Ростопчиной», 1841).

Но Печорин борется и живет, причем не в горних высях, а в реальной российской действительности. Это типический характер, развивающийся в типических обстоятельствах:

Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.

«Герой нашего времени» последовательно выявляет себя в различных жизненных обстоятельствах — Кавказ, ссылка, война с черкесами, офицерская среда, светское общество, любовные истории, опасные приключения, дуэли. Общему авторскому замыслу подчинена *композиция* романа. Ведущим жанром русской прозы тех лет являлась повесть, сначала романтическая, потом бытописательная, а благодаря Гоголю и его ученикам ставшая реалистической. «Герой нашего времени» составлен из пяти повестей, которые при первой публикации воспринимались как романтические, чему способствовала их «кавказская»



Пятигорск. *Художник М.Ю. Лермонтов*. 1837–1838 гг.

приключенческая тематика. В романтизме главное — авторское «я», личность и чувства художника. В романе Лермонтова автор «прячется» за образами рассказчиков и в то же время помогает им в создании портрета реальной личности.

В каждой повести Печорин представлен по-новому, показан в развитии и другими глазами, меняются рассказчики (странствующий офицер, Максим Максимыч) и точки зрения на героя, а события последних трех повестей — «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист» — изложены самим Печориным, продуманно объединены в его дневник («журнал») с предисловием публикующего эти тексты офицера-повествователя. Действие романа в целом занимает не менее восьми лет, и у читателя есть время, чтобы узнать главного героя, увидеть его личность и характер в движении и развитии. «Внимательный читатель отметит, что весь фокус подобной композиции состоит в том, чтобы раз за разом приближать к нам Печорина, пока, наконец, он сам не заговорит с нами, но к тому времени его уже не будет в живых», — верно заметил В.В. Набоков.

Хронологическая последовательность повестей такова: «Тамань» (сосланный за дуэль гвардеец Печорин останавливается в этом крымском городке по дороге на Кавказ), «Княжна Мери» (Печорин отдыхает после боев на водах в Пятигорске и за убийство Грушницкого на дуэли переводится в дальнюю крепость), «Бэла» (любовная драма, разыгравшаяся в период службы Печорина в крепости), «Фаталист» (приключение в казачьей станице, куда герой приезжает из крепости), «Максим Максимыч» (встреча Максима Максимыча и рассказчика с уезжающим в Персию Печориным).

Важной частью композиции романа является сообщение основного повествователя о смерти Печорина в предисловии к дневнику героя. Лермонтов, продуманно выстраивая свой роман из отдельных разрозненных фрагментов жизни героя, решительно разрывает эту хронологию.

Составьте композиционную схему романа «Герой нашего времени», соотнося в ней порядок глав по хронологии и фактическое их расположение в романе. Подумайте над логикой «случайного» соединения повестей.

Живописное и экзотическое место действия романа — Кавказ и его вечные горы — присуще романтическому повествованию, как и сама история трагической любви русского офицера и похищенной им прелестной юной черкешенки Бэлы. История «кавказская», кра-

сивая и чисто романтическая, но Лермонтову она нужна для решения более сложной художественной задачи — постижения «истории души человеческой».

Характер и личность главного персонажа романа в **«Бэле»** исходно очерчены в рассказе простодушного штабс-капитана: мы видим человека умного, сильного, но уставшего от жизни и людей и стремящегося себя развлечь и развеять рискованными и весьма жестокими предприятиями («Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!»). Скучающий в горной глуши Печорин начинает свою службу в крепости с кражи чужого коня и похищения любимой дочери местного «мирного» князя, что вызывает соответствующую реакцию горцев и честного Максима Максимыча. Эгоистичному Печорину нет дела до того, что вокруг крепости идет кровавая война и что он — русский офицер, находящийся в чужой враждебной стране среди воинственных мусульман, где подобные «развлечения» могут иметь весьма тяжелые последствия.

За неосторожным поступком молодого офицера следует обвал драматических событий: навсегда покидает семью угрюмый и безо-



Казбич и Азамат. *Художник М.А. Врубель.* 1890-е гг.

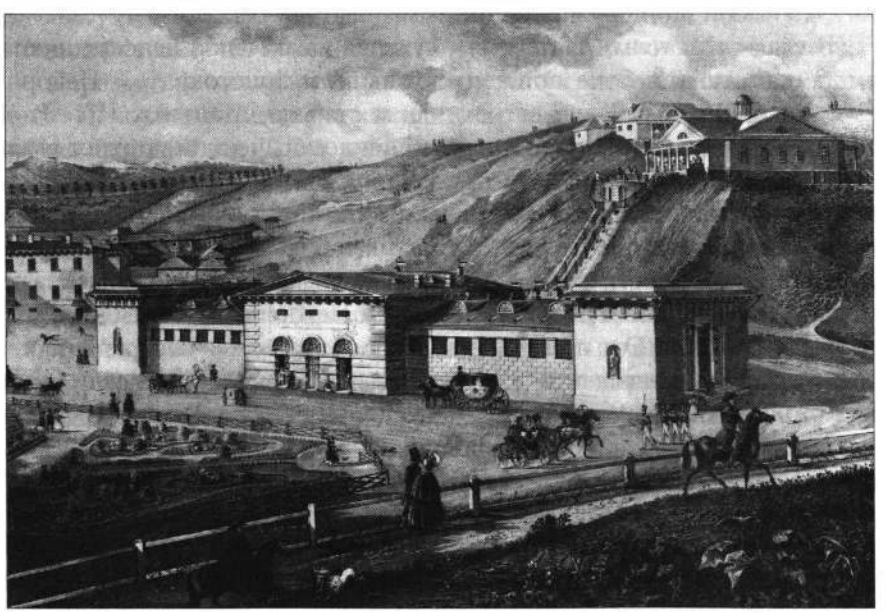


Бэла. *Художник В.А. Серов*. 1891 г.

глядный Азамат, от руки Казбича погибают Бэла и ее отец. А сама история взаимоотношений Печорина и Бэлы даже в изложении простодушного штабс-капитана исполнена подлинно трагического звучания. Уже в первом портретном описании юной черкешенки проступает незащищенность, детская доверчивость: «И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу». Бэла дважды становится жертвой, будучи похищена собственным братом, а затем отвергнута любимым ею человеком. Но в поведении горца Азамата и «европейца» Печорина есть существенная разница: первый совершает проступок под влиянием страсти, полностью владеющей «преупрямым мальчишкой», тогда как Печорин спокойно просчитывает все ходы задуманной им «партии» и даже заключает пари с Максимом Максимычем, обещая, что через неделю Бэла будет принадлежать ему.

Подумайте над вопросами: в чем образ Печорина сопоставим с образами горцев и в чем их существенное различие? Почему первое знакомство с главным героем романа происходит на Кавказе, а не в более привычной для Печорина обстановке (например, в «водяном» обществе Пятигорска)?

Все перипетии рассказанной им истории Максим Максимыч объясняет «странностями» Печорина («Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен»). Необъяснимые для рассказчика поступки и душевные проявления Печорина являют собой отклонения от той нравственной нормы, которую воплощает добрый Максим Максимыч. В.Г. Белинский охарактеризовал его как «тип старого кавказского служаки, закаленного в опасностях, трудах и битвах, которого лицо так же загорело и сурово, как манеры простоваты и грубы, но у него чудесная душа, золотое сердце». Лучшие черты «русского кавказца» ермоловской поры в характере Максима Максимыча оттеняют нравственные «аномалии» печоринской натуры с ее внутренним холодом и душевной страстью, юношеской импульсивностью и разочарованностью, подлинным интересом к людям и эгоистическим своеволием. Вместе с тем Печорин отнюдь не романтический гений зла: «...У меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив». Исповедь Печорина, пересказанная Максимом Максимычем, обнажает внутренние мотивы душевной тоски и скуки, овладевших совсем еще молодым человеком:



Пятигорск. Вид Николаевских, Ермоловских и Александровских ванн. *Литография К.П. Беггрова по оригиналу А. Барнардацци*. 1830–1840-е гг.

герой не способен обрести счастье в достижении жизненных целей, так как по достижении их тут же охладевает к результату своих усилий. Причины этой нравственной болезни отчасти связаны с «испорченностью света», развращающего молодые души праздностью и задающего порочные стереотипы жизненного поведения. Но подлинные, глубинные мотивы преждевременной «старости души» героя еще только предстоит постичь вдумчивому читателю романа. На данном же этапе повествования попытка психологического анализа «печоринского феномена» ограничивается диалогом Максима Максимыча с «записывающим» офицером:

— А всё, чай, французы ввели моду скучать?
— Нет, англичане.
— Ага, вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!

Добрый штабс-капитан, по-своему полюбивший «нездешнего» Печорина, не может не нести моральных потерь в беспокойной дружбе с этим странным, порой бесчувственным, не испытывающим угрызений совести человеком. Позже выяснится, что тот, устав от людей, тяготится самой этой дружбой и старым знакомством.

В главе **«Максим Максимыч»** чуждый какой-либо неискренности штабс-капитан глубоко обижен скучающим аристократом Печориным, оскорбительно сухо встретившим старого приятеля. При этом читателю явлен точный и подробный психологический портрет главного героя. Он дан офицером-повествователем — европейски образованным человеком, знакомым с новейшей литературой и философией, книгами по психологии: «он не размахивал руками — верный признак некоторой скрытности характера»; «положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость»; глаза Печорина «не смеялись, когда он смеялся <...> Это признак — или злого нрава, или глубокой постоянной грусти»; «взгляд его <...> мог бы показаться дерзким, если бы не был столь равнодушно спокоен». Это попытка разгадки «внутреннего человека» через внешние «говорящие» детали. И вновь возникает контраст между обликом и поведением искренне обрадованного встречей сердечного Максима Максимыча и отстраненным, холодно протянувшим руку вместо объятия Печориным. Встреча старых приятелей не состоялась: это скорее мимолетный разговор с желанием одного из собеседников поскорее его закончить («Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... — прибавил он, взяв его за руку»).

И все же повествователь разглядел в этом эпизоде нечто большее, нежели проявление сословной дистанции между «петербуржцем» Печориным и простым штабс-капитаном.

Перечитайте внимательно диалог героев, обращая внимание на комментарии рассказчика. В какой момент жизни Печорина произошла эта встреча? Чего не замечает обрадованный встречей Максим Максимыч и что явлено повествователю? Какую роль в обрисовке внутреннего состояния героев играет психологический жест — мимолетное внешнее проявление персонажа, выдающее его внутреннее состояние?

Поспешный отъезд Печорина, его равнодушие к собственным дневникам, оставшимся в чужих руках, по-своему символичны (в «Княжне Мери» герой утверждает, что его записки когда-нибудь станут для него «драгоценным воспоминанием»). Эта лишенная ожидания новых, ярких впечатлений поездка в Персию напоминает о словах, сказанных Печориным Максиму Максимычу в «Бэле»: «...Жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправляюсь — только не в Европу, избави Боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге!» Из предисловия к «Журналу Печорина» читатель узнает, что пожеланию героя, увы, суждено было сбыться...

Перед нами заключительный акт человеческой драмы, но тайна души Печорина все еще остается до конца не разгаданной. Лермонтов рисует портрет человека сложного и «текучего», наблюдательного и иронического, легко переходящего от уверенности к сомнению, полного жизненных сил и не имеющего возможности приложить их в окружающей действительности: «Я как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты».

В своем журнале Печорин анализирует внешние и внутренние события своей жизни, точно и вполне объективно каждую свою мысль и поступок. Автор предисловия к печоринскому дневнику убежден в искренности «героя времени», замечая: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление». В этих словах явственно слышен и голос биографического автора. Лермонтов указывает на главную причину успеха, неувядаемой свежести и занимательности романа: читателей сразу увлек психологический портрет Печорина, та смелость, с которой он открывал свою изве-

ривщуюся, но все еще сильную, жаждущую любить душу и блестящий, гибкий, холодный разум. Самоирония Печорина, его трезвый самоанализ, ясное понимание самого себя и других людей — все это подчеркивало силу характера, его земную (в отличие от лермонтовского Демона), многострастную натуру, обреченную на одиночество и страдание, неустанную борьбу со своей несчастливой судьбой.

В дневнике герой повествует о самом начале своих странствий — о первом опасном и увлекательном приключении в приморском городишке. **«Тамань»** — одно из самых поэтичных творений русской классической прозы, высоко оцененное Толстым и Чеховым. Эта глава романа выделяется ярко выраженной романтической стилистикой и особой сюжетной динамикой. Бурное море, таинственная лодка отчаянно храброго контрабандиста, загадочная юная красавица, слепой мальчик, ночное свидание с девушкой, чуть не стоившее русскому офицеру жизни, — все это, казалось бы, делает короткую историю пребывания Печорина в Тамани наиболее колоритным эпизодом в жизни героя.

Однако главный смысл ее не в этом, а в заключительных словах Печорина: «И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг *честных контрабандистов*? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!» Покинув наскучившее ему петербургское общество, Печорин жаждет новых впечатлений, и судьба предлагает ему некую тайну «нечистого места», обитатели которого вызывают естественные подозрения («...Я вышел, твердо решившись достать ключ к этой загадке»). Старуха, слепой, девушка-ундина и бесстрашный Янко на деле оказываются вовсе не романтической шайкой разбойников, а всего лишь воровatыми «тружениками моря», сообщество которых распадается по воле любопытного проезжего офицера. Вмешиваясь в судьбы незнакомых ему людей, Печорин разрушает естественные человеческие связи: старуха и несчастный мальчик брошены на произвол судьбы сбежавшими сотоварищами («...и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: слепой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало грустно»). Для Печорина становится очевидным, что эти люди живут привычной жизнью, зарабатывают на нее опасным незаконным промыслом и вынуждены по-своему защищаться от назойливого офицера-постояльца. Но промелькнувшее в душе Печорина сочувствие к этим людям сменяется холодным, горьким признанием: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих». Мы впервые наблюдаем этого странного человека изнутри, проникаем в его сознание.

Сравните начальные и финальные строки «Тамани».
В чем они контрастируют друг с другом? Что звучит в подтексте этих двух печоринских записей?

«Княжна Мери» — композиционный центр произведения, эту большую повесть можно назвать романом в романе. Действие развивается стремительно и ритмично. Интересны выбор и расстановка сцен и фигур: скептику и интеллектуалу Печорину противостоит пустоватый и самовлюбленный романтик Грушницкий, очаровательной и наивной княжне Мери — много испытавшая Вера, циничному и неприятному драгунскому капитану, другу Грушницкого, — умный доктор Вернер, поверенный Печорина.

Пестрое общество отдыхающих на водах в курортных городках Пятигорске и Кисловодске, балы и прогулки в горы верхом, две любовные интриги, трагическая дуэль — все это составляет событийный ряд задуманной Печориным трагикомедии, в которой «опереточные» сцены соседствуют с острыми драматическими коллизиями. Герой и здесь в центре событий, его воля и страсть являются главной пружиной действия, его беспощадная к себе и другим ирония и опасные игры с людьми организуют внутреннее сюжетное пространство повести, сообщая ей одновременно занимательность и драматизм. Здесь есть и характерные для Лермонтова сатирические мотивы, связанные с изображением «водяного» общества, ярким представителем которого является фатоватый и вульгарный Грушницкий. Блестящие фразы, афоризмы и парадоксы Печорина вроде слов «А что такое счастие? Насыщенная гордость» украшают эту стремительную, полную тонких психологических деталей прозу.

Холодный анализ и расчет руководят всеми действиями Печорина, и этот подход к жизни и людям раскрывается как изнутри, через внутренний монолог героя, так и извне, глазами других персонажей, испытывающих на себе действие печоринской «системы». Оказавшись в привычной для себя среде, Печорин продумывает и воплощает в жизнь интригу, вполне созвучную онегинской «науке страсти нежной»:

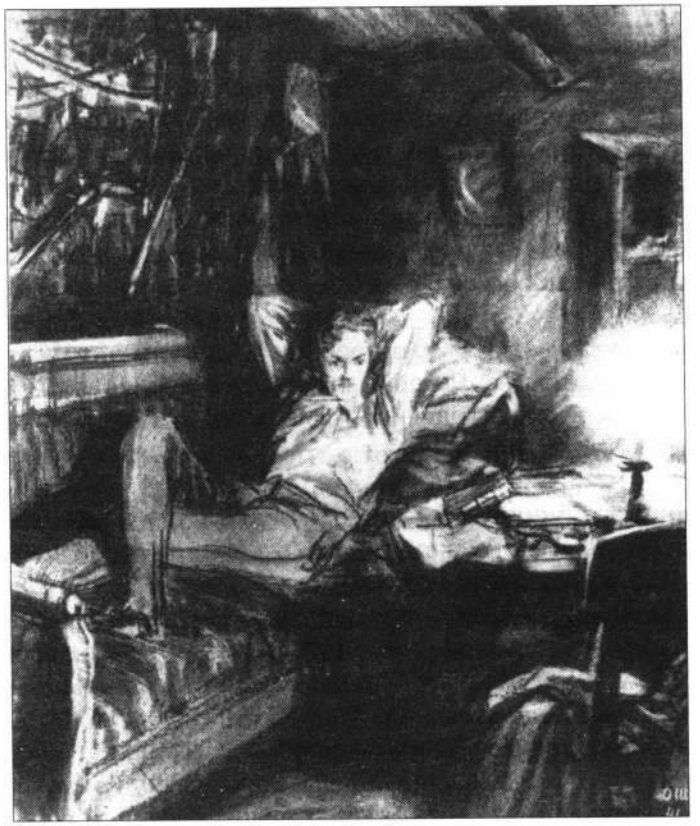
Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить...

Печорин замечательный актер, обманывающий всех и отчасти самого себя. Здесь есть и страсть игрока, и трагический протест, жажда отомстить людям за свои невидимые миру обиды и страдания,



Грушницкий. *Художник П.Я. Павлинов.* 1938–1939 гг.

за неудавшуюся жизнь. В своем последнем письме влюбленная Вера представляет Печорина роковым демоном, но он — реальный человек, играющий от скуки и внутреннего отчаяния в демонического соблазнителя, но до конца эту роль не выдерживающий («Надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной»). Печорин жалеет Веру, готов пасть к ногам скомпрометированной им княжны Мери, покаяться и даже просить ее руки. «Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля: пусть взрыхлит ее страдание и оросит благодатный дождь, — и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви...» — писал В.Г. Белинский. В справедливости этого утверждения убеждает сцена бешеной скачки героя, пытающегося догнать экипаж уехавшей Веры: загнав измученного коня, Печорин



Печорин. *Художник Д.А. Шмаринов.* 1941 г.

«упал на мокрую траву и как ребенок заплакал». Эта погоня за исчезнувшим счастьем символична: «герой времени» пытается догнать, вернуть время — безуспешно.

Но краткий момент «безумства под влиянием страсти» лишь подчеркивает преобладание в герое рассудочного начала, вытесняющего подлинные душевные движения, стремление жить умом, а не сердцем. Именно холодный анализ и расчет лежат в основе интриги, в которую вовлечены Мери, Вера и прежний приятель Печорина Грушницкий.

«Мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дорожке...» Откуда такая уверенность у Печорина в отношении Грушницкого еще до того, как задумана и претворена в жизнь печоринская игра с Мери? Перед нами герои-антагонисты и в то же время люди одной среды. По мере

чтения печоринского дневника мы убеждаемся в том, что юнкер Грушницкий — сниженная копия печоринского индивидуализма («...Он из тех людей, которые <...> драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания»; «Его цель — сделаться героем романа»). Грушницкий являет собой героя-двойника, героя-пародию (вспомним Чацкого и Репетилова из грибоедовской комедии). В печоринской интриге он выполняет «служебную» роль и лишь за определенной гранью развития событий становится реально опасен.

Перечитайте эпизод дуэли в печоринской записи от 16 июня. Что противопоставляет Печорин заговорщикам из «водяного» общества? Что определяет поведение Грушницкого? Почему ему не суждено «сделаться героем романа»?

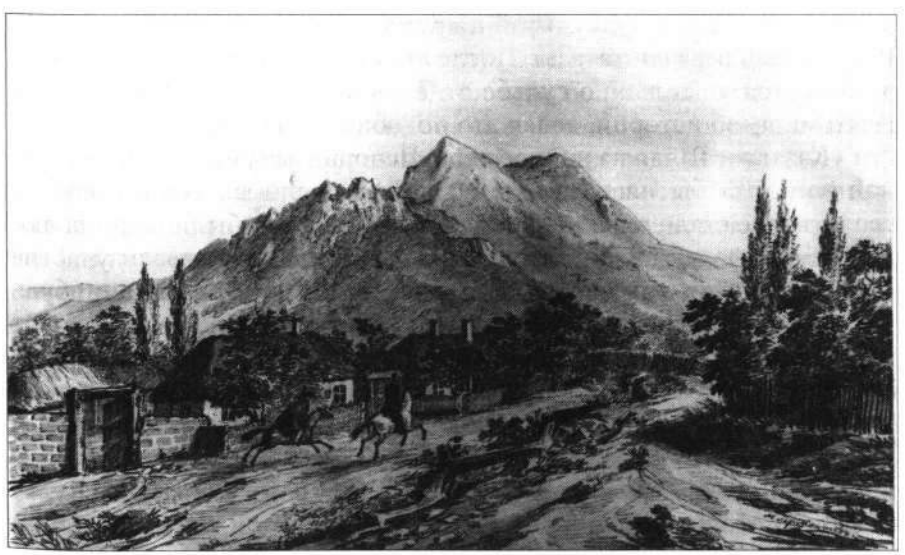
Внешний двойник героя погибает, но остается двойник внутренний: «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его...» Этот внутренний судья явно доминирует над человеком действия, каждый раз вынося ему строгий приговор. По-своему его сформулирует доктор Вернер в своей записке Печорину: «Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно... если можете...» На первый взгляд кажущийся еще одним «двойником» Печорина «скептик и материалист» Вернер все же отличается от него охранительным нравственным инстинктом, не позволяющим ему перейти за грань человечности в своих мыслях и поступках.

Подумайте над вопросами: почему Печорин и Вернер «сделались приятелями», но не стали друзьями? Найдите в рассуждениях Печорина его «формулу дружбы». Закономерна ли развязка взаимоотношений между героями?

Не менее драматично разворачивается сюжет главы, связанный с любовным треугольником Мери — Печорин — Вера. Тонко связав две любовные истории в единый узел светской интриги, Печорин искренне радуется благоприятному стечению обстоятельств, обещающему внести новые интересные эпизоды в его «сценарий». И как коварный соблазнитель, и как человек, достойный глубокого чувства Веры, Печорин выступает одновременно как бы в двух «онегинских» ипостасях. Он объединяет в себе Онегина ранней поры, светского льва и обольстителя, и Онегина в финале пушкинского романа, когда герой открывает для себя важные истины. Вместе с тем подлинные чувства героя к Вере составляют скорее область прошлого, безвозвратно ушедшего, тогда как настоящее, связанное с юной княжной Мери, требует от Печорина все новых действий, направленных на завоевание, покорение еще одного женского сердца. Мери, читающая Байрона и Марлинского, — вполне подходящий «объект» для опытов испытанного донжуана. Но достижение цели, как всегда, не приносит Печорину удовлетворения: «Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь». Печоринская откровенность во время последнего объяснения с Мери поражает: это нравственное самоуничижение — свидетельство полной утраты границ добра и зла при сохранении адекватного представления о том и другом.

Вместе с тем следует заметить, что в данной сцене, как и в других эпизодах романа, герой неодномерен в своих проявлениях: вызывая в Мери ненависть по отношению к себе, Печорин отчасти облегчает для нее выход из трагической ситуации.

Покоряя женские сердца, Печорин подсознательно стремится компенсировать отсутствие в его жизни высоких целей: для героя очередная любовная победа — момент самоутверждения, проверка внутренних ресурсов личности. В итоге готовые пожертвовать для него



Бештау близ Железноводска. *Художник М.Ю. Лермонтов.* 1837 г.

всем Бэла, Вера и Мери оказываются отвергнутыми, так как временна́я роль их исполнена. Сам же Печорин остается наедине с невозможностью объяснения цели собственного явления в этот мир: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные...»

Обратитесь к последнему абзацу главы «Княжна Мери».
В чем смысл сравнения Печориным самого себя с матросом разбойничьего брига? Сопоставьте этот фрагмент с содержанием стихотворения Лермонтова «Парус» (1832). Что сближает эти два лермонтовских текста и как их содержание соотносится с внутренним обликом «героя нашего времени»?

Последняя глава — **«Фаталист»** — является вместе с тем и самой загадочной частью романа. Раньше Печорин лишь испытывал судьбу, теперь же он мучительно пытается понять, что же такое этот страшный фатум — судьба человеческая, называемая иначе предопределением. Почему в маленькой казачьей станице вдруг возникает этот главный вопрос мировой философии?

Мрачный поручик Вулич на глазах у героя ставит свой жестокий эксперимент: играет с судьбой в «русскую рулетку» на свою жизнь и на первый раз выигрывает. После этой роковой сцены Печорин задумывается не только о судьбе отдельной личности, но и о судьбе всего мира, об истории, делая это подобно герою толстовской повести «Казаки». Глядя на ночное небо, Печорин задумывается над вечной загадкой бытия: «Звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. А мы, их жалкие потомки...» Далее следуют вариации на темы стихотворений «И скучно и грустно» и «Дума», объясняющие главное: фатум довлеет не только над Печориным, но над всем поколением «скитающихся по земле без убеждений и гордости».

Жизнь на войне меняется быстро, и вторая встреча храброго Вулича со смертью и судьбой завершается трагически: он убит пьяным казаком. И возникает вопрос: случай это или предопределение? Старый казачий офицер говорит запершемуся в хате отчаявшемуся убийце: «Покорись... Своей судьбы не минуешь».

И вдруг Печорин сам решается, подобно Вуличу, сыграть в «русскую рулетку» со смертью и испытать свою судьбу. Он бросается в хату навстречу пуле казака и хватает его в пороховом дыму за руки. Все поздравляют Печорина с героическим захватом преступника, но он по-прежнему не верит в фатализм и предопределение: «Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив; что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!»

Что позволяет Печорину осуществить свой дерзкий план: безоглядная смелость или трезвый расчет?

В «Фаталисте» происходит постоянное «перетекание» веры в сомнения и наоборот: даже простоватый Максим Максимыч включается в этот спор, то «материалистически» объясняя осечку пистолета во время опасного пари, то вынося Вуличу «фатальный» приговор: «Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..» В этих великих сомнениях и философских размышлениях завершаются повесть, дневник Печорина и сама его жизнь (ибо из предисловия путешествующего офицера мы уже знаем, что тоскующий и одинокий герой умер, возвращаясь из Персии). Таков неоднозначный, поистине философский «открытый» финал этого реалистического психологического романа, вобравшего в себя лучшие традиции русской поэзии и прозы. Рассуждая об образе Печорина, Белинский замечал: «Это Онегин нашего времени, *герой нашего времени*. Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою».

Автор «Героя нашего времени», как и автор «Евгения Онегина», далек от простого осуждения своего героя, хотя видит как бы изнутри все его недостатки и беды. Читатели узнали о Печорине многое или почти все, и многое их в нем оттолкнуло, было непонятно, что-то привлекло, но мятущуюся, страдающую душу его читатели поняли и приняли и многое простили этому странному человеку за его трагический протест, отчаяние и муки в эпоху безвременья: «Мы почти всегда извиняем то, что понимаем».

В этом сказался требовательный, суровый гуманизм русского писателя, предварен и предсказан будущий русский классический роман, и прежде всего трагические, страстные книги Ф.М. Достоевского. Именно поэтому роман Лермонтова «Герой нашего времени» остается одной из самых читаемых книг классической русской литературы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ



1*. Какие темы, мотивы и образы определяют художественное своеобразие лермонтовской лирики? Что является отличительной чертой лирического героя Лермонтова?
2. Как в поэзии Лермонтова представлен образ художника, его миссия в обществе и в мире? Что сближает и что отличает двух «Пророков» в русской поэзии — пушкинского и лермонтовского?
3. Как развивается в поэзии Лермонтова мотив одиночества? Как в решении этой темы соотносятся социальные и философские аспекты? В каких произведениях поэта тема одиночества достигает своего вершинного, итогового звучания?
4. В чем заключается драматизм любовной лирики Лермонтова? Чем ее проблематика отличается от содержания пушкинских лирических шедевров? Выберите по одному из стихотворений поэтов и сопоставьте их с точки зрения своеобразия решения любовной темы.
5. Каковы особенности звучания патриотической темы в лирике Лермонтова? В чем глубина «интимного» чувства родины, нашедшего свое выражение в стихотворениях «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина» и др.?
6. Как в лирике поэта представлена тема «потерянного» поколения? В чем жанровое и содержательное своеобразие стихотворения «Дума»? Как соотносится в нем образ лирического героя и общность людей эпохи безвременья?
7. В чем необычность замысла и сюжетно-композиционной организации «Героя нашего времени»? Как в романе продолжена тема поколения 30-х годов, получившая свое развитие в лирике поэта?
8. Как образ Печорина соотносится с пушкинским Онегиным? Подберите эпизоды из двух романов, тематически перекликающиеся между собой. Что сближает и что отличает двух представителей поколения «лишних людей»?
9. Как образ Печорина соотносится с другими персонажами романа — Максимом Максимычем, Вернером, Грушницким, Вуличем? Какие качества главного героя проявляются во взаимодействии с ними?
10. Какова роль женских образов в романе? Почему женщины, любящие Печорина, неизбежно становятся жертвами собственного чувства? Что мешает Печорину обрести счастье в любви и дружбе?
11. Каковы нравственно-философские итоги лермонтовского романа? В чем заключается важность главы «Фаталист» для прояснения общей идеи автора? Является ли Печорин фаталистом?

12. Докажите на материале романа, что лермонтовский «Герой нашего времени» относится к психологической прозе. Раскройте роль пейзажных зарисовок в характеристике персонажей и сцен романа.
13*. Как в романе Лермонтова соотносятся черты романтизма и реализма?
14. В чем злободневность лермонтовского романа и что делает его проблематику вневременно́й?

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



Байронизм в поэзии.
Лирический пафос.
Лирический мотив.
Историческая дума.
Гражданская сатира.
Философская поэзия.
«Интимный» патриотизм.
Типический характер.
Социально-психологический роман.
Повествовательный цикл.

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ



1. Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова.
2. «И некому руку подать...» (Мотив одиночества в лермонтовской лирике.)
3. Образы и мотивы любовной лирики Лермонтова.
4. «Печально я гляжу на наше поколенье...» (По лирике М.Ю. Лермонтова.)
5. Родина и природа в поэзии Лермонтова.
6. «История души человеческой» в романе «Герой нашего времени».
7. Печорин и его окружение в романе «Герой нашего времени».
8. Тема судьбы и образ «потерянного» поколения в «Герое нашего времени».

ДОКЛАДЫ И РЕФЕРАТЫ



1. Историческая тема в творчестве М.Ю. Лермонтова.
2. Влияние поэзии Дж.Г. Байрона на творчество М.Ю. Лермонтова.
3. Творческая история лермонтовского романа (от «Княгини Лиговской» к «Герою нашего времени»).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Андронников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. М., 1997.
Висковатый П. Михаил Юрьевич Лермонтов: Биография. М., 2004.
Герштейн Э.Г. Судьба Лермонтова. М., 1986.
Гусляров Е.Н., Карпухин О.И. Лермонтов в жизни. Калининград, 1998.
Захаров В.А. Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. М., 2003.
Иванова Т.А. Лермонтов на Кавказе. М., 1975.
Коровин В.И. Творческий путь Лермонтова. М., 1973.
Коровин В.И. М.Ю. Лермонтов в жизни и творчестве. М., 2008.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1999.
Ломинадзе С. Поэтический мир Лермонтова. М., 1985.
М.Ю. Лермонтов: pro et contra: Личность и творчество Михаила Лермонтова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 2002.
Набоков В.В. Лекции по русской литературе. Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев. М., 2001. Предисловие к «Герою нашего времени».
Мануйлов В.А. Роман Лермонтова «Герой нашего времени»: Комментарий. М., 1975.
Сахаров В.И. Русский романтизм XIX века: лирика и лирики. М., 2004.
Торжественный венок. М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. М., 1999.
Фаталист. Зарубежная Россия и Лермонтов. М., 1999.



НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ

1809—1852

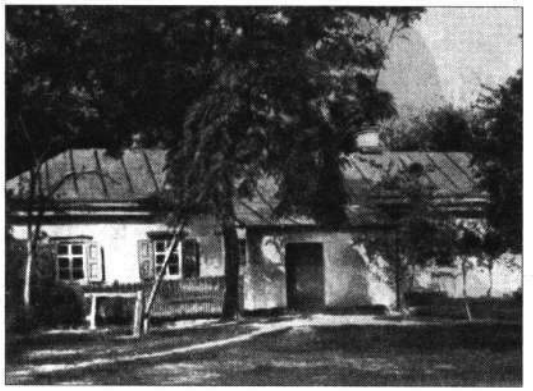
«Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что в те годы, когда я стал задумываться о моем будущем <...> мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра» — так размышлял о своем высоком призвании Гоголь в «Авторской исповеди» (1847).

Этот загадочный человек и яркий художник родился в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского, образованного украинского помещика, сочинявшего комедии из народной жизни. Мать его, Мария Ивановна, была женщина властная и глубоко религиозная. Детство маленького Никоши протекало в имении Васильевка по соседству с таинственной Диканькой, пугающей своими дикими лесами (отсюда и произошло название). Мальчик рос серьезным и задумчивым, любил слушать казацкие песни и уже в пятилетнем возрасте пробовал писать стихи.

В 1818 году Николая отдали в Полтавское уездное училище, а в 1821 году он поступил в привилегированную Нежинскую гимназию высших наук. Поводом к смене места учебы стало трагическое событие в семье Гоголя. «Смерть младшего брата Ивана до того поразила отрока Гоголя, что были принуждены отвезти в нежинский лицей, чтоб отвлечь его от могилы брата», — вспоминал друг писателя Г.П. Данилевский.

В Нежине Гоголь начинает заниматься литературой и живописью, пишет стихи, сатиры и поэмы, участвует в издании рукописных журналов и школьных спектаклях, увлекается Шиллером, создает романтическую поэму-идиллию «Ганц Кюхельгартен». В одном из «нежинских» писем к матери Гоголь сообщал: «Думаю, удивитесь вы успехам моим, которых доказательства лично вручу вам. Сочинений моих вы





М.И. Гоголь-Яновская — мать писателя. *Неизвестный художник.* Середина XIX века.
Дом в Сорочинцах, где родился Н.В. Гоголь. *Фотография.* 1900-е гг.

не узнаете: новый поворот настигнул их. Род их теперь совершенно особенный». Окончив в 1828 году гимназию с чином коллежского регистратора, Гоголь возвращается в родную Васильевку и в декабре вместе с А.П. Данилевским едет в Петербург поступать на службу.

В столице начинающий писатель решает целиком посвятить себя литературе и пытается познакомиться с Пушкиным (встреча писателей состоялось позже, в мае 1831 года). В 1829 году Гоголь опубликовал в журнале первое свое стихотворение «Италия», а затем и поэму «Ганц Кюхельгартен» отдельной книгой под псевдонимом В. Алов, начал собирать материалы для «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Прочитав отрицательные отзывы критиков о своей поэме, Гоголь сжег все ее непроданные экземпляры и неожиданно уехал в Германию, откуда писал почтительные письма матери, извиняясь за свой «побег».

По возвращении в столицу он пытался поступить в театр актером, но после неудачного предварительного просмотра отказался от актерского поприща в пользу государственной службы, поступив писцом в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел. Однако карьера чиновника совсем не привлекала начинающего литератора. В одном из своих писем мать Гоголя с тревогой отмечала: «Я вижу, что Никоша не выучился еще расчетливо жить. Главный его расход — на книги, для которых он в состоянии лишиться и пищи».

В 1830-е годы Гоголь продолжает свои литературные занятия, общается с Жуковским и Дельвигом, а потом и с Пушкиным,



Н.В. Гоголь. *Гравюра Ф.А. Брокгауза* (1860-е) *по автолитографии А.Г. Венецианова* (1834)

в «Отечественных записках» появилась его первая малороссийская повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала». Он занимается живописью в Императорской академии художеств, начинает давать частные уроки и преподавать историю в Патриотическом институте, но ученый-историк и профессор из него не получились.

В 1831 году вышла первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а затем последовала и вторая. Книги имели огромный успех и были быстро распроданы. Пушкин откликнулся на это литературное событие в одном из своих писем: «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность».

В 1833 году Гоголем начаты повести, вошедшие в сборник «Миргород», и прежде всего «Тарас Бульба», принесший автору славу творца героического эпоса. В следующем году Гоголь приступает к работе над комедиями и статьями, а также завершает «петербургские» повести («Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего»). В начале 1835 года вышли в свет сборники «Арабески» и «Миргород», тогда же написаны повесть «Нос» и комедия «Же-



Разъезд из Александринского театра. *Литография М. Тюлева.* 1843 г.

нитьба», начаты «Мертвые души». В конце года была закончена комедия «Ревизор», а 19 апреля 1836 года состоялась ее премьера в Александринском театре, на которой присутствовал Николай I, воспринявший пьесу благосклонно. Царь смеялся от души и сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне — более всех!» И послал своих министров смотреть «крамольную» комедию.

Известность Гоголя растет: он начинает публиковаться в пушкинском «Современнике» (повесть «Коляска», сцена «Утро делового человека»). В июне 1836 года он отправляется за границу. «...Нынешнее мое удаление из отечества <...> послано свыше, тем же великим провидением... ниспославшим все на воспитание мое. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни», — писал Гоголь В.А. Жуковскому. В Швейцарии и Париже была продолжена работа над «Мертвыми душами», начавшаяся в 1835 году. Писатель по представлению Жуковского получил денежное пособие от императора, что позволило ему жить и заниматься литературным трудом в Европе до осени 1839 года. После трагической кончины Пушкина современники связывают свои надежды с именем Гоголя, видя в нем достойного преемника ушедшего гения. «Вы у нас теперь один, — писал В.Г. Белинский Гоголю, — и мое нравственное существование, моя любовь к отечеству тесно связаны с вашей судьбой; не будь вас, — и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни нашего отечества...»

Вернувшись в Россию, Гоголь познакомился с В.Г. Белинским, М.Ю. Лермонтовым, посещал П.Я. Чаадаева, читал публично свои новые произведения. Д.М. Погодин вспоминал: «Обаяние чтения было

настолько сильно, что когда, бывало, Гоголь, закрыв книгу, вскочит с места и начнет бегать из угла в угол, — очарованные слушатели его остаются все еще неподвижными, боясь перевести дух...» Весной 1840 года писатель едет в Италию; в Риме он завершает первый том «Мертвых душ». «Труд мой велик. Мой подвиг спасителен. Я умер теперь для всего мелочного...» — так сам автор определил значение своего труда в одном из писем. Осенью 1841 года Гоголь привез рукопись в Россию и пытался ее издать, но встретил серьезные цензурные затруднения. Посылая переделанную рукопись поэмы цензору А.В. Никитенко, критик П.А. Плетнев писал: «Он (Гоголь) теперь болен, и я уверен, что если не напечатает «Мертвых душ», то и сам умрет. Когда решите судьбу рукописи, то, не медля ни дня, препроводите ко мне...» Благодаря помощи влиятельных друзей, в 1842 году «Похождения Чичикова, или Мертвые души» вышли в свет, вызвали восторг Белинского и вскоре «потрясли всю Россию» (по словам А.И. Герцена). Но цензурных «потерь» избежать все же не удалось: из поэмы была изъята вставная «Повесть о капитане Копейкине». Добившись выхода книги, Гоголь вновь уехал за границу — в Германию, а затем в Италию. В этом же году в Александринском театре состоялась премьера его комедии «Женитьба», которая приумножила славу Гоголя-драматурга.

1843 год начался с выхода четырехтомных «Сочинений» Гоголя. В этот период писатель трудится над вторым томом «Мертвых душ», постоянно общается с живущим в Германии В.А. Жуковским. Работа над продолжением поэмы шла трудно. «Я умру с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творения», — писал Гоголь С.П. Шевыреву в феврале 1843 года из Рима. Ухудшающееся состояние здоровья и творческий кризис подтачивали силы художника. Во Франкфурте в 1845 году впавший в меланхолию писатель сжег первую редакцию второго тома «Мертвых душ» и написал завещание. «И душе, и телу моему следовало выстрадаться. Без этого не будут «Мертвые души» тем, чем им быть должно», — признается Гоголь год спустя в письме А.О. Смирновой. В Риме Гоголь возобновил работу над своей главной книгой.

В Италии он прочитал и высоко оценил «Бедных людей» молодого Ф.М. Достоевского, а в 1846 году написал публицистическую книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», где высказал созвучную Достоевскому идею усовершенствования общества на духовных началах. В следующем году она вышла, вызвав бурю полемики и знаменитое письмо Белинского, упрекнувшего Гоголя в отходе от прежнего, критического направления в творчестве.

Между тем Гоголь в «Выбранных местах...» задается важнейшим, «роковым» для многих художников вопросом: может ли литература





Отец Матфей Константиновский.
Дом графа А.П. Толстого на Никитском бульваре в Москве, где умер Н.В. Гоголь. *Современная фотография*

влиять на нравственное состояние общества? По мысли писателя, подлинным произведением писателя должно стать не обнажение социальных пороков, а утверждение идеи «самосозидания» личности в ее следовании нравственному долгу.

В 1848 году Гоголь совершает паломничество в Иерусалим и оттуда через Константинополь возвращается на родину. Пожив в Васильевке и Петербурге, писатель поселился в Москве в доме графа А.П. Толстого на Никитском бульваре, где вновь обдумывал и писал второй том «Мертвых душ». Духовным отцом его стал ржевский священник Матвей Константиновский, который советовал Гоголю «написать что-нибудь о людях добрых», т.е. отказаться от позиции обличителя людских пороков. В 1849 году Гоголь читал публично главы второго тома поэмы, слушал в авторском исполнении комедию молодого А.Н. Островского «Банкрот» (начинающий драматург получил его одобрительный отзыв).

В 1850 году Гоголь пытается завершить второй том «Мертвых душ», однако из-за нездоровья работа над книгой приостанавливается. Летом того же года писатель, ища духовной поддержки, совершает паломничество в знаменитый монастырь Оптина пустынь, а затем уезжает на Украину. В 1851 году через Оптину пустынь Гоголь вернулся в Москву, посетил монастыри, был на постановке «Ревизора» в Малом театре.

В 1852 году Гоголь известил друзей, что второй том поэмы закончен. Князь Д.А. Оболенский вспоминал: «Граф А.П. Толстой сказывал мне, что ему не раз приходилось слышать, как Гоголь писал

свои «Мертвые души»: проходя мимо дверей, ведущих в его комнату, он не раз слышал, как Гоголь один в запертой горнице будто б с кем-то разговаривал, иногда самым неестественным образом. В черновых рукописях видны следы этой работы. Каждый разговор переделывался Гоголем по нескольку раз».

Между тем душевный кризис возрастал, мрачное состояние души тяготило писателя, он слабел, все чаще думал о смерти, исповедался и причастился. После долгой молитвы Гоголь в ночь с 11 на 12 февраля сжег свои бумаги, включая беловую редакцию второго тома «Мертвых душ» (сохранились лишь неполные пять глав чернового варианта текста). В этом трагическом жесте художника выразились его сомнения в плодотворности и полезности своего труда. Он почти ничего не ел, отказывался от лечения; его пытались гипнотизировать, лечили насильно ваннами и обливаниями, но 21 февраля измученный, истощенный бесплодными заботами медиков Гоголь скончался (последние его слова: «Как сладко умирать!»). Писатель был похоронен на кладбище Данилова монастыря в Москве; в 1931 году его прах перенесен на Новодевичье кладбище. Полвека спустя писатель и философ В.В. Розанов заметит: «При бесспорной искренности его творений, к которым мы так мало имеем окончательного «ключа», остается думать, что Гоголь принадлежал к тем редким мятущимся и странным натурам, которые и сами от себя не имеют «ключа». «Посланец божий» — вот ему и всем таким имя».



Могила Н.В. Гоголя на Даниловском кладбище в Москве. *Фотография*. Начало XX века

«Талант необыкновенный, сильный и высокий»

Жизнь Гоголя полна загадок и «белых пятен», гениальность его творчества и скрытая жизнь духа не вмещаются в рамки одной «внешней» биографии. Всю жизнь свою он провел в дороге, не имея собственного дома и семьи, и лучшие свои книги написал за границей, глядя на родную Русь из «прекрасного далека». Но куда бы ни приводило писателя его духовное странничество, он всегда думал о России, желая «окунуться покрепче в коренной русский дух». В творчестве Гоголя нашли свое отражение различные грани русского национального характера, явленного и на фоне исторического прошлого, и в современной писателю действительности.

Ранние повести Гоголя, составившие цикл **«Вечера на хуторе близ Диканьки»** (1831—1832), созданы на основе украинских народных преданий, в которых соседствуют ужасное, фантастическое («Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» и «Страшная месть») и веселое, смешное («Сорочинская ярмарка», «Ночь перед Рождеством»). В рассказах пасечника Рудого Панька предстало «племя, поющее и пляшущее» (Пушкин), прозвучали народные легенды и анекдоты, нашли свое яркое отображение картины малороссийской природы. В сборнике повестей **«Миргород»** (1835) с мрачной, колоритной «диканьковской» фантастикой «Вия» соседствует грустно-идиллическая история жизни старосветских помещиков, передающая поэзию трогательной взаимопривязанности «простых сердец». За легендарно-эпическим «Тарасом Бульбой», поведавшим о далеком «бранном времени», следует повесть о двух Иванах и их нелепой, мелочной, недостойной наследников героического Бульбы ссоре и смешной вражде, которая венчается знаменитой финальной фразой: «Скучно на этом свете, господа!»

Комедия **«Ревизор»** (1836), ставшая важной вехой в творческой биографии Гоголя, вновь продемонстрировала способность художника прозревать истину сквозь рутину мелочной повседневности. Расхожий анекдот о том, как в уездном городе приняли «вертопраха» за важного человека, обращается в грустное раздумье о несовершенстве жизни, о подлинном призвании человека. Страх чиновников, обретающий свое «наполнение» в ничтожном Хлестакове, выявляет духовную ущербность героев, разворачивает драму неспокойной совести. «Не с Хлестаковым, но с настоящим ревизором оглянем себя!» — призывает автор комедии.

В «петербургских» повестях, написанных в середине 1830-х годов и частично вошедших в сборник «Арабески», Гоголь развивает тему «маленького человека», продолжая традиции прозы Пушкина и Карамзина. Герои гоголевских повестей — скромные представители «срединной» столичной массы. Это бедный художник Пискарев (**«Невский проспект»**), незаметный канцелярский труженик Башмачкин (**«Шинель»**), мелкий чиновник Поприщин (**«Записки сумасшедшего»**). Их судьбы складываются трагично, что является следствием бездушия и пошлости окружающего мира: в недрах большого города не слышен голос одинокого человека и его чаяниям и мечтам не суждено сбыться. Даже достигшим определенного положения и успеха в обществе не дано почувствовать себя счастливыми. Зыбким и призрачным оказывается внешнее благополучие самодовольного майора Ковалева из повести **«Нос»**: с потерей «фасадной» части лица исчезает привычная устойчивость мира и обнажается его бесчеловечная изнанка («Все переворотилось в его глазах»). Еще печальнее участь талантливого художника Чарткова (**«Портрет»**), утратившего свой дар в погоне за легким успехом и материальным благополучием. Сюжеты «петербургских» повестей явили собой типичный для Гоголя сплав реальности и фантастики, прозаического бытописания и романтической иронии.



Петербург. Невский проспект. *Художник В.С. Садовников.* 1830-е гг. Фрагмент

Изображая судьбы и характеры современных ему людей, Гоголь задумывается о необходимости создания крупного эпического произведения, которое вобрало бы в себя весь жизненный и творческий опыт писателя. Этим итоговым, вершинным произведением Гоголя стала поэма **«Мертвые души»**, работу над которой писатель начал еще до написания «Ревизора». В свое время Белинский, отмечая дебют начинающего писателя, выразил уверенность в его будущей славе: «Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким». Первый том «Мертвых душ» явился очевидным подтверждением мнения авторитетного критика: русская культура первой половины XIX века обогатилась эпосом, довершившим общую картину жизни дореформенной Руси и наметившим перспективы развития русской социально-философской прозы.

ПОЭМА «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

Рождение русского эпоса

«Осень в Веве, наконец, настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за «Мертвые души», которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись». Эти строки из письма Гоголя Жуковскому, передающие впечатления от «швейцарского» периода жизни писателя, одновременно являются свидетельством рождения великого замысла, воплощению которого Гоголь посвятил свои последние годы. «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет. Какая разнообразная куча. Вся Русь явится в нем», — писал Гоголь в том же письме от 12 ноября 1836 года. Пятью годами позже увидел свет первый том «Мертвых душ», до сего времени остающийся блестящим образцом «многоликого» эпоса.

По дошедшим до нас свидетельствам, идея главного гоголевского труда была подсказана автору Пушкиным (речь идет о сущности аферы с покупкой «мертвых душ» — умерших крестьян, числившихся в помещичьих бумагах живыми вплоть до очередной ревизии). Из этого авантюрного «сюжетного зерна» вырос грандиозный замысел сродни великой «Божественной комедии» Данте, повествующей о загробном царстве и трех вечных его пространствах — Аде, Чистилище и Рае. Подобный «трехмирный» принцип изображения Гоголь намеревался соблюсти в своей трехтомной поэме: ему хотелось показать «преисподнюю» российской жизни, провести героев через духовное очищение и, наконец, указать им путь к идеалу. Однако писателю удалось реализовать лишь первую часть замысла.

Что имел в виду Гоголь, отнеся свое прозаическое творение к жанру *поэмы*? Поначалу он называл эту книгу романом, но затем остановился на поэме — «меньшем роде эпопеи», в котором через малое, локальное, явлено большое, значительное. В итоге в оригинальном гоголевском произведении слились жанровые признаки *плутовского романа* (похождения авантюриста Чичикова), сатирической и лирико-исповедальной прозы («Все мои последние сочинения — история моей собственной души», — писал Гоголь). Определив жанр произведения, автор решил для себя важнейшие задачи изображения жизни в рамках «малого» эпоса. Прежде всего это выбор героя, «ведущего» читателя по дорогам Руси: Гоголь предпочитает «невидное» лицо — «частного» человека, чьи похождения позволяют заглянуть в укромные уголки русской жизни, познакомиться с представителями различных слоев общества («И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь...»). Столь масштабный замысел требовал от автора выбора определенной формы повествования, позволяющей развернуть движущиеся картины русской действительности. Такой формой является *путешествие*, дающее читателю возможность знакомства с длинной вереницей персонажей, населяющих «срединную» Русь: «В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело морщина и строгий сумрак лица! Разом и вдруг окунемся в жизнь со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками...»

Не менее важным является само соотношение автора и героя в общей канве повествования: автор заявляет о себе как о бесстрастном летописце предлагаемых событий и одновременно выступает как некое лирическое «я». Это очевидное противоречие делает гоголевскую поэму неповторимым образцом соединения эпоса и лирики, внешнего и внутреннего постижения великого пространства Руси: «Русь! чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..»

Русь «с одного боку»

«Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным...» Появление в губернском городе NN господина Чичикова дает скромную завязку «малому» эпосу, герой которого ничем не напоминает персонажей классических поэм, воспевающих «высокие» характеры.

Обратите внимание на первое описание внешности Чичикова. Почему автор обращает внимание читателя именно на усредненность, «стертость» облика главного героя?

Любопытно само стечение «случайных» персонажей в начальном эпизоде первого тома поэмы: перед нами предстают «два русские мужика», обсуждавшие достоинства рессорной брички незнакомца, и некий щеголь «с покушениями на моду», являющийся своеобразным отражением иного, «верхнего» слоя русской жизни. Все событие описано с характерной для Гоголя иронией, задающей общий тон повествованию.

Мир гоголевской поэмы — *художественный*, т. е. особенный, замкнутый, живущий по своим законам сатиры и гротеска, вызывающий веселый смех и обнажающий «невидимые миру слезы», т. е. отмеченную еще Пушкиным неизбывную грусть о несовершенном человеке, показывающий «хотя бы с одного боку», т. е. с определенной, неприглядной стороны, всю Русь.

В центре гоголевской книги — скованный деспотизмом, формализмом, взяточничеством и «неправдой черной» (А.С. Хомяков) Город, вокруг которого разбросаны помещичьи усадьбы и деревни с крепостными крестьянами. Ловкий мошенник Павел Иванович Чичиков своей «фантастической» идеей покупки мертвых душ соединяет этих разных людей и их маленькие обжитые миры в единый образ России в ее нынешнем, духовно «раздробленном» состоянии.

Город, в который наносит визит Чичиков, пестрит нелепыми вывесками, поражает «несовершенством» дорог и сомнительным комфортом гостиницы для проезжающих. («...Гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение...»). Но главная его «достопримечательность» — губернский высший свет, в который спешит попасть оборотистый Чичиков: «Черные фраки мелькали и носились



Провинциальный город. *Художник П.И. Челищев.* 1840-е гг.

врознь и кучами и там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета». Это суетное мельтешение завсегдатаев обедов и вечеринок лишено подлинных жизненных движений, уподоблено воздушному эскадрону назойливых насекомых. Пустота и пошлость городского бомонда представлены и на «портретном» уровне: губернатор, слывущий «добрым малым» и вышивающий по тюлю, полицеймейстер, опекающий мошенников, прокурор с постоянно подмигивающим глазом и почтмейстер — «остряк и философ». Город NN, как и многие российские города той эпохи, являет собой некое «царство» чиновников, исповедующих единую «религию» — не упустить того, что плывет в руки (вспомним уроки гоголевского «Ревизора»). В этом отношении особенно колоритны фигуры канцелярских служащих, таких, как Иван Антонович по прозвищу «кувшинное рыло», доведший до совершенства методику вымогательства «поощрений» за свои скромные услуги. Описание казенной палаты, в которую отправляются для оформления купчей Чичиков и Собакевич, по-гоголевски неожиданно соотнесено с «Божественной комедией» Данте: «...Один из священнодействующих <...> приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил

в свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Вергилий прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла и в них перед столом, за зерцалом и двумя толстыми книгами, сидел один, как солнце, председатель».

Вся эта «вертикаль» чиновничьего бытия живет однообразными, заведенными ритмами паразитического существования. И лишь ломающее эту привычную жизненную схему вторжение Чичикова с его необычной «негоцией» способно всколыхнуть этот призрачный мир «толстых и тонких» любителей обедов и развлечений.

Подумайте над вопросами: почему разоблаченная афера Чичикова так взволновала чиновников города? Какие ассоциации вызывают их нелепые предположения относительно личности «антихриста» Чичикова? Что означает изображенная в трагикомическом свете смерть прокурора (10 глава)?

Герои романтических поэм страдали от собственного несовершенства, от невозможности воплотить свои высокие идеалы в «низкой» реальности. Персонажи «Мертвых душ» далеки от какого-либо душевного страдания и мучительных сомнений, ничтожны и пошлы их «идеалы» — чины, деньги (и в том числе ловко выманиваемые взятки), удовлетворенное самолюбие, мелкие бытовые удовольствия, балы, карты, наряды, сплетни. Души городских обывателей омертвели, чужды живых интересов, порывов к высокому и прекрасному, любви и добру. И населенный ими гоголевский Город — отдельный живой сатирический образ (сравните его с образом Петербурга в «Невском проспекте» и уездным городом N в «Ревизоре»). Собранный из множества типичных черт русских губернских центров, этот Город самодоволен, суетен, ничтожен, т. е. обладает всеми признаками мертвенной «закатной» цивилизации.

Писатель не жалеет сатирических красок, рисуя портреты своих персонажей. Над ними много смеялись, считали масками, называли уродами и живыми карикатурами. Но ведь сам автор поэмы видел в своих несовершенных героях прежде всего живых людей и жалел их. «И в паденье своем гибнущий грязный человек требует любви к себе... Животный ли инстинкт это? Или слабый крик души, заглушенной тяжелым гневом подлых страстей, еще пробивающийся сквозь деревенеющую кору мерзости, еще вопиющий: "Брат, спаси"!» — писал Гоголь в черновиках второго тома «Мертвых душ». С особой силой этот авторский взгляд на человека выразился в образах помещиков, составивших портретную галерею «безответных, мертвых обитателей, страшных недвижимым холодом души своей и бесплодной пустыней сердца». Само расположение портретов в этой галерее отнюдь не является случайным. Иерархию следования образов можно рассматривать с разных точек зрения. Здесь заложен и хозяйственно-бытовой принцип чередования «расточителей» и «накопителей», и логика нарастающего «расчеловечивания» персонажей, и тенденция к возрастанию захватившей человека порочной страсти-«задора», которого нет у открывающего помещичий список Манилова. Вместе с тем каждый отдельно взятый портрет — это сатирический шедевр, свидетельствующий о необыкновенном мастерстве Гоголя-художника.

Первый помещик, к которому приезжает на своей тройке Чичиков, — это Манилов. Его отрицательные черты выявляются сразу, еще в городе, и всем известны. Но сам Гоголь видел в своем персонаже иное: «Манилов, по природе добрый, даже благородный, бесплодно прожил в деревне, ни на грош никому не доставил пользы, опошлел, сделался приторным своею добротою...» Манилов не только добр, но и по-своему благороден (не взял с Чичикова деньги за мертвых крестьян и оплатил совершение сделки), любит жену и детей. Но любовь



Манилов. *Художник П.М. Боклевский.* 1866–1874 гг.

и доброта эта в деревенской бездеятельности приобретают неискренность, слащавую приторность (этот помещик в речах и жизни пользуется худшими штампами ушедшей литературы сентиментализма). Бесхарактерно добродушного Манилова вечно обманывают и обворовывают — и хитрый приказчик, и ленивые крестьяне.

Уже при виде его помещичьего дома, выстроенного как замок на горе и открытого всем ветрам, хилого английского сада с беседкой и серых изб без следа зелени, неубранных комнат, кабинета, где на столе года два назад на четырнадцатой странице открыта книжка и сложен аккуратными горками выкуренный табак, становятся очевидны вопиющая непрактичность и бесплодная мечтательность хозяина. «Планы» Манилова по возведению каменного моста с лавками, как в далекой Флоренции, и прорытию подземного хода от дома неизвестно куда неисполнимы и нелепы (слово «маниловщина» стало в русском языке нарицательным, как и его витиеватое выражение «именины сердца»). В том же духе воспитываются и скудно образованные сыновья Манилова, а ведь старшего из них родители прочат в послы! Так бесцельно и нелепо протекает мечтательное деревенское «препровождение времени», в которое превратилась человеческая жизнь.

Подумайте над вопросами: как реагирует Манилов на просьбу Чичикова, касающуюся продажи мертвых душ? Какие «ключи» подобрал Чичиков к Манилову и его супруге, стремясь завоевать их симпатии?

Гоголь понимал, что жизнь и характер человеческий строятся на контрастах. Насколько непрактичен Манилов, настолько основательна, крепка бытовым умом и опытом поколений немолодая помещица Настасья Петровна Коробочка, к которой случайно попадает заблудившийся в ночную непогоду Чичиков. Этот образ бережливой «матушки-помещицы», хорошо знакомый автору-повествователю, охарактеризован метко и психологически убедительно: «...плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки...»

Коробочка оказывается гостеприимной и весьма заботливой: замечательна предложенная гостю кровать с пышными пуховыми перинами, куда усталый, намерзшийся в дороге Чичиков в блаженстве проваливается и мгновенно засыпает. Хозяйство Коробочки поражает невероятным числом домашней птицы, обработанными садами и огородами, ухоженными крестьянскими избами. Церковь местная хотя и небогата, но поддерживалась в порядке, службы в ней отправлялись исправно (об этом сказано в черновиках книги). Таково благоустроенное «царство» Коробочки. А вкуснейшие и свежайшие деревенские кушанья, выставленные ею на стол для гостя, составляют целую кулинарную поэму, возбуждающую аппетит героя и читателя.

С этой крепкой хозяйкой герой и начинает свой странный торг. Тут-то и выясняется, что практичная Коробочка непроходимо глупа, крайне ограниченна и недоверчива; ее мнительность и губит в конце концов аферу Чичикова. Взамен непонятного ей «товара» она предлагает мед, сало, пеньку и прочие полезные и качественные продукты своего хозяйства. Хозяйством и исчерпывается вся жизнь этой помещицы, одинокой, необразованной и фантастически упрямой («Эк ее, дубинноголовая какая!» — сказал про себя Чичиков...). Непонятно, для кого и для чего она все это делает, зачем так трудится и старается с утра до вечера в доме и на дворе. Здесь, как и в мечтательной бесхозяйственности Манилова, нет плодотворной жизненной цели.

Как характеризует Коробочку ее рассказ о «сгоревшем изнутри» кузнеце? В чем для нее заключается печальный смысл произошедшего?

Примечательно, что Гоголь считает сам тип и характер Коробочки весьма распространенным на Руси: «Иной и почтенный и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как



Коробочка. *Художник П.М. Боклевский.* 1866–1874 гг.

зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, всё отскакивает от него, как резинный мяч отскакивает от стены». Неудивительно, что после изнурительного разговора с упрямой и туповатой Коробочкой терпеливый и обходительный Чичиков впадает в ярость, («хватил в сердцах стулом об пол»), а автор сравнивает полуграмотную помещицу со светской женщиной, занятой лишь собой, балами и магазинами, салонной суетой и модными пустяками и забросившей семью и хозяйство. Получается, что провинциалка Коробочка не хуже этой легкомысленной столичной дамы и даже, может быть, лучше, ибо все содержит в порядке и даже приносит пользу, поставляя на рынок плоды своего хозяйства. Этот житейский парадокс удивляет Гоголя: «Веселое мигом обратится в печальное». Но самое печальное в его книге еще впереди.

Самый «заметный» персонаж в «Мертвых душах» — помещик Ноздрев, полный, «лет тридцати, разбитной малый», «черномазый», шумный, всегда веселый, свежий, с черными, как смоль, бакенбардами. Этот легкомысленный гуляка и хвастун пышет здоровьем, от него веет простодушной самовлюбленностью и бесшабашной удалью. Сама фамилия персонажа говорит о природном чутье к картежной игре, выпивке и скандалу, ярмаркам и балам. Ноздрев не просто заурядный враль, он вдохновенный «поэт» забавной и очевидной лжи, на ходу импровизирующий свои затейливые армейские выдумки и анекдоты. Он «исторический человек», так как все время попадает в истории, нередко заканчивающиеся потасовками («один бакенбард был... меньше и не так густ, как другой»). Автор называет его «человек-дрянь», и он подтверждает эту репутацию бесцеремонно хамским обращением с Чичиковым, ежеминутной ложью и готовностью к предательству.



Ноздрев. *Художник П.М. Боклевский.* 1866–1874 гг.

В отличие от «птичницы» Коробочки, Ноздрев держит в имении псарню, которая является главной его «достопримечательностью». Хвастливые рассказы о природном изобилии поместья и самодовольная демонстрация различных вещей подкрепляются плохим обедом с поддельными винами. Завершается встреча знаменитой сценой игры в шашки и лихим нападением подвыпившего разгневанного хозяина на перепуганного гостя. Потом, как мы помним, именно Ноздрев вместе с Коробочкой погубит «негоцию» Чичикова своей болтовней.

В чем смысл гоголевского развернутого сравнения, которое возникает в сцене ссоры «из-за шашек» и в котором Ноздрев уподоблен отчаянному поручику под неприступной крепостью?

От легковесного лжеца, ярмарочного кутилы и опасного безобразника Ноздрева Чичиков попадает в основательный мир «кулака» Собакевича. Характер человека, тип личности помещика характеризуется автором через его крепкую усадьбу, дом, мебель (бюро, похожее на медведя), картины и гравюры, изображающие могучих героев, и т.п. В мире Собакевича все неуклюже и тяжеловесно, но крепко сколочено и надежно — полная противоположность плюшкинской мрачной разрухе и ноздревскому зыбкому миру вранья и мелкого мошенничества. Дом и постройки сделаны из каких-то вековых бревен, даже колодец срублен из корабельного дуба. Все пребывает в тяжеловесном порядке, в том числе и крестьянские избы. Сам Собакевич — хитрый человек-кулак, «себе на уме», опытный хозяин, внешне похожий на медведя (даже зовут его Михаилом Семеновичем). «Казалось, в этом теле совсем не было души», — замечает автор, еще раз напоминая нам о значимости названия своей поэмы. Недоброжелательство подозрительного Собакевича по-своему «уравновешивает» в поэме слащавые расхваливания Манилова.

И вдруг, говоря Чичикову о своем «товаре», неуклюжий медведь и грубый ругатель преображается, начинает расхваливать силу, талант и прочие добродетели умерших крестьян. В его нескладной речи неожиданно проступает своеобразная поэзия, вырывается несвойственный ему пафос (с его уст слетает даже легкое и красивое слово «меч-

та»). Да, он по-своему хитрит, желая выгоднее продать запрашиваемые Чичиковым души, но, как крепкий хозяин, он знает и ценит достоинства своих крестьян-тружеников. В этом отношении и в Собакевиче проглядывает что-то человеческое, к сожалению лишь оттеняющее главную, «кулацкую» сущность натуры помещика.

Примечательно, что надежный Собакевич, в отличие от компанейского Ноздрева, не выдает Чичикова во время городского скандала и его публичного разоблачения, в нем нет «нежного расположения к подлости», которое замечено у жеманных городских дам-сплетниц. Он по-своему любит свою худощавую, непохожую на него самого Феодулию Ивановну, называя ее ласково «душенькой». Перед нами не карикатура, а реальный человеческий характер (именно эту особенность гоголевского комизма в свое время не поняли актеры — исполнители ролей в «Ревизоре»).

Во время беседы с Чичиковым Собакевич дает нелестные характеристики общим знакомым («Я их знаю всех: это все мошенники, весь город там такой...»). Есть ли в словах человеконенавистника Собакевича какая-то доля истины?



Собакевич. *Художник П.М. Боклевский.* 1866–1874 гг.

Самое печальное, мрачное место в круге скитаний мошенника Чичикова — некогда богатое имение помещика Плюшкина, разоренное патологической скупостью хозяина. Разруха и запустение, распад и гибель дворянской семьи, нищета и ненависть крестьян к помещику показывают, как глубоко пала и омертвела душа некогда бережливого и разумного семьянина, мудрого хозяина. «Еще не так страшно для молодого, ретивый пыл юности, гибкость не успевшей застыть и окрепнуть природы, бурлят и не дают мельчать чувствам, — как начинающему стареть, которого нечувствительно обхватывают совсем почти незаметно пошлые привычки света, условия, приличия без дела движущегося общества, которые до того, наконец, все опутают и облекут человека, что и не останется в нем его самого, а кучка только одних принадлежащих свету условий и привычек. А попробуешь добраться до души, ее уже и нет. Окременевший кусок и весь уже превратившийся человек в страшного Плюшкина, у которого если и выпорхнет иногда что похожее на чувство, то это похоже на последнее усилие утопающего человека», — писал Гоголь в черновиках поэмы.

В доме Плюшкина все указывает на «погребение» живущего в нем человека («С середины потолка висела люстра в холстинном мешке,



Плюшкин. *Художник П.М. Боклевский.* 1866–1874 гг.

от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на столах»). Особенно выразительна одна деталь – «часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину». Время остановилось для этого человека, потерявшего нормальный облик и превратившегося в «прореху на человечестве». Но в его разрушенном и обнищавшем имении вольно растет живописный старый сад, где всесильная природа мудро исправила все бездумные безобразия и недосмотры владельцев. Так тонко, поэтично высказана надежда Гоголя на возрождение падшей души. Да и на высохшем лице очерствевшего скупца вдруг является какой-то светлый отблеск воспоминания о былом, о дружбе и юности. Он даже по-своему соблюдает закон русского гостеприимства. Друг Гоголя критик С.П. Шевырев указал, что в человеческом характере доброе и злое всегда соединены: «В Плюшкине, особенно прежнем, раскрыта глубже и полнее эта общая человеческая сторона, потому что поэт взглянул на этот характер гораздо важнее и строже. Здесь на время как будто покинул его комический гений иронии, и фантазия получила более простора».

Обратите внимание на авторские лирические отступления в главе о Плюшкине. Что определяет их пафос и какова их роль в данной части повествования?

«Удивительная книга, горький упрек современной России, но не безнадежный... Есть слова примирения, есть предчувствия и надежды будущего полного и торжественного, но это не мешает настоящему отражаться во всей отвратительной действительности. Тут, переходя от Собакевичей к Плюшкиным, обдает ужас, с каждым шагом вязнете, тонете глубже. Лирическое место вдруг оживит, осветит и сейчас заменяется опять картиной, напоминающей еще яснее, в каком *рву* ада находимся... а слова *веселого* автора раздаются. «"Мертвые души" – поэма глубоко выстраданная. Это заглавие само носит в себе что-то наводящее ужас. И иначе он не мог назвать; не ревизские – мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы... – вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу», – писал А.И. Герцен, прочитав первый том поэмы.

Вместе с тем было бы ошибочным воспринимать гоголевскую поэму только как сатиру на поместное дворянство и городских чиновников. Не лучшим образом выглядит и крепостная деревня с ее традиционной нищетой, тяжелым пьянством, всеобщей ленью, дремучей

бестолковщиной, воплотившейся в старательных дяде Митяе и дяде Миняе, измучивших своей нелепой «помощью» и без того загнанных лошадей. Вспомним разговор двух «философов» из народа о колесе чичиковской брички, дворовую девчонку Пелагею, не знающую, где право и лево. Вспомним и косноязычного мужика, разъясняющего Чичикову, как проехать к Манилову, а также чичиковского слугу Петрушку, читающего книги ради самого процесса складывания слов... Все эти комические фигуры по-своему дополняют мир гоголевской Руси, указывают на явные следы разложения и омертвения в крестьянской среде. Но именно здесь, в толще народной жизни, особенно заметны сложные, неоднородные процессы, составляющие сущность исторического движения нации. Мужик задавлен, оглуплен косным бытом своих хозяев, но не утратил способности различать собственных праведников и «небокоптителей» и даже судить народным судом безнравственных «хозяев жизни»: «...Казенные крестьяне сельца Вшивая-спесь, соединившись с таковыми же крестьянами сельца Боровки, Задирайлово тож, снесли с лица земли будто бы земскую полицию в лице заседателя, какого-то Дробяжкина...» (вспомним сцену крестьянского самосуда в радищевском «Путешествии из Петербурга в Москву»).

В поэме есть и народный мститель, «русский Робин Гуд» капитан Копейкин, история которого вслед за пушкинской «Капитанской дочкой» поднимает проблему истоков и последствий «русского бунта». Народ не безответен и не бездуховен, в нем по-прежнему таится та великая сила, которая способна вырваться наружу независимо от социальных условий или воли власть имущих (вспомним чичиковского кучера Селифана, мысли которого недоступны и неподвластны барину). Своеобразным гимном жизнеспособности и глубины народного духа звучит авторское отступление в конце 5 главы: «...Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово».

Именно внутренний, духовный строй русской жизни является для автора поэмы главным объектом художественного изображения. Гоголь не противопоставляет дворянство и крестьянство, город и деревню, он создает емкий и многоликий образ единой России. Да, здесь ощущается гоголевская сатира во всей ее проникающей силе, но даже пылкий и увлекающийся критик В.Г. Белинский, пытавшийся (тщетно) сделать из истово религиозного автора книги революционного демократа, признал: «Нельзя ошибочнее смотреть на «Мертвые души» и грубее понимать их, как видя в них сатиру».



Н.В. Гоголь. *Литография В. Бахмана по рисунку Э.А. Дмитриева-Мамонова.* 1840 г.

Гоголь — не Салтыков-Щедрин, и книга его — не только бичующая жизнь, страну и людей социальная сатира. Сам автор писал: «Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ». Его темы и цели другие — человек, душа, нравственность, высокие идеалы, падение и возрождение личности, народа, страны. Но как же можно было назвать поэмой книгу, где герои — Плюшкин и Собакевич? Однако поэт Н.А. Некрасов с полным основанием говорил, что у Гоголя всюду, даже в мокрых галках на заборе, есть поэзия, лиризм: «Это-то и есть настоящая, великая сила Гоголя. Все неотразимое влияние его творений заключается в лиризме, имеющем такой простой, родственно слитый с самыми обыкновенными явлениями жизни — с прозой — характер, и притом такой русский характер!»

Как в гоголевской поэме взаимодействуют картины быта и лирические размышления о человеке, Руси, назначении писателя, поисках истины и т.д.? Какую роль при этом играют различные средства выразительности художественной речи, используемые автором?

Особенного внимания заслуживает личность приобретателя Чичикова, являющегося своеобразным «проводником» гоголевского сюжета. Его социальная принадлежность вызывает сомнения: бывший чиновник и «херсонский помещик», Чичиков одновременно нечто новое, до конца не познанное ни персонажами поэмы, ни читателями. Истоки его «приобретательского» дара раскрываются лишь в 11 главе, когда автор наконец решает подробнее представить прошлое своего героя и высказать до конца свое отношение к нему.

Подумайте над вопросами: почему предыстория Чичикова освещена автором в конце повествования? Случайно ли, что предысториями снабжены только два героя I тома поэмы — Плюшкин и Чичиков? Что сближает эти рассказы и в чем их существенное различие?

«...Пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово "добродетельный человек" <...> Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!» Этот авторский посыл ясно обозначает отношение повествователя к своему герою, ранее обрисованному с изрядной долей иронии (достаточно вспомнить его любование округлостью своего подбородка или вынужденное «купание» в грязи по дороге из Маниловки). С детства научившийся «копить копейку», Чичиков наделен всеми необходимыми качествами *антигероя*. К ним можно отнести внешнюю безликость, играющую на руку мошеннику, который стремится быть незапоминаемым и неприметным. К этому добавляется удивительное чичиковское хамелеонство, способность к перевоплощению в зависимости от обстоятельств (достаточно сравнить его поведение и манеры в диалогах с Маниловым и Коробочкой). Чичиков бездуховен, одержим лишь одной идеей — стать «миллионщиком», обрести покой и достаток. Это человек одной страсти, одного порыва, обращающего человека с сердцем и душой в «рыцаря копейки» (вспомним барона из пушкинского «Скупого рыцаря»). Этот «умный, любезный и дельный» человек (так его охарактеризовали чиновники города NN!) является ярким выразителем морали наступающего «железного века» — буржуазной эпохи. Скупая мертвые души как выгодный, дающий рост «товар», Чичиков вовсе не задумывается о моральной стороне своей «негоции»: ведь речь идет о циничном манипулировании понятиями мертвого и живого, вечного и сиюминутного:

— Но позвольте, — сказал наконец Чичиков <...> — зачем вы перечисляете все качества, ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это все народ мертвый <...>

— Да, конечно, мертвые, — сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые...

Души умерших Чичиков вновь превращает в крепостной товар, и в этом «предприятии» отчетливо сквозит кощунственное пренебрежение к тайне смерти. Вот почему перепуганные чиновники готовы видеть в Чичикове разбойника и даже антихриста. В контексте идеи I тома поэмы герой вполне вписывается в картину современного «ада».

Но так ли уж духовно безнадежен «миллионщик» Чичиков? Ведь автор намеревался «провести» его через «чистилище» II и III тома поэмы! Признаки живой души едва проглядывают в герое, но они все же есть. Это типично русская «охота к перемене мест», некоторая сентиментальность (внимание к хорошенькой дочке губернатора), чувство национальной общности (душевный «разговор» с мужичками из списка Собакевича) и даже любовь героя к быстрой езде («И какой же русский не любит быстрой езды?»), сближающая его с автором. В этих



Чичиков. *Художник П.М. Боклевский.* 1866–1874 гг.

ростках надежды на возможное возрождение заблудшей души заключен великий нравственный смысл гоголевской поэмы.

«Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна сокровенно над человеком, которые не доверял дотоле перу, чувствуя сам незрелость его, которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого в нашей жизни, словом — чтобы, по прочтеньи моего сочиненья, предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразьем богатств и даров, доставшихся на его долю, преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем, также преимущественно пред всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русской человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом», — писал Гоголь.

Подумайте над вопросами: как представлен в поэме образ автора-повествователя? В какие моменты повествования мы слышим авторский голос? Прокомментируйте авторские рассуждения о двух типах писателя в 7 главе поэмы, притчу о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче (11 глава). Что скрывается за таинственным образом птицы-тройки, явленным читателю в финале поэмы?

Финал первого тома является одновременно прелюдией ко второму тому поэмы, который должен был, по замыслу писателя, наметить путь восхождения к Храму, очищения личности от всего наносного, искажающего внутреннюю сущность человека. Гоголевские «Мертвые души» — не социальный роман «онегинского» типа, в книге Гоголя нет героя своего времени, нет Онегина и Печорина, типического характера эпохи, вообще нет центральной фигуры и первостепенно важной социальной проблемы, без которых классический русский роман невозможен. Это поэма, зовущая к нравственному возрождению, к положительному «идеальному человеку». Во втором, незавершенном томе «Мертвых душ» Гоголем сказаны великие, вещие слова: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: *вперед?* Кто, зная все силы и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский че-

ловек. Но веки проходят за веками; полмиллиона сидней, увальней и байбаков дремлют непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово».

Гоголь страстно желал, чтобы персонажи первого тома его поэмы духовно возродились в финале трехтомной эпопеи, верил в это как человек, христианин и художник. Но он знал Россию и русского человека, знал, какой неимоверный самоотверженный труд вседневной духовной работы всех и каждого над собой необходим для подлинного возрождения. И когда писателя спросили, воскреснут ли «мертвые души» Павла Ивановича Чичикова и других персонажей книги в финале II ее тома, Гоголь загадочно улыбнулся и ответил: «Если захотят».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ



1. Каковы основные этапы творческого пути Н.В. Гоголя? Как в произведениях писателя соединились черты реализма и романтизма?
2. Какова творческая история поэмы Гоголя «Мертвые души»? Почему автора не устроил цензурный вариант заглавия поэмы: «Похождения Чичикова, или Мертвые души»?
3*. В чем заключается жанровое своеобразие гоголевской поэмы в прозе? Как она соотносится с другими классическими жанрами русской и мировой прозы?
4. Каковы сюжетно-композиционные особенности «Мертвых душ»? В чем заключается композиционная «симметрия» частей I тома? Есть ли внутренняя логика в расположении «помещичьих» глав?
5. Охарактеризуйте образы помещиков, нарисованные Гоголем в поэме. Что объединяет их и в чем их главное отличие друг от друга? Каков смысл «говорящих» фамилий героев? Кто из них выделяется из общего ряда и по каким признакам?
6. Как представлена в поэме тема города? Сопоставьте быт и нравы обывателей губернского города NN с картинами «Ревизора», изображением городской жизни в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» и романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Каково звучание «петербургской» темы в «Повести о капитане Копейкине»?
7. Как изображена в поэме крестьянская Русь? Над чем смеется, по какому поводу негодует и чем восхищается автор, изображая народную жизнь?

8. В чем заключается неоднозначность, неодномерность образа Чичикова? Почему именно он стал «сквозным» героем гоголевского эпоса? Какой закон нарушает Чичиков, осуществляющий свои сделки в согласии с действующим в то время законодательством?
9. Охарактеризуйте роль лирического начала в поэме «Мертвые души». Каковы формы авторского присутствия в поэме? Как связаны между собой образ автора-повествователя и образ Руси?
10*. К каким известным вам приемам сатирического изображения прибегает Гоголь, рисуя картины жизни губернского города, образы помещиков и крестьян, «делового человека» Чичикова? Можно ли говорить о полном отсутствии в «Мертвых душах» элементов фантастики, характерных для гоголевской сатиры?
11. Как соотносятся в поэме Гоголя злободневное и вечное, история и современность? В чем видит автор главные недостатки своей эпохи и каковы его нравственные рецепты, обращенные в будущее?

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



Ирония.
Художественное бытописание.
Поэма в прозе.
Литература путешествий.
Сатирический гротеск.
Художественная деталь.
Лирические отступления.
Антигерой.
Фантастика.

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ



1. «Герои — один пошлее другого». (Образная система поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».)
2. Тема города в поэме «Мертвые души» и комедии «Ревизор».
3. «Здесь погребен человек...» (На примере одной из «помещичьих» глав поэмы «Мертвые души».)
4. Вписывается ли Чичиков в «ландшафт» русской жизни?
5. Крестьянская Русь в поэме «Мертвые души».
6. Роль лирических отступлений в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
7. Почему Гоголь назвал «Мертвые души» поэмой?

ДОКЛАДЫ И РЕФЕРАТЫ

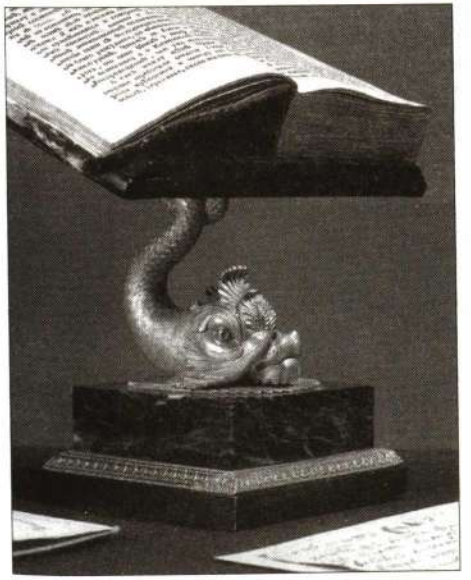
1. Традиции европейского романтизма в прозе Н.В. Гоголя.
2. Исторические мотивы и образы в поэме «Мертвые души».
3. Идейно-художественные особенности II тома поэмы «Мертвые души».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Виноградов И.А. Гоголь, художник и мыслитель. М., 2000.
Воропаев В.А. Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. М., 2002.
Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959.
Золотусский И.П. Гоголь. М., 1998.
Капитанова Л.А. Н.В. Гоголь в жизни и творчестве. М., 2006.
Макогоненко Г.П. Гоголь и Пушкин. М., 1985.
Манн Ю.В. В поисках живой души. «Мертвые души»: писатель — критика — читатель. М., 1987.
Машинский С.И. Художественный мир Гоголя. М., 1983.
Набоков В.В. Лекции по русской литературе. Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев. М., 2001.
Смирнова-Чикина Е.С. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: Комментарий. Л., 1974.
Соколов Б.В. Гоголь. Энциклопедия. М., 2003.
Трудный путь. Зарубежная Россия и Гоголь. М., 2002.
Турбин В.Н. Герои Гоголя. М., 1983.



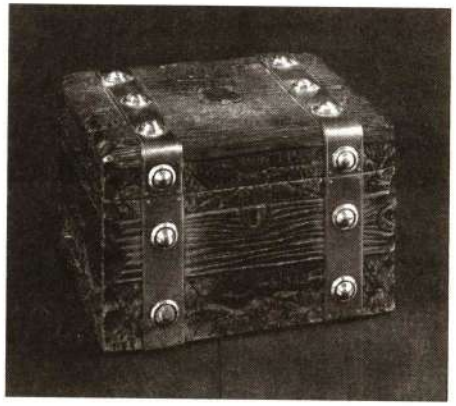
Настольная лампа А.С. Пушкина, при свете которой он, по словам Г.А. Пушкина, работал в Михайловском



Настольный пюпитр А.С. Пушкина. Первая треть XIX в.



Части чернильного прибора. 1790-е гг.



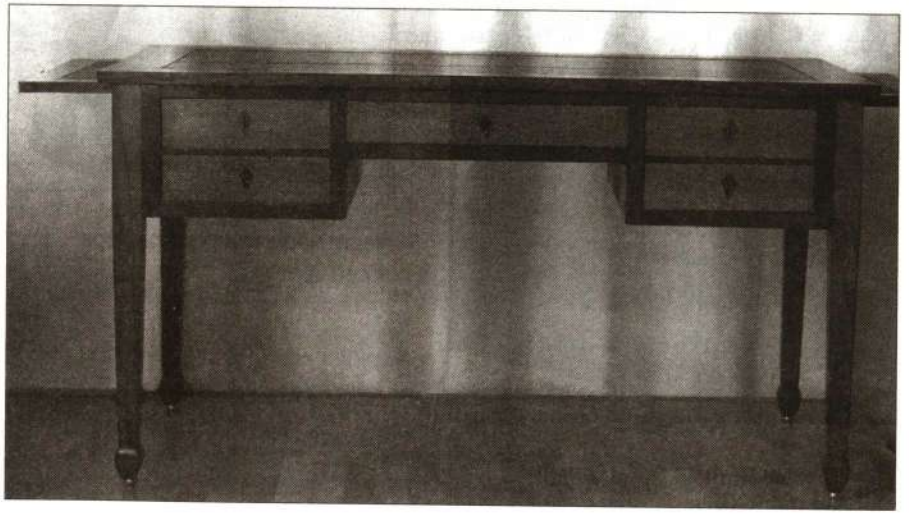
Шкатулка Ганнибалов. Конец XVIII в.



Чернильный прибор. Россия.
1820–1830-е гг.



Курительная трубка.
Первая четверть XIX в.



Письменный стол А.С. Пушкина из села Болдино.
Первая терть XIX в.



Цилиндр и футляр, подаренные
А.С. Пушкиным П.А. Вяземскому.
1830-е гг.



Визитная карточка
А.С. Пушкина



Трости А.С. Пушкина



Корзина с цветами. Вышивка. 1825 г.



Свадебные туфли Н.Н. Гончаровой.
Первая треть XIX в.



Крестильная рубашечка А.А. Пушкина.
Хранилась в семье П.В. Нащокина,
крестного отца старшего сына
А.С. Пушкина



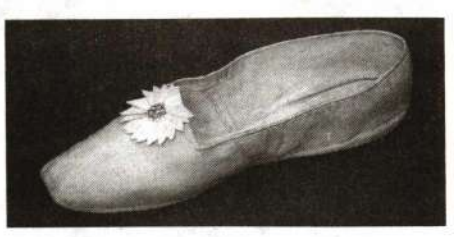
Бювар с вышивкой.
Е.П. Ганнибал. 1830 –
1840-е гг.

Туалетные флаконы. Богемия.
Первая треть XIX в.



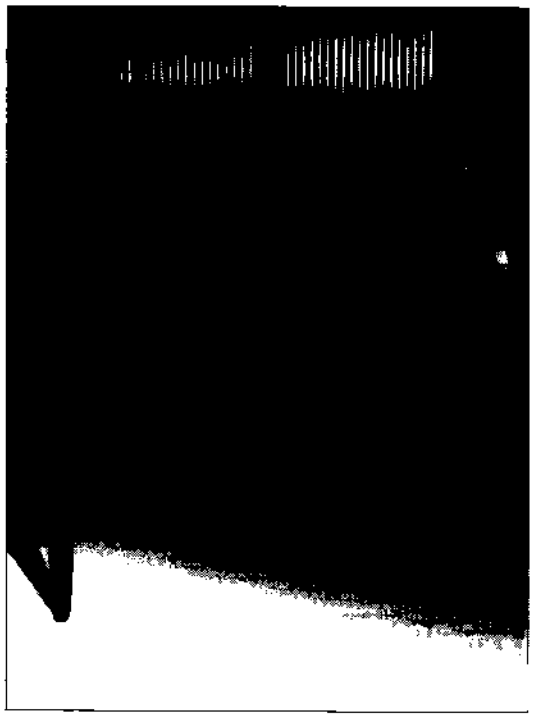


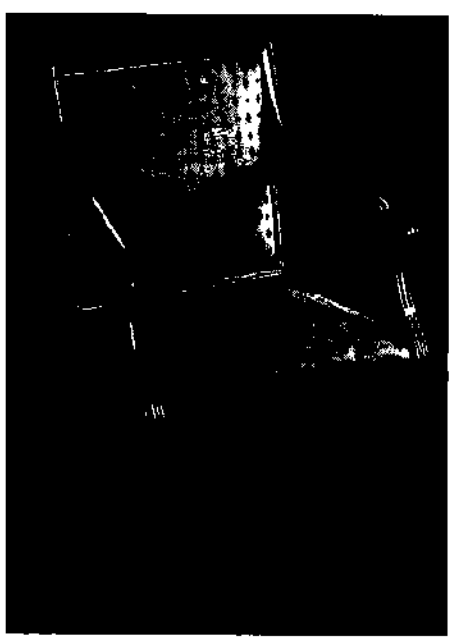
Ящик для почтовой бумаги
Н.Н. Пушкиной.
Вторая треть XIX в.



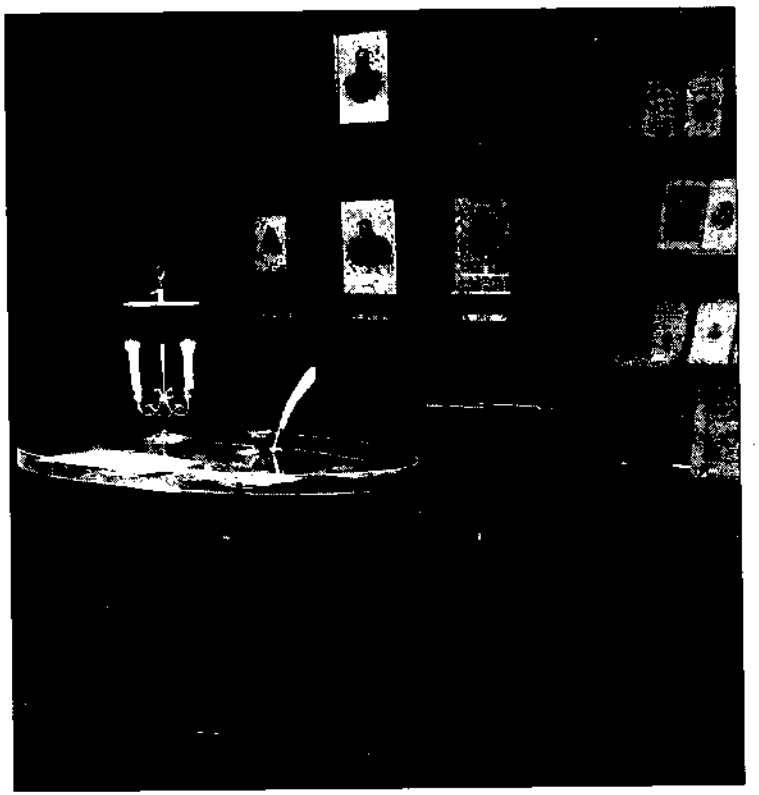
Визитная туфля Н.Н. Пушкиной.
1830-е гг.

Бюро цилиндрическое
с конторкой. 1780—1790-е гг.





Кресло Пушкиных из села
Михайловское. Конец XVIII в.



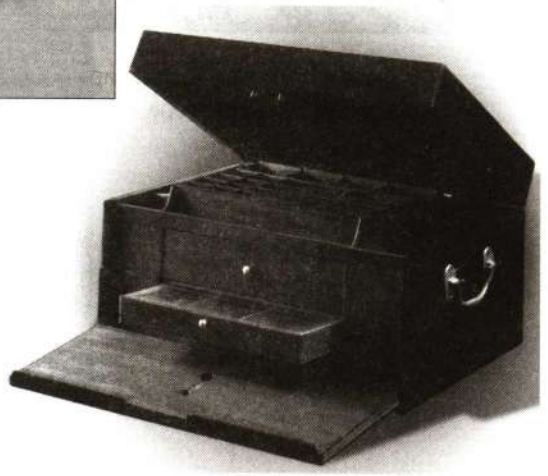
Москва. Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате.
Фрагмент экспозиции первого этажа



Икона «Богоматерь с младенцем» с надписью «Спаси от бетъ раба твоя...», принадлежавшая О.С. Павлищевой, сестре А.С. Пушкина



Дуэльные пистолеты. Первая половина XIX в.



Шкатулка для медикаментов и хирургических инструментов Н.Ф. Арендта, врача А.С. Пушкина. Первая треть XIX в.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX—XX ВЕКА

«Золотые» и «серебряные» нити русской литературы

Множество жизненных проблем русской истории с ее реформами, войнами и революциями во всей полноте отражаются в Золотом и Серебряном веках русской литературы. В ней задаются прямые вопросы к вечной Руси, закрытой туманами, скорбью очередного лихолетья, или вопросы к народу, богатырю, еще спящему («Ты проснешься ль, исполненный сил» (Н. Некрасов), «Иль у сокола крылья связаны,/ Иль пути ему все заказаны» (А. Кольцов)...

Магнетизм русской литературы в уникальных художественных мирах, в их своеобразном взаимодействии, в отражении национального самосознания народа, в утверждении высочайших духовных ценностей — самопожертвования, совести, доброты, человечности, справедливости... Все это определяет особую миссию писателя. Прекрасно сказала Марина Цветаева о том, что поэт в России — «эмигрант из Бессмертия во время».

В год столетия гибели А.С. Пушкина известный русский философ-эмигрант И.А. Ильин писал о великом даре поэта: «Он (Пушкин. — *В.Ч.*) дан был нам для того, чтобы создать *солнечный центр нашей истории*».

Золотой и Серебряный «лучи» русской литературы исходят из пушкинского солнечного центра. Эти две блистательные эпохи расцвета русской литературы в своей совокупности образуют на пушкинской основе как бы огромную арку, негасимую радугу, осеняющую всех нас. Именно от Пушкина начинаются миры великих русских писателей.

Разве не большими и малыми солнечными центрами были и гениальные, пророческие и исповедальные произведения М.Ю. Лермонто-

ва, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, весь эпический мир Льва Толстого, трагические герои «с признаками великого сердца», одержимые поисками красоты, спасающей жизнь, в романах Ф.М. Достоевского?

Разве не продолжает этот ряд А.А. Блок, «дитя добра и света», С.А. Есенин с его песенным лиризмом и М.А. Шолохов, создатель лучшего эпического романа XX века «Тихий Дон», драматичнейшие светлые дарования И.А. Бунина, И. Шмелева, М.А. Булгакова, А. Платонова? Ведь не случайно Максим Горький однажды признался, что «это, знаете ли, страшно хорошо — быть рожденным с солнцем в крови»?

Эпоха прозы, сформировавшая и захватившая читательское внимание в XIX веке пафосом борьбы с крепостничеством, с замедлением самого исторического процесса, поражением в Крымской войне 1853—1855 годов заставили многих талантливых мастеров русской прозы искать *свой* путь для России, извлекать из действительности глубинные конфликты, лепить свой образ народа. Обратите внимание на одно только название статьи Н.А. Добролюбова о романе И.С. Тургенева «Накануне» (1860) — «Когда же придет *настоящий* день?» Настоящий день, настоящий герой, «луч света»... Все общество к 1861 году, к моменту отмены крепостного права, жило в состоянии «накануне», задумывалось над вопросом «Что делать?». Добролюбовская статья была манифестом ожидания, тревожного беспокойства за судьбу России. Созвучны ей заглавия многих книг: «Обрыв» (1868) И.А. Гончарова, «Отцы и дети» (1862) И.С. Тургенева, «На ножах» (1871) Н.С. Лескова, наконец, «Что делать?» (1862—1863) и «Пролог» (1877) Н.Г. Чернышевского. «Накануне» чего, «пролог» к чему? Куда пролагала путь Россия, какие перевалы, обрывы, конфликты лежали на ее пути? В каких новых художественных формах, повествовательных структурах выразится кризисное время наследниками Пушкина и Гоголя?

Больше всего ожиданий и надежд, исполненных по-разному, было обращено в 1840—1860-е годы (и даже позднее — в 1870-е годы) к таким мастерам прозы, как **Иван Александрович Гончаров** (1812—1891), создатель трех монументальных романов.

Доныне, вероятно, актуально великое реалистическое (и монументально-символическое) обобщение Гончарова, заключенное в понятиях «Обломовка», «обломовщина»... Известный публицист и философ *В.В. Розанов* (1851—1919) даже свой очерк о безвольном, бесхребетном, без железа в характерах, Временном правительстве 1917 года назовет в духе Гончарова «Революционная Обломовка». Обломовщина — если судить только по эпической IX главе романа «Сон Обломова», опубликованной Гончаровым задолго до создания романа

в 1849 году, — это сумеречный портрет духовной пассивности, праздности, боязни деятельной истории, присущей и герою романа, и провинциальной среде, его воспитавшей. Такой стихии сна не знала русская проза!

Характер, имя Ильи Обломова говорят о сложной природе и этого «сна» (застоя) и всей праздности, лежебочества, охватывающего порой Русь: герой и в городе, и в столице, и в чиновничьей среде, внешне суетливой, одержимой автоматическими страстями карьеризма, испытывает сонное «угасанье». «...Начал гаснуть я над писаньем бумаг в канцелярии; гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни»... Обломовщина — это и общественное неустройство, застой, жизнь без вдохновляющих ум и чувство событий, скитания человека от одной Обломовки до другого тихого очага, где тоже гаснут порывы к деятельности. В сущности, и квартира Обломова в Петербурге, где он общается с внешним миром через слугу Захара, и мещанский дом на Выборгской стороне, куда герой переезжает после женитьбы на вдове Пшеницыной, — это очередные, роковые возвращения к укладу Обломовки. Какое изумительное — кошмарное! — постоянство.

Но кто противостоит обломовщине? Только ли «отрицателен» Илья Ильич Обломов?

Западник Штольц не знает ни высоты, ни глубин России, хотя в его практической работе по обустройству страны, подъему ее промышленности, созданию дорог, есть еще отголосок реформ Петра. Он тоже хотел бы — «на высоту уздой железной» Россию поднять на дыбы, изжить Обломовку, а вместе с ней, наверное, и множество прекрасных качеств народного характера.

Обломов же — вовсе не заурядный ленивый простак, не воплощение бездельника-мудреца, зарывшего свой талант, не изваяние созерцателя-философа в домашних тапочках, неотделимого от дивана и слуги Захара. Он, видимо, без особого расчета автора, стихийно отобразил какое-то сложное перепутье страны, выразил нежелание России идти целиком путем прагматичного Штольца, строить свою судьбу, растворяясь в чужой мере счастья, успеха, величия. Прежде всего в идеалах стяжания, «деланья денег». Но это решение героя, как и оценка в романе «сна Обломова», когда мерцает отчасти ожидание «райского желанного житья», сложное, во всем этом много нерешительности, зыбкого мечтательства. Автор оставляет Обломова во власти мифов и смутных надежд, вечного расчета «на авось». Силу Штольца, заключенную в его узости, односторонности, Обломов никогда принять не может. Но как все объять, все вместить, ничего прекрасного не откинуть?

Одинок ли был Гончаров на этом перепутье?

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) — «гений меры», продолживший пушкинские традиции лаконичной прозы, мастер не расползающегося, а «сжимающегося» выражения социальной и лирической темы, убравший в известном смысле границы между романом и повестью, стихотворением и новеллой.

Сам писатель достаточно скромно оценивал свое место в русской литературе после Пушкина, Лермонтова и Гоголя: «Я один из писателей *междуцарствия* — эпохи между Гоголем и будущим главою» (из письма С.Т. Аксакову 1856 г.).

В великую летопись русской литературы Тургенев вошел, конечно, чудесной поэмой о России — сборником новелл (еще почти полуочерков в духе тогдашней «натуральной школы») **«Записки охотника»** (1852) и романом **«Отцы и дети»** (1862).

Для глубокого понимания и ныне интересного конфликта романа «Отцы и дети», и в особенности для понимания главного героя — «нигилиста» (отрицателя всего консервативного, «бунтаря без знамени», «революционера без революции») Евгения Базарова, следует помнить отзыв Ф.М. Достоевского: «Ну и досталось же ему за Базарова, беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм» («Зимние заметки о летних впечатлениях», 1863).

Под какие бы своды ни вошел медик Евгений Базаров, они почему-то всякий раз оказываются для него давяще-низкими, стесняющими. Базарову тесно в крохотных комнатках отцовского домика, где пуховые постели, громоздкие диваны «съедают» все пространство, он почти как орел в темнице. Жить можно, лететь некуда. «Он *злобно глядел* в темноту: воспоминания детства не имели власти над ним...» В небольшом домике болтливой статистки от нигилизма, «человеке свиты» Авдотьи Кукшиной, где кипят развязные пошлые речи о браке — «преступление это или предрассудок?» — Базаров тоже сжимается, чтобы не развалить дерзким жестом и этот кукольный дом, и всю игрушечную беседу: *«...громко зевнул*, встал и, не прощаясь с хозяйкой, *вышел вон»* (выделено мной. — *В.Ч.*).

В Базарове ожило, заговорило и вольномыслие естествоиспытателей, спорящих в своих холодных курилках возле лабораторий, и пафос мальчиков-идеалистов, недоучившихся, но искренне желающих свергнуть дутые авторитеты. Все вошло, как часть, в круг чувствований Базарова. Но почему Базаров так боится стихии красоты, поэзии, Рафаэля и Моцарта?

Вся история недолгого поклонения Базарова Одинцовой, вернее, красоте, которая неподвластна гонителям, которая несет в себе самой

великий смысл своего существования, не нуждаясь в логическом оправдании, даже воспевании, поскольку

Только песням нужна красота,
Красоте даже песен не нужно...
(А.А. Фет)

Удивительно ли, что именно после этого открытия ожило в Базарове гамлетовское сомнение во всем: в силах человека, в смысле своего отрицательства, нигилистического вызова. Базаров внезапно становится печальным, видит себя такой же, как и все, крошечной песчинкой праха, он вспоминает — не без подсказки автора — печаль великих французских философов Паскаля и Монтеня:

«А я думаю: я вот лежу здесь под стогом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удается прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие! Что за пустяки!»

Это, пожалуй, самый глубокий и интимный «слой» в многосоставном духовном мире Базарова. Снова бунт, правда, такой печальный, чуждый всякого позерства. Неизбежность конца, краткость дерзаний и радости, непрочность и хрупкость человеческого «я» в океане космоса. Как и кем допущено в мире это «безобразие»?

Самое же удивительное, что резко отделило Базарова от нигилистов, его окружавших и грядущих, — это предсмертное бормотание, вырвавшееся из клетки догмы, присяги, из-под формул нигилизма: «Я нужен России... Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник... мясо продает... мясник... постойте, я путаюсь... Тут есть лес...»

Это трагедия поверженного титана, одинокого везде, на всем пути, — она гораздо серьезнее и глубже гибели традиционных романтических героев.

Мотив роковой двойственности русского народного характера, самой России — «ты и могучая, ты и бессильная» (Н.А. Некрасов), «Святая Русь покрыта Русью грешной» (скажет в XX веке М. Волошин) — будет на многие десятилетия направлением и сферой споров, страстных признаний, диалогов с Русью в творчестве, публицистике русских писателей.

Для **Николая Семеновича Лескова** (1831—1895) Россия — это земля праведников и подвижников, «очарованных странников», вои-

тельниц, людей неистовой страсти. И невозможно вписать лесковского богатыря Ивана Флягина (**«Очарованный странник»**, 1873) ни в какую рационально мыслящую партию, группу, «ячейку»: для него жизнь талантливее, ярче, изначальнее любых доктрин и программ. Многое переживший: и ратные подвиги, и очарование красотой цыганки Грушеньки, и страшную экзекуцию, которой его подвергли в плену, герой ищет в итоге способа «пострадать за народ». Не за ту или иную группу, «платформу», доктрину, а за народ. «Мне за народ очень помереть хочется», — признается Флягин, полагая, что в этой смерти он победит свое несовершенство, вечную неправедность, исполнит «наитие вещательного духа».

Возвращаясь к осмотрительной мысли Тургенева о литературном междуцарствии — после загадочной смерти Гоголя (1852) и до появления Льва Толстого с его «Севастопольскими рассказами» (1855) и «Войной и миром», — следует, конечно, помнить: ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Гоголь, ни Грибоедов вовсе не исчезли из литературного процесса. Да и как забыть, к примеру, «Горе от ума» с его афоризмами, картиной нравов, если автор словно развернул, как на полотне, то, что мудрец Иван Андреевич Крылов еще прятал в ларчиках, шкатулках своих весьма сценических басен. Не только поэты «пушкинской плеяды», но и прозаики, драматурги второй половины XIX века искали, опираясь на достигнутое, новые пути обогащения звучности, певучести, предельной гибкости русского литературного языка, способного «и шептать, и греметь, и скрипеть, петь с птицами и шуметь с водопадами, пылать огнем и течь водою» (И.А. Ильин).

Язык каждого народа — созидательная сила, внутренний стержень его души, огонь неугасимый — точнейшее доказательство его вечности, реальное опровержение идей «конца истории», наступления унылой «эпохи скуки», однообразия потребительских обществ.

Русский язык поистине был выстрадан народом в течение веков, он стал «художественной ризой его души и его духа» (И.А. Ильин), самой России в ее звуковом, образном обличии. И не случайно именно с русским языком, с «глаголом вечной жизни», неотделимым от чувства совести и сострадания, связано было как бы осеняющее весь «золотой век», его послепушкинскую половину, признание И.С. Тургенева: «Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — *как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома* (выделено мной. — *В.Ч.*)! Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Тургенев словно предвидел наши нынешние боли и тревоги, новые дни сомнений и тягостных раздумий.

Писатель XX века Леонид Леонов говорил о народе как о могучем шествии в будущее всех поколений: «Когда народ движется к своим историческим целям, его всегда больше, чем можно сосчитать глазом. Вместе с ним идут духовные предшественники его героев и гениев, создатели его славы... Незримо, нога в ногу, они шагают с нами, и... мы слышим их дыханье».

Когда появились первые повести **Льва Николаевича Толстого** (1828—1910) **«Детство»** (1852) и **«Отрочество»** (1854), то именно Тургенев сказал: «Вот, наконец, *преемник Гоголя* — нисколько на него не похожий, как оно и следовало ожидать» (выделено мной. — *В.Ч.*).

«Война и мир» (1863—1869) — это синтез грандиозной эпопеи и семейного романа, далеко ушедшие от первоначального замысла романа с глубоко обоснованной стройной концепцией истории как реализации стихийной («роевой») жизни человечества. Толстой сравнивает великосветскую толпу, чествующую в Москве Багратиона, с природой, с пчелиным ульем, где ничто не выделяется: «...как пчелы на весеннем пролете, сновали взад и вперед».

История — итог взаимодействий множества частных и всеобщих, часто неосознанных интересов.

В сущности, все победы русской армии, народа в войне 1812 года, освещение Толстым Бородинской битвы — это гениальное исследование писателем именно игры, взаимодействия великих сил и сложных причин.

Человеческие судьбы для Толстого — это нити, которые помимо воли и даже свободных решений людей сплетаются, превращаясь в картину прошлого, в которой уже ничего не изменить.

В «Войне и мире» неуловимо прочно соединились события и судьбы родовитых дворянских семей, прежде всего родичей Толстого (особенно рода Волконских), слилась его родословная и летопись страны, что только усилило эпичность великого романа.

В доме Ростовых, где выросла главная героиня Наташа, завелась, вопреки войнам, походам, «наполеонизму», царящим в мире, «какая-то особенная атмосфера любовности, как это бывает в доме, где есть милые, очень молодые девушки». В это же время в усадьбе Болконских совсем другие печали и радости: трудные роды у жены князя Андрея, «одна какая-то общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту». И вслед за этим — смерть матери младенца, маленькой княгини: «...вдруг ветер, пахнув холодом, снегом, *задул свечу»* (выделено мной. — *В.Ч.*)... Князь Андрей в эпизоде крещения, когда он «сидел... замирая от страха, чтоб не утопили ребенка» в купели, забыл о своих «наполе-

оновских» порывах: он одобрительно кивнул няне, сообщившей ему, что «брошенный в купель вощечок с волосками не потонул, а поплыл по купели».

Это самый подлинный Толстой, великий тайновидец жизни души, эпический летописец богатства и сложности жизни.

Русская литература уже нуждалась в таком свободном, ничем не стесненном, чуждом узкой тенденциозности, «славянофильской» или «западнической», эпическом повествовании.

Толстой как бы сказал — характерами Наташи Ростовой, скромного Тушина, атмосферой жизни семьи Болконских, картиной народной войны в 1812 году, даже эпизодами охоты, историей любви князя Андрея и Наташи, — что есть идеальные характеры, образцы благороднейшего поведения.

И даже то, что «философ и шалун» Пьер Безухов с его сложными духовными скитаниями, с его открытием идеального мужика Каратаева стал вдруг в романе одним из доверенных лиц истории, не уменьшило историзма произведения.

Современники, и прежде всего И.С. Тургенев, А.А. Фет, обратили внимание на известный переизбыток в романе философско-исторических рассуждений. В особенности на толстовские тезисы о стихийности, «внеразумности» истории. И на чрезмерную идеализацию, превращение в знаковую «философскую фигуру», воплощающую русский народ, Платона Каратаева. Он, данный только через восприятие Пьера Безухова, в обстоятельствах плена, был — и для Тургенева — в избытке «округлен», сделан самодостаточным, самоуспокоенным.

Тургенев читал роман Толстого с двойственным чувством: вызывало неприятие все «рассужденчество» в романе, поклонение бессознательному невежеству, вся связанность какой-то догмой, и почти гениально все, созданное художником, человеком «свободного воззрения».

«Не хитри только этот человек, отдайся своему таланту — Господи Боже, куда он уйдет!» — писал Тургенев И.П. Борисову (28 янв. 1865 г.). А в письме к Я.П. Полонскому (2 апр. 1868 г.) замечал: «Все бытовое, описательное, военное — первый сорт». В итоге — «то сержусь, то восхищаюсь» или «и бесит и тешит»...

Но в 1870-е годы он уже не говорит о двух Толстых — великом художнике и слабом философе. На первый план — и уже навсегда — выдвинулось главное: даже эти философские рассуждения, порой претенциозные, о возвышающей силе войны, о выгодах партизанской войны («разрозненных людей против людей, жмущихся в кучу») и т.п. — вовсе не некие декоративные инородные колонны, ничего

в громаде здания не несущие. Толстой для него «единственная надежда нашей осиротевшей литературы», он (Толстой) явно превосходит уже и исчерпанный романтизм В. Гюго, и новейший метод натуралиста Э. Золя.

Многократное повторение смыслонесущего слова, уточнение величайшей гуманистической мысли — не соединять в безликое упрощенное целое мир народной простоты, обычаи народной жизни и *личностные* высокодуховные ценности, не создавать нечто среднеарифметическое, однообразное, а воспроизводить сложное единство, «изначальную приобщенность к народу, к целому», — свидетельство явного обращения Толстого к пушкинской русской картине мира. Толстой не подавляет одних характеров другими, не заслоняет Наташей Ростовой Элен Безухову, а Андреем Болконским капитана Тушина, чудесным Петей Ростовым вечно самонаблюдающего (и устраивающего себе самоиспытания) Пьера Безухова. Они именно сопряжены в некое народное целое. Ничто не подавлено доктриной, программой, не самообеднена игра сил. И возникает эпопея — «дом из слов, в котором можно жить всем» — вечная, как сама Россия, не выживающая на грани небытия, а вечная.

Создатель «Войны и мира» буквально предсказал те слова, которые в 1941 году, в час фашистского нашествия, когда возникла угроза Москве, самому бытию русского (и других народов России) народа, сказал его однофамилец, тоже эпический художник **Алексей Николаевич Толстой** (1882–1945), автор романов «Петр Первый» (1929—1945), «Хождение по мукам» (1919–1941): «Родина — это движение народа по своей земле из глубины веков к *желанному будущему, в которое он верит*... Это — вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, *несущих свой язык, свою духовную и материальную культуру и непоколебимую веру в законность и неотменимость своего места на земле*» (выделено мной. — *В.Ч.*).

На всех этапах, когда эта вера в вечность России, в законность ее высокого места в мире колеблется, нужен Толстой.

Все лучшие произведения русской прозы с началами эпической прочности, с биениями жизни, с «сопряжением» различных сознаний без их уравнивания, упрощения будут созданы в XX веке в русле Толстого: среди них и «Разгром» (1927) А.А. Фадеева, и «Белая гвардия» (1925) М.А. Булгакова, и, конечно, эпопея «Тихий Дон» (1927—1940) М.А. Шолохова.

Через все творчество Толстого проходит тема естественного сопротивления человека любой несвободе, узаконенному подавлению, духу неравенства и разобщения людей, стандартизации личности.

Толстой страшился очерствения живой души, боялся за человека, отрываемого от природы — естественной основы, от чистоты детства! Его лучшие, наиболее свободные герои — а среди них и охотник Ерошка из «Казаков», и Федя Протасов из поздней пьесы «Живой труп», и, конечно, герои «Войны и мира» — ведут духовные сражения за новый тип поведения и мышления, за обновление мира, за «воскрешение» человеческого в человеке (тема последнего романа «Воскресение», 1899). Он учил тому, что знание сердечное — высокое нравственное чувство, вложенное в человека природой, детством, знание, несущее в себе энергию жизни, выше любой книжности, рационального расчета. И потому считал возможным... учиться у крестьянских детей! Эта «учеба» приближает человека к мысли: надо жить не для «нужды» (т.е. ради потребительства), а для «души», снимая, удаляя противоречия между досадной краткостью, конечностью человеческой жизни и бесконечностью великого процесса всеобщей жизни.

Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) ставит своих героев в самые тяжелые, неимоверно трудные положения, и тогда выявляются такие стороны мысли и характера, которые в обычных условиях нельзя обнаружить. В его романах навсегда увлекает захваченность того или иного персонажа идеей, замыслом, даже безумием принятого, правда не без сомнений, решения. Сами голоса героев писателя — это «идеологические голоса» (М.М. Бахтин), голоса спорщиков, оппонентов, чувствующих чужое слово, свою же неправоту, зыбкость своей воли. «Не вы съели идею, а она вас съела», — говорит один из персонажей романа «Бесы». Отсюда, вероятно, такая высокая «температура» слова – в спорах, в монологах, в сновидениях, в состояниях его героев. «Лицо его было *мокро от слез*», «взор и мысль *просили* простору», «не веселья жажду, а *скорби* и слез»; «она была в *каком-то забытьи*»; «он шел, смотря кругом *рассеянно и злобно*»; «выпил залпом, как будто *потушил огонь* в груди»; «да, замочился... я *весь в крови*!» — это все состояния и их воплощение в слове в одном только «Преступлении и наказании». Продолжить этот ряд «чрезмерных», порой на грани отчаяния и смерти состояний можно при чтении и других произведений писателя.

В романе **«Преступление и наказание»** (1866) идея преступления во имя какого-то умозрительного блага человечества, во имя «проклятой мечты», которую и исполнить страшно, и отречься от которой для героя невозможно, — это идея предстала как страшная крестная ноша для нищего студента Родиона Раскольникова. Ему отвратительно представить, что он вообще возьмет топор, станет бить по голове старуху-процентщицу, но он чувствует, что «нет у него более свободы

рассудка». «Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в него втягивать».

Своеобразный прием «идеологического преступления», обостренное восприятие и познание мира героем в свете добровольно свершенного или задуманного преступления на идейной, так сказать, почве и составляет душу «жестокого экспериментирования». «Цвет преступления» имел у Достоевского множество оттенков, которые тесно связаны с мировоззренческой эволюцией писателя. Но чаще всего герои связаны, как Раскольников и Ставрогин, прямо или, как Иван Карамазов, косвенно провокационной позицией любопытствующего наблюдателя.

Этот ужас одиночества Родиона Раскольникова, разобщенности людей Достоевский раскрывает особенно последовательно.

И как психологически глубоко, тонко проанализированы все оттенки чувств Раскольникова! Пока преступление впереди, оно и мучает, и манит, даже завораживает героя, сулит призрачное величие, взлет над обычными людьми, демонстрацию смелости, необычности. Но преступление оборачивается натуралистической тошнотворной изнанкой. Он даже не берет тех денег, ради которых все случилось, ощущает весь ужас содеянного, отрезвление, похмелье, бегство в пустоту...

Достоевский, заглядывая в человеческую душу, необычайно продлил, удлинил психологические «тени» страдания, мук, — человечество впервые увидело благодаря ему, как глубоко, многообразно, «изобретательно» может быть унижен и оскорблен человек. Страдающий герой позволил ему заглянуть в сущий ад души, ад ума, ад голода нравственного, в который не заглядывал до него никто. Все виды этого ада — от безверия и одиночества, от демонизации Свидригайлова, Ставрогина до мук духовного самоистязания Ивана Карамазова и тайн израненной совести Раскольникова — познал писатель. И в эти бездны страдания он заглядывал с одинаково напряженным интересом.

Одним из главнейших моментов общего движения русской художественной мысли (вовсе не одной социально-политической публицистики!) стала в пореформенной России сатира **Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина** (1826–1887). Начавший свой творческий путь в 1856 году книгой **«Губернские очерки»** (подписанной псевдонимом Н. Щедрин), великий сатирик, многие годы занимавший высокие административные посты в русской глубинке, создал уникальнейшие, чисто русские образцы сатирического творчества с элементами гоголевского «смеха сквозь слезы» и совершенно особой

верой в миссию русской интеллигенции. «Интеллигенция наша... ниоткуда не защищена; не будь интеллигенции, мы не имели бы понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе», — признавался автор таких сатирических шедевров, как **«История одного города»** (1869—1870), **«Помпадуры и помпадурши»** (1864—1874), романа **«Господа Головлевы»** (1875—1880) и знаменитых **«Сказок»** (1883—1886).

Боль, тревога за Россию, сострадание к обитателям символического города Глупова («История одного города»), к столь же символическому «Коняге» (народу с его непробужденными талантами и достоинством) проявляется на фоне сатирического, гротескного исследования действительности.

Сатира в чистом виде — это, как известно, мир негативного, мир *антиценностей*, достойных только обличения, гротеска, горького и горестного смеха. Это экспозиция уродств, зла, нелепостей и пороков, «вывихов» и курьезов времени и истории в ироническом освещении и карикатурно-аллегорическом преломлении ситуаций и характеров. «История одного города» — это горький сатирический смех над безголовыми временщиками-властителями условного города Глупова со всем убожеством управления, волюнтаристского жизнестроительства. «Формулы власти» и «тексты власти» сузились в одном из самых пустоголовых из них — градоначальнике Брудастом («Органчике») — до двух «музыкальных пьес»: «Разорю!» и «Не потерплю!». Идеалом человеческого общежития для другого — Угрюм-Бурчеева (прямой намек на временщика Аракчеева. — *В.Ч.*) — стали пустыня и... казарма с ее духом прямолинейности (улицы — это роты!), одинаковым цветом домов, боем барабана.

Даже названия последующих сатирических книг Салтыкова-Щедрина — «Помпадуры и помпадурши», **«В среде умеренности и аккуратности»** (1874—1877), неожиданное резко сатирическое переосмысление имени библейского образа Иуды в лицемере, болтуне, опустошителе жизни Иудушке Головлеве («Господа Головлевы») — придавали особые краски образам и глубину сатирической мысли (и языка) писателя. Его пескарь — дрожащий дремлющий обыватель, соткавший свой образ «спасительного» поведения, — не случайно назван в сказке «премудрым пискарем»: он явно *перемудрил* со своими страхами перед жизнью, со своей норой, где удобно дрожать, «созидать» слабость и страх.

Однако при всей ненависти к органчикам, к «помпадурам» у власти (как слитно звучат в «помпадурах» корни слов **«помпезный»** и **«дурной»**! — *В.Ч.*) великий сатирик, создавший на склоне лет «Сказки», не скрывал и других чувств, он говорил о себе: «Люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России». Благодаря этой ноте — горечи, боли, сострадания, любви к России — и в «Истории одного города» возникает образ народа («громадины»), ошеломленного, обманутого, образ, который гораздо крупнее и выше всех горделивых ничтожеств, «счастливчиков» у власти. Какой-то мистический вихрь, когда «север потемнел и покрылся тучами», а из этих туч «неслось на город: не то ливень, не то смерч», остановил бег глуповского (и глупого!) времени.

А в сказке-аллегории **«Коняга»** рядом с символическим Конягой, изработавшимся на пашне и в дороге, родственным некрасовской кляче Саврасушке, нередко возникает чисто гоголевский лирический образ необъятного простора, дали, полей: «Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, и там все поля... Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? Кто вызовет ее на свет?»

Неудивительно, что такие великие современники М.Е. Салтыкова-Щедрина, как Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, А.И. Герцен, Л.Н. Толстой, восхищались этой трагической сердечностью сатирика, его мечтой о народе-богатыре, который избавится от всех захребетников, паразитов, «премудрых пискарей», «пустоплясов».

Можно ли сказать о литературе 1840—1870-х годов как об эпохе прозы? Не лучше ли видеть их, поэзии и прозы, взаимодействие?

Не одна полная тревог душа словно мечется, ропщет за каждой строкой гениальных поэтов **Федора Ивановича Тютчева** (1803—1873) и **Афанасия Афанасьевича Фета** (1820—1892). В их поэзии лирическое «я», ранее у романтиков свидетельствовавшее только о крайне резком, неповторимом состоянии индивидуального сознания, не просто расширило горизонты лиризма, обрело часто беспредельную «лирическую дерзость» (слова Л.Н. Толстого о Фете), но и психологическую сложность лирических интуиций и ассоциаций, сгущенность переживаний во времени. Оно все чаще стало объединять в лирическом настроении читателя и поэта, говорящего и внемлющего, выражать общие их страдания и стремления.

Тютчев с детства встречал в домашнем окружении многих культурнейших людей России, в том числе поэта В.А. Жуковского, он рано начал переводить и писать стихи, овладел несколькими европейскими языками. Поэт верил, что на мировой чаше весов Россия как объединитель славянства, носитель высоких нравственных качеств перевесит все. А единственной революцией, которую, по его шутливому за-

мечанию, он признает, является... весна! И эта «весна» — свежесть, молодость — свидетельство нравственной мощи России, которую Царь Небесный, т.е. Христос, «исходил благословляя», даст отпор разрушительным силам европейских буржуазных революций, определит судьбы мира. В поэзии Тютчева центральной темой было единство всемирной жизни, единство природной и душевно-эмоциональной жизни человека. Высшее счастье для человека: «И жизни божеско-всемирной / Хотя б на миг причастен будь». Эта причастность — мучительное состояние. Поэт верил, что человек, «мыслящий тростник», живет в вечной тревоге между земным и небесным мирами:

О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги!
О как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия.

В циклах о любви, в частности в «денисьевском» цикле (обращенном к Е.А. Денисьевой), поэт говорит о разрушительной и возвышающей силе любви, о том, что «в полной слепоте страстей» человек нередко губит то, что «сердцу нашему милей». Жемчужинами русского романса стали стихотворения Ф.Тютчева «Я встретил вас...», «Я помню время золотое...». Не менее музыкален и проникновенно лиричен в своих творениях Афанасий Фет, чьи поэтические шедевры поражают художнической дерзостью и особой экспрессией в изображении особых состояний мира и человека:

Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу...

Служение «культу мгновения», способность запечатлеть жизнь в ее вершинных проявлениях делают Фета подлинным певцом света и радости.

С особой силой единение поэта и читателя, чувство своего присутствия во многих душах, чувство всего «горизонта ожиданий» читателей от поэта выразил **Николай Алексеевич Некрасов** (1821 – 1877). Его творчество (поэмы **«Мороз, Красный нос»** (1863–1864), **«Русские женщины»** (1872–1873), эпическая поэма-роман **«Кому на Руси жить хорошо»** (1865–1877) во многом стало проявлением русского нравственного сознания.

Некрасов, прошедший школу жизни в петербургских трущобах («углах») с непрерывным поденным трудом нищего сочинителя-разночинца, усвоивший бытописательский опыт художников «натуральной школы», а затем и уроки революционных демократов, называл свою лиру «карающей», чуждой всем «незлобивым поэтам». Он отрекся даже от своего крепостнического прошлого: «Хлеб полей, возделанных рабами,/ Нейдет мне в прок». Это был шаг к подлинной свободе, к истинной любви к Родине. Вероятно, вечно актуальными будут строки поэта, звавшего различать деятельную, высоконравственную любовь к Родине, к глубинной России, где «трудно дышится, где горе слышится», и поверхностный шум газетчиков, заказных либералов, псевдопатриотов. Как иронично само слово «витии», отнесенное к столичным мастерам словесных войн:

В столицах шум — гремят витии,
Бичуя рабство, зло и ложь,
А там, во глубине России,
Что там? Бог знает... не поймешь.

В атмосфере идейно-политической борьбы 1860-х годов по-разному, часто даже враждебно, складывались отношения Некрасова, редактора революционно-демократического журнала «Современник» (его ближайшими сотрудниками были Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов) с Тургеневым, Толстым, Островским, Достоевским. Многие из них (например, Н.С. Лесков) надолго уходили от Некрасова, но всегда они были справедливы в оценке его заслуг. Для его творчества характерны отказ от риторики и фразерства, обращение к народной речи, к реальным впечатлениям. Он отринул из души, из строения фраз, рождающих стиль, все украшающее, все «лепное», все, что приглушает пламя сочувствия или боли. Он находил свою интонацию боли и сострадания:

Что ты *жадно глядишь* на дорогу
В стороне от веселых подруг.
Знать, *забило сердечко тревогу* —
Все *лицо твое вспыхнуло* вдруг.

(Выделено мной. — *В.Ч.*)

«Жадно глядишь», «забило сердечко тревогу», «лицо твое вспыхнуло вдруг»... Это же почти глаголы действия, это крайности эмоционального состояния.

Мчащаяся тройка, весть о возможном счастье, расцвете – вспыхнувшие надежды, мимолетный страстный порыв к иной жизни, до-

стойной стихийного дара красоты, спасающей жизнь! Как было не ценить Некрасова тому же Достоевскому.

Тройка эта, оставляемая ею позади, героиня, — конечно, свидетельство недостижимости идеала... Но свидетельство не безнадежное. Тройка — ясный намек на даль России, где порой и «невозможное возможно». Уже в XX веке А. Блок в трагическом стихотворении «На железной дороге» вспомнит некрасовскую ситуацию ожидания, тоски, этот зов невозможного.

В памяти поэта вечно жило ярославское село Грешнево, дорога на Кострому через Волгу, сиротствующие «несжатые полосы» ржи — свидетели несчастья в крестьянской семье, вечный вопрос крестьянской массы: «Кому живется весело, вольготно на Руси?» Многие его произведения — в том числе знаменитая поэма «Кому на Руси жить хорошо», в которой возник и мифический образ Савелия, богатыря святорусского, — стали поистине энциклопедией крестьянской Руси. Некрасовская народная Русь — «и могучая и бессильная» — всегда в дороге, всегда на пороге разного рода «парадных подъездов», то просящая, то угрожающая, то молитвенная. Веселье и стон, что «песней зовется», брожение умов и состояние, когда «громам греметь оттудова» (т.е. из крестьянских душ), — все есть в поэмах и народной лирике Некрасова.

Появление русского национального театра связано с именем **Александра Николаевича Островского** (1823—1886). До сих пор на многих сценах ставятся его пьесы: **«Свои люди — сочтемся!»** (1849), **«Бедная невеста»** (1851), **«Бедность не порок»** (1852), **«Гроза»** (1859), **«Бешеные деньги»** (1869), **«Лес»** (1870) и др.

Островский, знаток купеческого Замоскворечья, артистического быта, Заволжья с его фольклорным, сказочным наследием, не только обличитель самодурства, власти тьмы, патриархальности (хотя и это направление его творческих усилий чрезвычайно важно), он был чуток к русскому слову, к тому множеству смыслов и оттенков смысла, что выстрадано было в слове русской историей, бытом, жизненным опытом людей.

Историческое место Островского — а его зрелые пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Бедная невеста», **«Не в свои сани не садись»** (1853) с эскизными еще образами самодуров, портретом самодурства как разнузданного властолюбия явились почти одновременно с антикрепостническими «Записками охотника» (1852) И.С. Тургенева — определяется его драматической, подчас трагедийно-сатирической картиной поединка между молодыми людьми с чистыми сердцами, с жаждой воли и «темным царством» домостроя, казенщины, нравственной и семейной неволи.

Островский, безусловно, художник, близкий и Тургеневу, и Герцену, и Некрасову в обеспокоенности за народную судьбу.

Конечно, многоликий и полный игры страстей, открытый волжским просторам и сказке мир Островского нельзя сводить только к конфликтной схеме, талантливо и образно определенной критиком Н.А. Добролюбовым, схеме борьбы добра и зла: «луч света в темном царстве». Эта схема во многом справедлива и доныне помогает уяснить смысл трагического протеста Катерины в **«Грозе»** (1859), Ларисы в **«Бесприданнице»** (1879): обе героини гибнут, не найдя в мире опоры для идеальных, просветленных мечтой, надеждой устремлений, не умея спасти сокровище цельной, духовно богатой личности, «сберечь красоту, талант, высокие чувства» (Ю.М. Лотман).

Однако Островский — этот Шекспир купеческого Замоскворечья, — изучивший досконально героев «темного царства», невежественных тиранов диких и кабаних, вовсе не был однолинейным, схематичным разоблачителем самодуров. Он подолгу жил в Щелыкове под Костромой, и красота Волги, просторов Заволжья, преданья и легенды этого края органически вошли в его исторические хроники «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» (1861), в драматическую весеннюю сказку **«Снегурочка»** (1873) и другие произведения. Друг всей жизни Островского, критик и поэт А. Григорьев уверял, не без оснований, что главное в персонажах Островского «не самодурство, а народность»... И не случайно Островского, знатока фольклора, народного быта, высоко ценили и П.И. Чайковский, и Н.А. Римский-Корсаков, и А.Н. Серов. Несколько поколений актеров Малого театра (называемого часто «Домом Островского») от П.М. Садовского до Б.А. Бабочкина воспитывалось на пьесах драматурга, выразителя «коренного» народного мировосприятия.

Особенно народен в своей многоцветности, неистощимом богатстве юмористических, игровых, «шутейных» оттенков язык комедий и драм Островского. Это богатство Островский умножал всю жизнь.

На рубеже XIX · XX веков родился и окреп талант выдающегося новеллиста и драматурга, чье имя известно каждому образованному человеку. **Антон Павлович Чехов** (1860—1904) в годы учебы на медицинском факультете Московского университета активно сотрудничал в юмористических журналах «Стрекоза», «Осколки». Под псевдонимом Антоша Чехонте (и другими) он сочинял юморески и «шутейные» рассказы-сценки, анекдоты, пародии. И написал их более 500. Талант Чехова был столь очевиден, что в 1886 году старейший писатель, друг Тургенева и Толстого, Д.В. Григорович буквально упрашивал его оставить эту грациозную репортерскую

«мелочевку», журнализм, «многописание» рассказиков «короче воробьиного носа»: «Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите *великий нравственный грех*, если не оправдаете таких ожиданий» (выделено мной. — *В.Ч.*).

Важный этап перехода «от Чехонте к Чехову» — повесть **«Степь»** (1888) о путешествии мальчика Егорушки, лирическое повествование с блестящими пейзажами, с явным конфликтом красоты природы и неустроенной человеческой жизни. В 1890 году Чехов неожиданно для многих поехал на Сахалин, центр каторги в те годы. Подобной дороги — дальней, через всю Сибирь — не совершал никто из русских классиков. Правда, И.А. Гончаров совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» в 1852 году, объехав Африку, острова Индийского океана, Японию, но каторжная Сибирь осталась вне его поля зрения. Чехов ехал в болевую точку России... Итог ее — конечно, книга — **«Остров Сахалин»** (1890 — 1895) и иное, что гораздо важнее, — новый тип чеховской новеллы, сжатой драмы и почти эпопеи: **«Дуэль»** (1891), **«Палата № 6»** (1892), затем — рассказы **«Мужики»** (1897), **«В овраге»** (1900) и др.

В 1892 году было куплено под Москвой имение Мелихово, где Чехов практиковал земским врачом. Жизнь среди народа поневоле потребовала отказа от всех видов романтизации жизни, риторики, своеобразной переоценки собственного творчества и нового подхода к образам русской классики. При явных сходствах разве не очевидны глубокие перемены в таких традиционных образах: Савельич Пушкина словно ожил, пройдя «исторический возраст» в чеховском печальном, одиноком и мудром Фирсе («Вишневый сад»), лермонтовский грозный дуэлянт Грушницкий — в Соленом («Три сестры»), говорливый тургеневский Рудин и гончаровский Адуев-младший из «Обыкновенной истории» — в Гаеве из «Вишневого сада» с его наивными многословными монологами, обращенными к «многоуважаемому шкафу»...

Но не только в этой благоразумности, искусстве видеть и движение чувств, и зарождение драматических коллизий в бытовой сфере, в «подтексте» сказанного — особенность новелл и пьес Чехова. Он увидел новый облик драмы: это не демонстрация условных правил произведения для сцены, а показ жизненных обстоятельств, где важны не объясняющие все монологи, а многоликий *разговор* как будто ни о чем, не готовые слова, а, скорее, недоговоренности, намеки, фразы со скрытым «подтекстом». Чехов и в прозе не был простым рисовальщиком, душевно немым перед предлежащим отчужденным миром природы, стихией быта, голосами человеческих страстей. «Чехов *одушевлял все, чего касался глазом* (выделено мной. — *В.Ч.*): его пейзаж не менее психологичен, чем люди, его люди не менее психологичны, чем облака... Пейзажем он пишет своего героя, облаками рассказывает его прошлое, дождем изображает его слезы», — писал о Чехове Леонид Андреев.

Драматургии Чехова — а ее характернейшим образцом является **«Вишневый сад»** (1903) — свойственна та же текучесть и изменчивость «микрособытий», со всеми бытовыми мелочами, которые и к финалу не разрешают, а накапливают тревожные вопросы, концентрируют страдания и разочарования героев, усиливают незавершенность судеб.

О чем говорит эта пьеса?

Речь идет не только о разорении идеалистов-дворян Гаева, Раневской, Ани, Симеонова-Пищика и не о торжестве купца Лопахина. Есть еще *образ сада* — белое море цветения, символ неумирающего прошлого, важного и для проигравших и для покупателя-победителя, сад, символ долгой мирной жизни предков, неустанного труда на земле. Сами деревья, с их листвой, плодами, с круговоротом своего цветения и плодоношения, с пением птиц, обращены к человеческой памяти, чувству красоты. Прошлое, живущее в природе, — беззащитно и всесильно одновременно. И когда Раневская, главная героиня, которую, как всегда у Чехова, гонит по жизни не одна роковая любовь, но «все имеющиеся сложения жизни в целом», то есть сплетение причин и обстоятельств, восклицает: «О, мое детство, чистота моя!.. О сад мой! После темной, ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастия, ангелы небесные не покинули тебя», — то это означает многое: утраты временны, преходящи, явятся еще новые «садовники», которым помогут их ангелы небесные...

* * *

На рубеже XIX—XX веков проявилась блестящая плеяда отечественных прозаиков и поэтов, среди которых немало художников, соединивших в себе оба эти качества. Удивительный лирик в прозе **Иван Алексеевич Бунин** (1870—1953), ставший в 1933 году лауреатом Нобелевской премии, продолжил лучшие традиции русской реалистической литературы. Он начал свой творческий путь в эпоху, когда еще жили и творили Гончаров и Салтыков-Щедрин, Лесков и Глеб Успенский, а умер, когда главные свои творения создали Александр Твардовский, Михаил Шолохов, Михаил Булгаков, Евгений Замятин.

Он был другом Антона Чехова, многие его произведения с одобрением встретил Л.Н. Толстой. Весь Серебряный век с самыми громкими именами, порой затмевавшими его, вроде Леонида Андреева, Александра Куприна, Максима Горького и Александра Блока, прошел перед его глазами.

Типично русским был этот замечательный художник, наделенный огромной творящей силой памяти, остротой художественного мировосприятия. Современник революций 1905 и 1917 годов, Гражданской войны, в разгар которой он эмигрировал (1920) из Одессы в Стамбул, а затем во Францию, он отразил драматизм эпохи, не прибегая (за исключением, пожалуй, очерков **«Окаянные дни»**, дневниковых записей 1918—1919 гг.) к прямому изображению политических событий и фигур.

Главная тема его ранних рассказов и повестей — разорение, оскудение одиноких помещичьих усадеб, а с ними и историческое вымирание дворянской культуры, так много давшей России, запустение, царящее в «темных аллеях». Личное состояние его не волновало: «Иная на сердце забота...» Настолько иная, что ему были одинаково чужды и те, кто звал «бурю», и те, кто слепо молился на незыблемые устои Руси... Образ «темных аллей» (название книги новелл, 1943) поражает смыслом двойственным: эта волнующая «тема» несет в себе столько света, столько тоски и вспышек любовного чувства, столько запечатленных в игре, в сюжетах сильных страстей! Лучшие предреволюционные и эмигрантские рассказы («Веселый двор», «Князь в князьях», «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Косцы», «Грамматика любви») стали памятниками вовсе не прошлой, не ушедшей, а вечной России. Он сам говорил: «Нет, прежний мир... не есть для меня мир мертвых, он для меня воскресает все более, становится единственной и все более радостной обителью моей души!»

Может быть, никто в русской прозе XX века не выразил с такой пленительной силой идеи *неразлучаемости* русского человека с Родиной, русской природой и языком, как Бунин. В его патриотическом чувстве нет задорности, пафоса, нет пресловутой почвенности и самодовольства. Любовь к Родине — счастливая и гибельная в известной мере. «Ах, эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, — не просто наслаждения, а именно упоения... как скучны нам будни и планомерный труд!» — писал Бунин в романе «Жизнь Арсеньева».

В жизни природы нет скуки; будни, осень не менее праздничны, чем весна. А столь частый мотив русских песен — мотив прощания

с родной сторонкой, мотив ухода на чужбину? Но здесь нет финала, нет фатальности. Знает такие мгновения и бунинский герой: «Куда бы ни забросила его доля, все будет с ним родное небо, а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного разве только своей свободой, простором и сказочным богатством».

В 1892 году в Тифлисе в газете «Кавказ» под псевдонимом Максим Горький появился рассказ **«Макар Чудра»**, написанный **Алексеем Максимовичем Пешковым** (1868—1936). В 1898 году из рассказов *романтического* цикла («Старуха Изергиль», «Макар Чудра» и др.) и рассказов *босяцкого* цикла («Челкаш», «Каин и Артем», «Емельян Пиляй», «Бывшие люди») составилась и увидела свет книга **«Очерки и рассказы»**, сразу выдвинувшая писателя в плеяду крупнейших художников-реалистов.

Главный конфликт обоих циклов — несовместимость высокого идеала, мечты и существующего миропорядка, умонастроений. В рассказах-легендах романтические герои ищут свое место в мире, отвоевывают свободу, борются за нее. Одни ищут ее для себя, другие, как старуха Изергиль, для себя и других, третьи, жертвуя собой, зачастую освобождают «слепые», отсюда и неблагодарные им толпы, ведут их сквозь ночь и болота.

В «босяцком» цикле романтизм героев в лохмотьях, обитателей ночлежек иной: они способны на миг взбунтоваться, увлечься высоким виде́нием (Коновалов в одноименном рассказе увлечен личностью Разина), но очевидна и их неготовность к планомерному, длительному отпору обступающей их пошлости, унижению.

Эта же ситуация — со множеством вариантов бунтарских вспышек и поражений — ярко раскрыта в пьесе **«На дне»** (1902). В ночлежке, под сводами подвала собраны в комнатах-сотах люди, сломленные жизнью, тоскующие о лучшей доле, готовые слушать любое слово, дающее надежду. Надежды еще до конца не утрачены, духовная опустошенность прерывается вспышками мечтаний. И в этой среде сталкиваются (но вовсе не как антагонисты, а скорее как взаимодополняющие спасители, проповедники) босяк Сатин и старец-праведник Лука. Как противоречиво человеколюбие, сострадательный гуманизм Луки. «Пожалеть человека хорошо бывает, — говорит он, сразу же внося поправку: — Не всегда правдой душу вылечишь...» Что же, нужна сладкая ложь? И выходит, правда должна быть... выборочной, расчетливо преподнесенной? С этим косвенно спорит Сатин, отвергая ложь во спасение, провозглашая знаменитую формулу горьковского гуманизма: «Чело-век! <...> Это звучит... гордо!»

В дальнейшем Горький создает множество характеров героев, «выламывающихся» из своего сословия (роман **«Фома Гордеев»**, 1899; пьеса **«Егор Булычев и другие»**, 1932), повесть об окуровской (застойной, обломовской) Руси (**«Городок Окуров»**, 1911), автобиографическую трилогию о детстве (**«Детство»**, 1913—1914, **«В людях»**, 1915—1916, **«Мои университеты»**, 1922) и знаменитый цикл рассказов о новых хождениях по Руси.

* * *

Художественные искания, нередкие кризисы и яркие творческие открытия начала XX века зачастую связаны с такими понятиями, как **«Серебряный век»**, **«поэтический ренессанс»**, со множеством течений и имен.

Понятие «Серебряный век» ввел в 1933 году поэт, эмигрант первой волны *Николай Оцуп* (1894—1958). Он сравнил эпоху А. Блока, Н. Гумилева, И. Бунина с золотым веком Пушкина, Толстого, Тютчева. Затем этот период литературной истории по-своему объяснил и **Сергей Маковский** (1877—1962), эмигрантский поэт, публицист: «Серебряный век — мятежный, богоищущий, бредивший красотой». **Анна Ахматова**, обозначившая в **«Поэме без героя»** (1940—1965) вечную, как бы невесомую и нетленную красоту этого века, то есть короткого периода от рубежа XX века до первых его десятилетий, заключила: «И серебряный месяц ярко над Серебряным веком стыл».

Серебряный век отмечен такими поэтическими течениями как *символизм*, преодолевшие его *акмеизм, футуризм* и *«новокрестьянская поэзия»* (с творениями Н.А. Клюева и молодого С.А. Есенина), век, близкий к открытиям в философии, живописи, музыке, театре рубежа XX века. Он был вовсе не явлением кризиса, тем более символом упадка, разложения литературы. Не правы критики, усматривающие в русском символизме, даже в творчестве А. Блока, А. Белого, акмеистов Н. Гумилева и А. Ахматовой, футуриста Вл. Маяковского и других, решительное расхождение, разрыв с традицией народности.

Но разве не было в них готовности выйти в путь, «открытый взорам», ступить в «расхлябанные колеи» Руси, вдохнуть «ветер, ветер, на всем белом свете» (А. Блок)? Разве одного уединения, создания центра в себе самом искал Осип Мандельштам, искренне признававшийся в том, что невыносимо жить «под собою не чуя страны»? Разве только эгоцентризм жил в душе А. Ахматовой или М. Цветаевой, ставшей, по мнению И. Бродского, «звукосимволом века»?

Своя «центробежность», обращенность к истории, к народу помогла и С.А. Есенину, и другим поэтам его эпохи стать классиками общенациональными, а не только классиками символизма, акмеизма, содружества новокрестьянских поэтов.

Этот короткий период (1892—1917) — время великих поэтов, связанных с *символизмом*, или выросших в атмосфере символизма Александра Блока, Иннокентия Анненского, Николая Гумилева, Анны Ахматовой, — действительно возродил русскую поэзию, словно онемевшую, обеззвучившуюся после Фета и Тютчева.

О. Мандельштам скажет об Анне Ахматовой, что она «...принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа девятнадцатого века».

Александр Александрович Блок (1880—1921) — единственный из символистов, признанный еще при жизни поэтом общенационального значения. Семейная атмосфера, в которой он вырос, способствовала тому, что традиции классической русской культуры были неотделимы в восприятии Блока от понятия «дома», а в его поэтическом творчестве завершились все важнейшие течения русской лирики XIX века. Его жизненный путь хорошо известен благодаря воспоминаниям современников, публикациям дневников и писем поэта. Остаются же загадкой те поэтические средства, которыми Блок создал целостное символистское пространство, где есть свои сюжеты, законы, выдуманные и реальные героини, стихия музыки. Его символизм часто воздушен, бестелесен, музыкален (**«Стихи о Прекрасной Даме»**), в нем есть и своя предметность, своя земля и история (**«На поле Куликовом»**).

Блок прожил жизнь в споре со «страшным миром», с историей. Но благодаря этому спору стала понятнее, реальнее и земная история, и весь XX век.

Исключительно важное место не только в поэзии и судьбе Блока, но и во всей русской поэзии XX века занимает его поэма **«Двенадцать»**. На следующий день после ее завершения, 29 января 1918 года, он записал: «Сегодня — я гений».

Среди отчаяния, глубокой печали многих поражает эта необыкновенная энергия творческого движения, порыва — а ведь это были первые месяцы после Октября, начало бунинских «окаянных дней»!

На фоне зимнего, задуваемого ветром Петрограда возникает крайне тревожный, даже несколько испуганный взгляд лирического летописца на изображаемые картины, на саму петербургскую улицу. Обычно говорят, что Блок выстроил сатирический ряд знакомых ему персонажей истории, обреченных, уходящих, замыкая этот ряд «нищим псом голодным».

Но сам поэт отрицал сатирическое преувеличение. Блок считал, что, только осмеивая старый мир, он несколько приукрашивает своих главных героев, красных апостолов с ружьями, позволяя им быть выше, уверенней всех униженных представителей старого мира. Идите вперед «державным шагом», «революцьонный держите шаг», но помните, что вам еще надо *оправдать* абсолютное, беспредельное отрицание уходящего мира! Пока эти ребята, что пошли «в красной гвардии служить — буйну голову сложить», хороши только одним: у них нет «заката в крови» (вспомним цикл Блока «На поле Куликовом»), а есть совсем другое:

Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

Много это или мало? Поэт не знает всего до конца. Он задумывается: из какого «материала» созданы эти апостолы, творцы мирового пожара?

Блок действительно боялся своей догадки: неужели вновь «русский бунт, бессмысленный и беспощадный»? Неужели никому не ясно, что разрушительство так же старо, как и накопительство, а грабеж голодными сытых так же стар, как «корыто сытых»? Если буржуй уже скучен, как пес, то где уверенность, что вот-вот не станет скучен (и страшен) человек с ружьем?!

Эпоха Блока, эпоха поэзии и поэтов, еще долго жила — и после 1917 года, в условиях управляемого литературного процесса — в поэзии **Николая Степановича Гумилева** (1886–1921), создателя книги **«Огненный столп»** (1921), **Анны Андреевны Ахматовой** (1889—1966) в ее книгах **«Подорожник»** (1921) и **«Anno Domini»** (1922), **«Реквием»** (1935—1940), **Осипа Эмильевича Мандельштама** (1891–1938), явившегося в поэтический мир с книгой **«Камень»** (1913).

В спор с «железным веком» вступил и талантливейший поэт **Борис Леонидович Пастернак** (1890–1960) — мастер метафоры и тонкий художник природных сфер. Его роман **«Доктор Живаго»** (1955) с включенными в него стихотворениями героя — своеобразная летопись противостояния личности и истории в бурную революционную эпоху.

«Я хочу быть понят своей страной» — это обращение-заклинание другого поэта, **Владимира Владимировича Маяковского** (1893 — 1930), обнажает весь драматизм взаимоотношений поэта и государства, художника и истории. Пройдя этап футуристического ниспровержения авторитетов («А вы могли бы?», «Ничего не понимают», «Нате!»). Маяковский после 1917 года стал поэтом-государственником, написавшим стихотворения «Левый марш» и «Ода революции», поэму «Хорошо!». Мощный поэтический темперамент и чувство исторического времени позволили Маяковскому стать голосом эпохи, остаться в истории отечественной поэзии, «как живой с живыми говоря». Именно ему принадлежат жизнеутверждающие строки:

Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!

Явление и активнейшее присутствие великого «пришельца» — народа, низовой России — во всех сферах, во всех событиях XX века резко изменило и состав художников, и в целом развитие культуры.

Андрей Платонович Платонов (1899—1951) назовет эти явления «восстанием масс», приходом на арену культуры былого «безмолвствующего большинства» (вспомните ремарку «Народ безмолвствует» — в пушкинском «Борисе Годунове»!).

Этот «пришелец», вовсе не варвар-разрушитель, по-своему распорядился, иногда вопреки шумным литературным течениям, желавшим «бросить Пушкина <...> с парохода современности» и насадить чудовищный «новояз» из нерусских речений. Именно в XX веке, разрушившем множество социальных и сословных перегородок, границ, стало доступно творчество и Пушкина, и Гоголя, и Лермонтова, и, конечно, Некрасова, Толстого, Тютчева. Появился именно народный читатель великого художественного Слова: литература, художественное творчество вошло в народное сознание и через «родную речь», песенник, школу, наконец, фильмы, через чтеца-декламатора, хрестоматии, через роман и оперу. Возникло «массовое» знание народом своей культуры (Сергей Есенин, Михаил Исаковский).

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) — великий народный поэт, появившийся из крестьянской России в те самые драматические переломные годы, когда «Октябрь загремел железом по сердцам, по головам».

Он вошел как равный среди первых в высокопоэтичную среду символистов (и превзошел ее возможности), обнаружив глубинные взаимосвязи своего «степного пенья» с пушкинской лирикой. Великий поэт пришел не по той дорожке, которая ему была «уготована», прожил жизнь не по программе, способной его сковать и сузить.

Сергей Есенин, безусловно, впитал все, чем богата его родная Рязанщина: поэзию молитв, заговоров, наигрышей, даже скорбных плачей, православие с его предписаниями, как жить на земле, в избяном раю. Он был открыт всему миру, всем веяниям. Главная его тема, которая «отменяет» костюм крестьянского пастушка со свирелью, — это тема сбережения души, человечности в человеке. Ведь «душа проходит, как молодость и как любовь», и «под душой так же падаешь, как под ношею».

Историко-культурные процессы, повлиявшие на развитие отечественной поэзии, не могли не сказаться на творчестве выдающихся писателей-прозаиков.

Одним из художников мирового значения, о котором уже современники в 1920-е годы говорили: «Ваши произведения выше тех небольших преград, которые называются баррикады», — был безусловно **Михаил Афанасьевич Булгаков** (1891—1940), создатель романа **«Белая гвардия»** (1925), повести **«Собачье сердце»** (1925), пьес **«Дни Турбиных»** (1926), **«Бег»** (1928), **«Зойкина квартира»** (1926), **«Иван Васильевич»** (1935), романа **«Мастер и Маргарита»** (опубл. в 1966 г.).

Михаил Булгаков изначально (и навсегда) был ориентирован в творчестве на духовные, очистительные для сознания ценности России, которые естественно и «параллельно с природой» («Собачье сердце»), а не в волюнтаристском, административном рвении утверждались в народе, воплотились в лучших представителях интеллигенции (рядовой массе врачей, преподавателей, офицеров, священников и др.). Роман «Белая гвардия», воскрешающий один из трагических и фарсовых эпизодов Гражданской войны — недолгое и нелепое «величие» Петлюры, изгнавшего из Киева столь же марионеточное правительство прогерманского гетмана Скоропадского и вскоре тоже исчезнувшего, как морок, сырой черный туман, — был воспринят читателями и зрителями (благодаря пьесе «Дни Турбиных») как апофеоз вечным ценностям семьи, дома, уюта и благородства. Здесь, в доме Турбиных, колеблемом волнами «потопа», нет духа спектакля, дешевой и обманной игры с лучшими человеческими надеждами и идеалами, с любовью к России.

В классическом романе-лабиринте «Мастер и Маргарита», который Булгаков писал вплоть до своей смерти, вечная конфликтная драма «дома» и «антидома», добра и зла, благородства и «дьяволиады» обрела наиболее полное, сюжетно и стилистически совершенное выражение. На разных уровнях, в разных эпохах и разных душах — и в диалоге Понтия Пилата, римского прокуратора в Иудее, малодушно «сдавшего» Христа в руки его врагов, и в судьбе Мастера, и в сложном движении поэта Ивана Бездомного от сочинения антихристианских поэм к обретению родного имени и дома — России, в деяниях черного Воланда среди мещан и вороватых управдомов, буфетчиков и т.п. — свершается просветление душ, победа над бесовщиной, духом выстроенного спектакля и миражностью. Если Гражданская война была как бы «преодолена» в «Белой гвардии» в духовной высоте, нравственной чистоте дома Турбиных, то все нашествие дьяволиады, свиты Воланда в Москву, как и малодушие Пилата, тоже героя с «исколотой памятью», преодолевается в «Мастере и Маргарите» торжеством творческого подвига, тем, что ни вечные книги вроде Евангелия, ни рукописи «не горят».

Новая эпоха выдвинула еще одного выдающегося художника эпического размаха — **Михаила Александровича Шолохова** (1905—1984), лауреата Нобелевской премии (1965), который называл свое время «изломистым», полным утрат, катастроф, угроз Грядущему.

В атмосфере катастроф — Гражданской войны, великих и иных «переломов» 1930-х годов, в огненных вихрях Великой Отечественной войны, ломавших судьбу человека и его семьи, рода, среди бед измельчанья, безвременья — Шолохов, выходец из низовой России, из любимой им Донщины, искал народные характеры, не помраченные, не сломленные историей, несущие в себе свет совести. Вся его творческая жизнь, включая **«Донские рассказы»** (1926), роман **«Поднятая целина»** (1932—1960), рассказ **«Судьба человека»** (1959) и, конечно, великую эпопею **«Тихий Дон»** (1928—1940), — это не просто сотворение собственной великой творческой судьбы, но *эпическое любование* (отнюдь не спокойное, а полное сострадания и боли!) характерами, живущими в состоянии непрерывного суда совести, поисков путей народосбережения, спасения человечности.

В эпопее «Тихий Дон» перед читателем проходит множество персонажей, в жизнь которых вторглись Первая мировая война, две революции 1917 года, Гражданская война с ее стихией братоубийств...

Внутреннее многоголосье, полифонизм в каждом характере, святом и грешном, как в Аксинье и Григории, как в фанатике революции Макаре Нагульнове из «Поднятой целины», как в Андрее Соколове, — величайшее завоевание Михаила Шолохова. Чтобы развернуть — композиционно и стилистически — это множество душ в одной изменчивой душе, Шолохов вводит в «Тихом Доне» великих «собеседников» героев — образы донского простора, степного солнца, наконец, народной песни. Они нужны, чтобы эти многие души высказать, пропеть, эти биения сердец озвучить. Навеки останутся как часть

авторского духовного пространства, как *продленные вовне* мыслеощущения героев необыкновенные шолоховские пейзажи или звучания народных песен.

Все русские писатели XX века, исследовавшие судьбы русской деревни как 1930-х, так и 1960-х годов, народные характеры, воспитанные в общении с природой, — это не пресловутые «деревенщики», а часто эпические летописцы общенародной судьбы. Именно такими были и **Александр Трифонович Твардовский** (1910—1971) (поэмы **«Страна Муравия»**, 1934—1936; **«Василий Теркин. Книга про бойца»**, 1942—1945; **«Дом у дороги»**, 1942—1946), и «песенное сердце» — **Михаил Васильевич Исаковский** (1900—1973), создатель многих поэтических произведений, автор песни «Катюша» и такого шедевра русской лирики, как «Враги сожгли родную хату».

И последующее поколение писателей, воспевавших не одну Русь деревенскую, но тот вековечный миропорядок, основанный на согласии, на крепкой семье и радостном труде, писало о «Ладе» — порядке, системе жизни, народном праведничестве: среди них и **А.И. Солженицын** (**«Матренин двор»**, 1959), и **В.И. Белов** (повесть **«Привычное дело»**, 1966), **В.Г. Распутин** (повести **«Последний срок»**, 1970; **«Живи и помни»**, 1974; **«Прощание с Матёрой»**, 1976), и отчасти **В.П. Астафьев**. Для него деревенская тема (**«Ода русскому огороду»**, 1972; или **«Последний поклон»**, 1986) была столь же важна, как и тема военная (**«Пастух и пастушка»**, 1983).

Русская проза XX века, та ее часть, так называемая «военная проза», «окопная проза» — а ее, вероятно, открывает повесть **В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда»** (1946) — была обращена не к быту войны, не к описанию только «горячего снега», а к тому, как сохранялся, умудрялся уцелеть человек и не сломаться в свинцовой метели. Все та же преемственность правды, то же обращение к совести, как главной мере человека, та же вера в Россию ярко проявились в повестях **Ю.В. Бондарева «Батальоны просят огня»** (1957), **«Последние залпы»** (1959), в романе **«Горячий снег»** (1969), в повестях **В.А. Курочкина «На войне как на войне»** (1965) и **К.Д. Воробьева «Это мы, Господи»**, написанной в оккупации.

На войне остаться человеком — значит не просто выжить, уцелеть, но и не озвереть, не одичать. Романы **В.П. Астафьева «Прокляты и убиты»** (1992—1994) и **Вас. Гроссмана «Жизнь и судьба»** (1960) — последние по времени эпические произведения о войне — потрясают взволнованностью авторской мысли, предостерегают от беспечной доверчивости к любым видам антигуманизма.

Современный литературный процесс в лучших, здоровых своих направлениях продолжает великие традиции отечественной прозы и поэзии, всегда откликавшиеся на трагические вызовы эпохи.

Поиски средства от безнадежности, от печального ощущения «полета с горы тысячелетья» (М. Аввакумова), пафос создания новых художественных миров за пределами мелких либеральных догм, вне подставных вождей, — это все вызывает новое стремление к классике, сказывается и в обращении к православной системе ценностей, что спасает совесть, целомудренность души народной, спасает саму Россию.

Писатели верят в огромный, еще не развернувшийся (приглушенный сейчас псевдокультурой) потенциал народной души, знают внутреннюю силу русской культуры, русского Слова. И хотя уходящее — разрушительное псевдоискусство с феноменами «чернухи», порнодетективщины — еще многое заслоняет, но отвращение ко лжи уже становится залогом возрождения.

«Мы — не хирурги, мы — боль», — говорил А.И. Герцен. Так, если бы в повести В. Распутина **«Дочь Ивана, мать Ивана»** (2003), кроме интонаций боли, нового пожара чувств, ничего иного не было, то и тогда она останется изумительной исповедью эпохи, ее дневником и летописью. Но боль, «жизни гибельный пожар» (А. Блок) глубоко нравственны, почти внеличны. Она расширена до неизбывного сострадания к современникам, стала молитвой самой природы за всех, вышедших и еще не вышедших из окопа прозябания.

Именно женщина, «мироткущая», по определению писателя, — а он мастер создавать яркие женские характеры! — стала воплощением возмездия, способности народа не жить в состоянии бессилья, только вопрошать бессильно:

Твою Родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
Б. Пастернак

И В. Распутин, и В. Лихоносов, и Вл. Крупин, и более молодые их сподвижники И. Уханов, В. Галактионова, В. Дегтев и другие писатели и поэты стремятся сохранить образ вечной, неумирающей России.

Время заставляет искать ответы на вопросы и проблемы явной, конкретной жизни в публицистике, в документальной прозе, как это делали В.М. Шукшин, Ю.В. Трифонов, В.С. Пикуль, А.И. Солженицын. И как во времена Тургенева, Тютчева, они обращались к Слову, к «великому драгоценному закрому» русского языка, никогда не убываю-

щему. Что-то равное тургеневскому гимну во славу русского языка звучит и в раздумьях героя последней повести В. Распутина о русском Слове:

«Содержится оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на свете зная подлинную цену; когда плачет оно, это слово, горькими слезами уводимых в полон и обвязанных одной вереей многоверстовой колонны молодых русских женщин; когда торжественной медью гремит во дни побед и стольных праздников; когда безошибочно знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно... Когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем и душой, напитанных родовой кровью, — вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета; с древнейших времен оно само по себе непорушимая клятва и присяга. Есть оно — и все остальное есть, а нет — и нечем будет закрепить самые искренние порывы».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ



1. В чем вы видите связь между литературой первой половины XIX века и последующей судьбой русского художественного слова, включая современную литературную ситуацию?
2. На материале данного раздела составьте перечень имен и произведений русской классики XIX—XX веков для самостоятельного изучения (для заканчивающих обучение) или дальнейшей работы в 10—11 классах. Укажите, какие произведения перечисленных авторов вы читали, и отметьте те имена и названия, которые вызвали у вас интерес при чтении раздела.
3. На материал раздела напишите небольшое эссе «Вечные темы и мотивы русской классики».

ПРИЛОЖЕНИЕ

А.С. Пушкин

К другу стихотворцу

Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!
Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса;
За лаврами спешишь опасною стезей,
И с строгой критикой вступаешь смело в бой!

Арист, поверь ты мне, оставь перо, чернилы,
Забудь ручьи, леса, унылые могилы,
В холодных песенках любовью не пылай;
Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай!
Довольно без тебя поэтов есть и будет;
Их напечатают — и целый свет забудет.
Быть может, и теперь, от шума удалясь
И с глупой музою навек соединясь,
Под сенью мирною Минервиной эгиды[1]
Сокрыт другой отец второй «Тилемахиды».
Страшися участи бессмысленных певцов,
Нас убивающих громадою стихов!
Потомков поздних дань поэтам справедлива;
На Пинде лавры есть, но есть там и крапива.
Страшись бесславия! — Что, если Аполлон,
Услышав, что и ты полез на Геликон,
С презреньем покачав кудрявой головою,
Твой гений наградит — спасительной лозою?

[1] То есть в школе. (*Примечание А.С. Пушкина.*)

Но что? ты хмуришься и отвечать готов:
«Пожалуй, — скажешь мне, — не трать излишних слов;
Когда на что решусь, уж я не отступаю,
И знай, мой жребий пал, я лиру избираю.
Пусть судит обо мне, как хочет, целый свет,
Сердись, кричи, бранись, — а я таки поэт».

Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет
И, перьями скрыпя, бумаги не жалеет.
Хорошие стихи не так легко писать,
Как Витгенштейну французов побеждать.
Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов,
Певцы бессмертные, и честь, и слава россов,
Питают здравый ум и вместе учат нас,
Сколь много гибнет книг, на свет едва родясь!
Творенья громкие Рифматова, Графова
С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова;
Никто не вспомнит их, не станет вздор читать,
И Фебова на них проклятия печать.

Положим, что, на Пинд взобравшися счастливо,
Поэтом можешь ты назваться справедливо:
Все с удовольствием тогда тебя прочтут.
Но мнишь ли, что к тебе рекой уже текут
За то, что ты поэт, несметные богатства,
Что ты уже берешь на откуп государства,
В железных сундуках червонцы хоронишь
И, лежа на боку, покойно ешь и спишь?
Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки —
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы:
Катится мимо их Фортуны колесо;
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;
Камоэнс с нищими постелю разделяет;
Костров на чердаке безвестно умирает.
Руками чуждыми могиле предан он:
Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон.

Ты, кажется, теперь задумался немного.
«Да что же, — говоришь, — судя о всех так строго,

Перебирая всё, как новый Ювенал,
Ты о поэзии со мною толковал;
А сам, поссорившись с парнасскими сестрами,
Мне проповедовать пришел сюда стихами?
Что сделалось с тобой? В уме ли ты, иль нет?»
Арист, без дальных слов, вот мой тебе ответ:

В деревне, помнится, с мирянами простыми,
Священник пожилой и с кудрями седыми,
В миру с соседями, в чести, довольстве жил
И первым мудрецом у всех издавна слыл.
Однажды, осушив бутылки и стаканы,
Со свадьбы, под вечер, он шел немного пьяный;
Попалися ему навстречу мужики.
«Послушай, батюшка, — сказали простяки, —
Настави грешных нас — ты пить ведь запрещаешь,
Быть трезвым всякому всегда повелеваешь,
И верим мы тебе; да что ж сегодня сам...»
— «Послушайте, — сказал священник мужикам, —
Как в церкви вас учу, так вы и поступайте,
Живите хорошо, а мне — не подражайте».

И мне то самое пришлося отвечать;
Я не хочу себя нимало оправдать:
Счастлив, кто, ко стихам не чувствуя охоты,
Проводит тихий век без горя, без заботы,
Своими одами журналы не тягчит
И над экспромтами недели не сидит!
Не любит он гулять по высотам Парнаса,
Не ищет чистых муз, ни пылкого Пегаса;
Его с пером в руке Рамаков не страшит;
Спокоен, весел он. Арист, он — не пиит.

Но полно рассуждать — боюсь тебе наскучить
И сатирическим пером тебя замучить.
Теперь, любезный друг, я дал тебе совет,
Оставишь ли свирель, умолкнешь или нет?..
Подумай обо всем и выбери любое:
Быть славным — хорошо, спокойным — лучше вдвое.

1814

Желание

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг в унылом сердце множит
Все горести несчастливой любви
И все мечты безумия тревожит.
Но я молчу; не слышен ропот мой;
Я слезы лью; мне слезы утешенье;
Моя душа, плененная тоской,
В них горькое находит наслажденье.
О жизни час! лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье —
Пускай умру, но пусть умру любя!

1816

Вольность
Ода

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей.
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

Открой мне благородный след
Того возвышенного Галла,
Кому сама средь славных бед
Ты гимны смелые внушала.
Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;

Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть.

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит

И преступленье свысока
Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука
Ни алчной скупостью, ни страхом.
Владыки! вам венец и трон
Дает Закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!
Тебя в свидетели зову.
О мученик ошибок славных,
За предков в шуме бурь недавных
Сложивший царскую главу.

Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе Вероломства.
Молчит Закон — народ молчит,
Падет преступная секира...
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле.

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец —

И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигулы последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

1817

К Чаадаеву

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

1818

Деревня

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.
Я твой — я променял порочный двор Цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.

Я твой — люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.

Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крилаты;
Везде следы довольства и труда...

Я здесь, от суетных оков освобожденный,
Учуся в Истине блаженство находить,
Свободною душой Закон боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
Участьем отвечать застенчивой Мольбе
И не завидовать судьбе
Злодея иль глупца — в величии неправом.

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!
В уединенье величавом
Слышнее ваш отрадный глас.
Он гонит лени сон угрюмый,
К трудам рождает жар во мне,
И ваши творческие думы
В душевной зреют глубине.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде Невежества убийственный Позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное Судьбой,
Здесь Барство дикое, без чувства, без Закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь Рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого Владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут

Для прихоти бесчувственной злодея.
Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов.
О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар
И не дан мне судьбой Витийства грозный дар?
Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И Рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством Свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная Заря?

1819

* * *

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный...
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,

Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края:
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златыя,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

1820

* * *

Изыде сеятель сеяти семена своя.

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Стансы

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукий.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

Арион

Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн, —
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

К морю

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас,
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый, —
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег.

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?

Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен.
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

1824

Подражание Корану

IX

И путник усталый на Бога роптал:
Он жаждой томился и тени алкал.
В пустыне блуждая три дня и три ночи,
И зноем и пылью тягчимые очи
С тоской безнадежной водил он вокруг,
И кладез под пальмою видит он вдруг.

И к пальме пустынной он бег устремил,
И жадно холодной струей освежил
Горевшие тяжко язык и зеницы,
И лег, и заснул он близ верной ослицы —
И многие годы над ним протекли
По воле владыки небес и земли.

Настал пробужденья для путника час;
Встает он и слышит неведомый глас:
«Давно ли в пустыне заснул ты глубоко?»
И он отвечает: уж солнце высоко
На утреннем небе сияло вчера;
С утра я глубоко проспал до утра.

Но голос: «О путник, ты долее спал;
Взгляни: лег ты молод, а старцем восстал,
Уж пальма истлела, а кладез холодный
Иссяк и засохнул в пустыне безводной,
Давно занесенный песками степей;
И кости белеют ослицы твоей».

И горем объятый мгновенный старик,
Рыдая, дрожащей главою поник...
И чудо в пустыне тогда совершилось:
Минувшее в новой красе оживилось;
Вновь зыблется пальма тенистой главой;
Вновь кладез наполнен прохладой и мглой.

И ветхие кости ослицы встают,
И телом оделись, и рев издают;
И чувствует путник и силу, и радость;
В крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь:
И с Богом он дале пускается в путь.

1824

К***

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

1825

19 октября

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружных гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье;

А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.

Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку
И пожелать веселых много лет.
Я пью один; вотще воображенье
Вокруг меня товарищей зовет;
Знакомое не слышно приближенье,
И милого душа моя не ждет.

Я пью один, и на брегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...
Но многие ль и там из вас пируют?
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
Кого от вас увлек холодный свет?
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж вами нет?

Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом.

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полунощных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны нравы:

Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты простирал из-за моря нам руку,
Ты нас одних в младой душе носил
И повторял: «На долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!»

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Из края в край преследуем грозой,
Запутанный в сетях судьбы суровой,
Я с трепетом на лоно дружбы новой,
Устав, приник ласкающей главой...
С мольбой моей печальной и мятежной,
С доверчивой надеждой первых лет,
Друзьям иным душой предался нежной;
Но горек был небратский их привет.

И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада:
Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе — фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Всё тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной
И ждал тебя, вещун пермесских дев,
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О Дельвиг мой: твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел:
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся — но поздно! и уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?

Пора, пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!
Сокроем жизнь под сень уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый друг —
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

Пора и мне... пируйте, о друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я,
Исполнится завет моих мечтаний;

Промчится год, и я явлюся к вам!
О, сколько слез и сколько восклицаний,
И сколько чаш, подъятых к небесам!

И первую полней, друзья, полней!
И всю до дна в честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствует Лицей!
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.

Полней, полней! и, сердцем возгоря,
Опять до дна, до капли выпивайте!
Но за кого? о други, угадайте...
Ура, наш царь! так! выпьем за царя.
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей.

Пируйте же, пока еще мы тут!
Увы, наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему...
Кому ж из нас под старость день Лицея
Торжествовать придется одному?

Несчастный друг! средь новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой...
Пускай же он с отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведет,
Как ныне я, затворник ваш опальный,
Его провел без горя и забот.

1825

Пророк

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

1826

Поэт

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;

Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

1827

Анчар[1]

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.

[1] Древо яда.

К нему и птица не летит,
И тигр нейдет — лишь вихорь черный
На древо смерти набежит
И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом:
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;

Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседам в чуждые пределы.

1828

* * *

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

1829

Дорожные жалобы

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?

Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть Господь судил,

На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.

Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.

Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?
То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!

То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошел же, погоняй!..

1829

* * *

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

1829

Бесы

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

«Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня;
Вон — теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой».

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали... «Что там в поле?» —
«Кто их знает? пень иль волк?»

Вьюга злится, вьюга плачет;
Кони чуткие храпят;
Вот уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят;
Кони снова понеслися;
Колокольчик дин-дин-дин...
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

1830

Элегия

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

1830

Осень
(Отрывок)

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
Державин

I
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает,
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

II
Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,

Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под соболем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

III
Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!
А зимних праздников блестящие тревоги?..
Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
Ведь это наконец и жителю берлоги,
Медведю, надоест. Нельзя же целый век
Кататься нам в санях с Армидами младыми
Иль киснуть у печей за стеклами двойными.

IV
Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить да освежить себя —
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.

V
Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

VI
Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бледняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;

Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет.

VII

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

VIII

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

IX

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол и трескается лед.
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом
Огонь опять горит — то яркий свет лиет,
То тлеет медленно — а я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.

X

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —

И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

XI

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге.
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

XII

Плывет. Куда ж нам плыть?. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

1833

* * *

Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

1833

* * *

...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах.
Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.
Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим — и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив златых и пажитей зеленых
Оно синея стелется широко;
Через его неведомые воды

Плывет рыбак и тянет за собою
Убогий невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре...
На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,
Всё тот же их знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда всё было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья, кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему всё пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.

1835

<Из Пиндемонти>

Недорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Всё это, видите ль, слова, слова, слова[1].
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
— Вот счастье! вот права...

1836

* * *

Exegi monumentum

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

[1] Hamlet.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

1836

ПОЭМЫ

Кавказский пленник
(Отрывки)

3

<...>

Так пели девы. Сев на бреге,
Мечтает русский о побеге;
Но цепь невольника тяжка,
Быстра глубокая река...
Меж тем, померкнув, степь уснула,
Вершины скал омрачены.
По белым хижинам аула
Мелькает бледный свет луны;
Елени дремлют над водами,
Умолкнул поздний крик орлов,
И глухо вторится горами
Далекий топот табунов.

Тогда кого-то слышно стало,
Мелькнуло девы покрывало,
И вот — печальна и бледна —
К нему приближилась *она*.
Уста прекрасной ищут речи;

Глаза исполнены тоской,

И черной падают волной
Ее власы на грудь и плечи.
В одной руке блестит пила,
В другой кинжал ее булатный;
Казалось, будто дева шла
На тайный бой, на подвиг ратный.

На пленника возведши взор,
«Беги,— сказала дева гор, —
Нигде черкес тебя не встретит.
Спеши; не трать ночных часов;
Возьми кинжал: твоих следов
Никто во мраке не заметит».

Пилу дрожащей взяв рукой,
К его ногам она склонилась:
Визжит железо под пилой,
Слеза невольная скатилась —
И цепь распалась и гремит.
«Ты волен,— дева говорит, —
Беги!» Но взгляд ее безумный
Любви порыв изобразил.
Она страдала. Ветер шумный,
Свистя, покров ее клубил.
«О друг мой! — русский возопил, —
Я твой навек, я твой до гроба.
Ужасный край оставим оба,
Беги со мной...» — «Нет, русский, нет!
Она исчезла, жизни сладость;
Я знала все, я знала радость,
И все прошло, пропал и след.
Возможно ль? ты любил другую!..
Найди ее, люби ее;
О чем же я еще тоскую?
О чем уныние мое?..
Прости! любви благословенья
С тобою будут каждый час.
Прости — забудь мои мученья.
Дай руку мне... в последний раз».

К черкешенке простер он руки,
Воскресшим сердцем к ней летел,
И долгий поцелуй разлуки
Союз любви запечатлел.
Рука с рукой, унынья полны,
Сошли ко брегу в тишине —
И русский в шумной глубине
Уже плывет и пенит волны,
Уже противных скал достиг,
Уже хватается за них...
Вдруг волны глухо зашумели,
И слышен отдаленный стон...
На дикий брег выходит он,
Глядит назад... брега яснели
И опененные белели;
Но нет черкешенки младой
Ни у брегов, ни под горой...
Все мертво... на брегах уснувших
Лишь ветра слышен легкий звук,
И при луне в водах плеснувших
Струистый исчезает круг.

Все понял он. Прощальным взором
Объемлет он в последний раз
Пустой аул с его забором,
Поля, где пленный стадо пас,
Стремнины, где влачил оковы,
Ручей, где в полдень отдыхал,
Когда в горах черкес суровый
Свободы песню запевал.

Редел на небе мрак глубокий,
Ложился день на темный дол,
Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный пленник шел,
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

Цыганы

(Отрывки)

Восток, денницей озаренный,
Сиял. Алеко за холмом,
С ножом в руках, окровавленный
Сидел на камне гробовом.
Два трупа перед ним лежали;
Убийца страшен был лицом;
Цыганы робко окружали
Его встревоженной толпой;
Могилу в стороне копали,
Шли жены скорбной чередой
И в очи мертвых целовали.
Старик отец один сидел
И на погибшую глядел
В немом бездействии печали;
Подняли трупы, понесли
И в лоно хладное земли
Чету младую положили.
Алеко издали смотрел
На все. Когда же их закрыли
Последней горстию земной,
Он молча, медленно склонился
И с камня на траву свалился.

Тогда старик, приближась, рек:
«Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам и стонов;
Но жить с убийцей не хотим.
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел — оставь же нас,
Прости! да будет мир с тобою».

Сказал, и шумною толпою
Поднялся табор кочевой

С долины страшного ночлега,
И скоро все в дали степной
Сокрылось. Лишь одна телега,
Убогим крытая ковром,
Стояла в поле роковом.
Так иногда перед зимою,
Туманной, утренней порою,
Когда подъемлется с полей
Станица поздних журавлей
И с криком вдаль на юг несется,
Пронзенный гибельным свинцом
Один печально остается,
Повиснув раненым крылом.
Настала ночь; в телеге темной
Огня никто не разложил,
Никто под крышею подъемной
До утра сном не опочил.

Борис Годунов

(Отрывки)

Царские палаты.
<...>

Ц а р ь
(входит)
Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе. Не так ли
Мы смолоду влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж, охладев, скучаем и томимся?..
Напрасно мне кудесники сулят
Дни долгие, дни власти безмятежной —
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —

Но отложил пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна,
Они любить умеют только мертвых.
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше!
Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы –
Они ж меня, беснуясь, проклинали!
Пожарный огнь их домы истребил,
Я выстроил им новые жилища.
Они ж меня пожаром упрекали!
Вот черни суд: ищи ж ее любви.
В семье моей я мнил найти отраду,
Я дочь мою мнил осчастливить браком –
Как буря, смерть уносит жениха...
И тут молва лукаво нарекает
Виновником дочернего вдовства
Меня, меня, несчастного отца!..
Кто ни умрет, я всех убийца тайный:
Я ускорил Феодора кончину,
Я отравил свою сестру царицу,
Монахиню смиренную... все я!
Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою.
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося,
Тогда – беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

<...>

Площадь перед собором в Москве.

Народ.

Один

Скоро ли царь выйдет из собора?

Другой

Обедня кончилась; теперь идет молебствие.

Первый

Что? уж проклинали *того*?

Другой

Я стоял на паперти и слышал, как диакон завопил:
Гришка Отрепьев – анафема!

Первый

Пускай себе проклинают; царевичу дела нет до Отрепьева.

Другой

А царевичу поют теперь вечную память.

Первый

Вечную память живому! Вот ужо им будет, безбожникам.

Третий

Чу! шум. Не царь ли?

Четвертый

Нет; это юродивый.

Входит юродивый в железной шапке, обвешанный веригами, окруженный мальчишками.

Мальчишки

Николка, Николка – железный колпак!.. тр р р р р...

Старуха

Отвяжитесь, бесенята, от блаженного. – Помолись, Николка, за меня грешную.

Юродивый

Дай, дай, дай копеечку.

Старуха

Вот тебе копеечка; помяни же меня.

Юродивый

(садится на землю и поет)

Месяц светит,
Котенок плачет,
Юродивый, вставай,
Богу помолися!

Мальчишки окружают его снова.

Один из них

Здравствуй, Николка; что же ты шапки не снимаешь? *(Щелкает его по железной шапке.)* Эк она звонит!

Юродивый

А у меня копеечка есть.

Мальчишка

Неправда! ну покажи.

(Вырывает копеечку и убегает.)

Юродивый

(плачет)

Взяли мою копеечку; обижают Николку!

Народ

Царь, царь идет.

Царь выходит из собора.
Боярин впереди раздает нищим милостыню. Бояре.

Юродивый

Борис, Борис! Николку дети обижают.

Царь

Подать ему милостыню. О чем он плачет?

Юродивый

Николку маленькие дети обижают... Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича.

Бояре

Поди прочь, дурак! схватите дурака!

Царь

Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка.

(Уходит.)

Юродивый

(ему вслед)

Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит.

Моцарт и Сальери

(Отрывки)

СЦЕНА I

Комната.

Сальери

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.
Родился я с любовию к искусству;
Ребенком будучи, когда высоко
Звучал орган в старинной церкви нашей,
Я слушал и заслушивался — слезы
Невольные и сладкие текли.
Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолел
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;

Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Я стал творить, но в тишине, но втайне,
Не смея помышлять еще о славе.
Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон и пищу,
Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, с легким дымом исчезали.
Что говорю? Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?
Усильным, напряженным постоянством
Я наконец в искусстве безграничном
Достигнул степени высокой. Слава
Мне улыбнулась; я в сердцах людей
Нашел созвучия своим созданьям.
Я счастлив был: я наслаждался мирно
Своим трудом, успехом, славой; также
Трудами и успехами друзей,
Товарищей моих в искусстве дивном.
Нет! никогда я зависти не знал,
О, никогда! — нижé, когда Пиччини
Пленить умел слух диких парижан,
Нижé, когда услышал в первый раз
Я Ифигении[1] начальны звуки.
Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,
Змеей, людьми растоптанною, вживе

[1] «Ифигения в Авлиде», опера Глюка.

Песок и пыль грызущею бессильно?
Никто!.. А ныне — сам скажу — я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую.— О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Входит Моцарт.

<...>

СЦЕНА II

Особая комната в трактире; фортепиано.
Моцарт и Сальери за столом.

Сальери

Что ты сегодня пасмурен?

Моцарт

Я? Нет!

Сальери

Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?
Обед хороший, славное вино,
А ты молчишь и хмуришься.

Моцарт

Признаться,
Мой Requiem меня тревожит.

Сальери

А!
Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?

Моцарт

Давно, недели три. Но странный случай...
Не сказывал тебе я?

Сальери

Нет.

Моцарт

Так слушай.
Недели три тому, пришел я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего — не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? Назавтра тот же
Зашел и не застал опять меня.
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
И стал писать — и с той поры за мною
Не приходил мой черный человек;
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem. Но между тем я...

Сальери

Что?

Моцарт

Мне совестно признаться в этом...

Сальери

В чем же?

Моцарт

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.

Сальери

И, полно! что за страх ребячий?

Рассей пустую думу. Бомарше
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

Моцарт

Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него «Тарара»[1] сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив...
Я все твержу его, когда я счастлив...
Ла ла ла ла... Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

Сальери

Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.

Моцарт

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Сальери

Ты думаешь?
(Бросает яд в стакан Моцарта.)
Ну, пей же.

Моцарт

За твое
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.
(Пьет.)

Сальери

Постой,
Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?

[1] Опера Сальери на слова Бомарше.

Моцарт

(бросает салфетку на стол)

Довольно, сыт я.

(Идет к фортепиано.)

Слушай же, Сальери,
Мой Requiem.

(Играет.)

Ты плачешь?

Сальери

Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы.
Не замечай их. Продолжай, спеши
Еще наполнить звуками мне душу...

Моцарт

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!

Сальери

До свиданья.

(Один.)

Ты заснешь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?[1]

1830

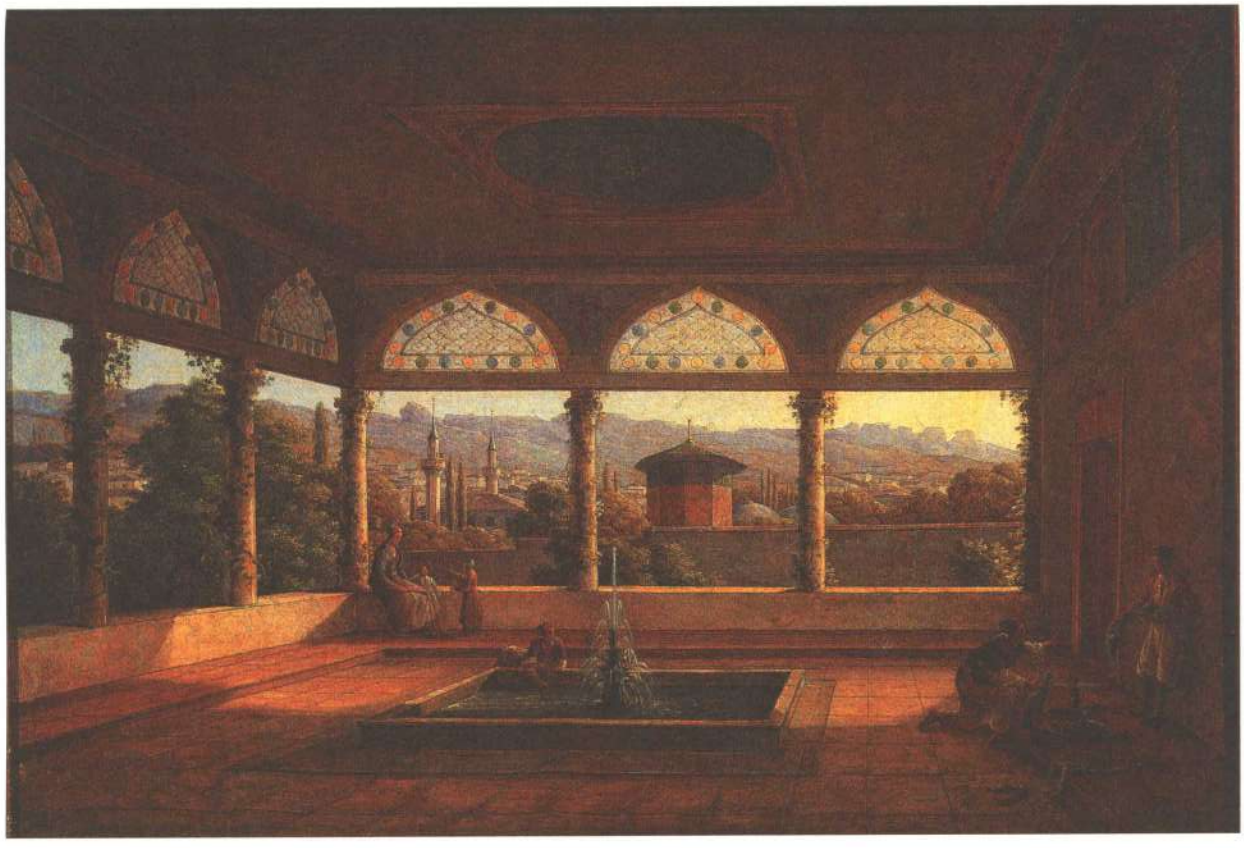
[1] Существует предание, что Микеланджело умертвил натурщика, чтобы естественнее изобразить умирающего Христа.



Портрет А.С. Пушкина. *Художник О.А. Кипренский.* 1827 г.



Москва. Вид на Кремль. *Художник С. Воробьев.* 1820-е гг.



Бахчисарайский дворец. *Художник Н.Г. Чернецов.* 1837 г.



Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.
Художник К.И. Кольман. 1830-е гг.



Портрет императора Николая I. *Художник Ф. Крюгер.* 1851 г.



Тифлис. *Художник Н.Г. Чернецов.* 1839 г.



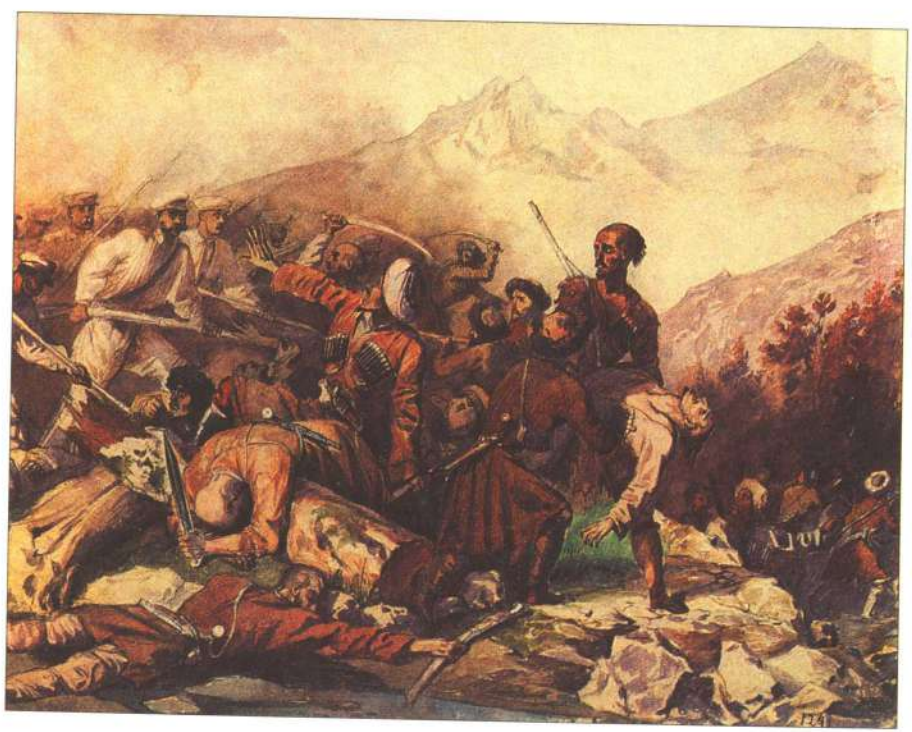
Башня в Сиони. *Художник М.Ю. Лермонтов.* 1837—1838 гг.



Портрет М.Ю. Лермонтова. *Художник П.Е. Заболотский.* 1837 г.



Тамань. Домик над обрывом.
Рисунок М.Ю. Лермонтова. 1837 г.



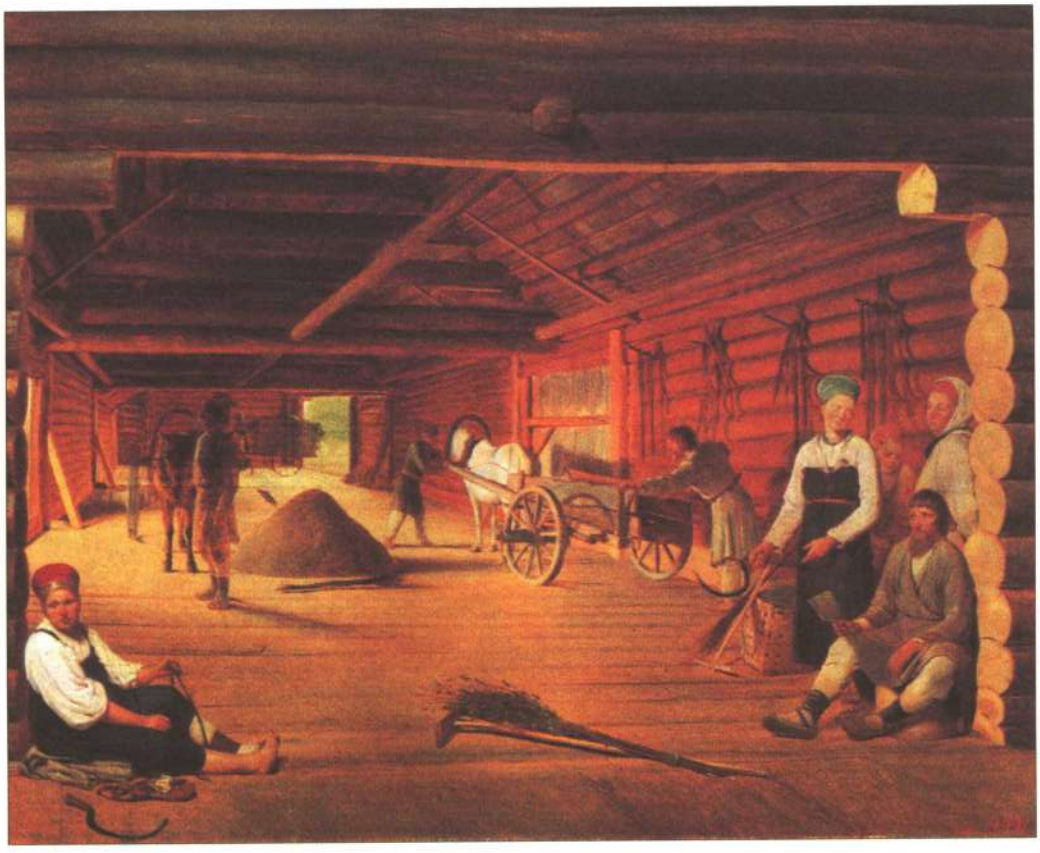
Эпизод из сражения при Валерике 11 июля 1840 года.
Рисунок М.Ю. Лермонтова, раскрашенный Г.Г. Гагариным. 1840 г.



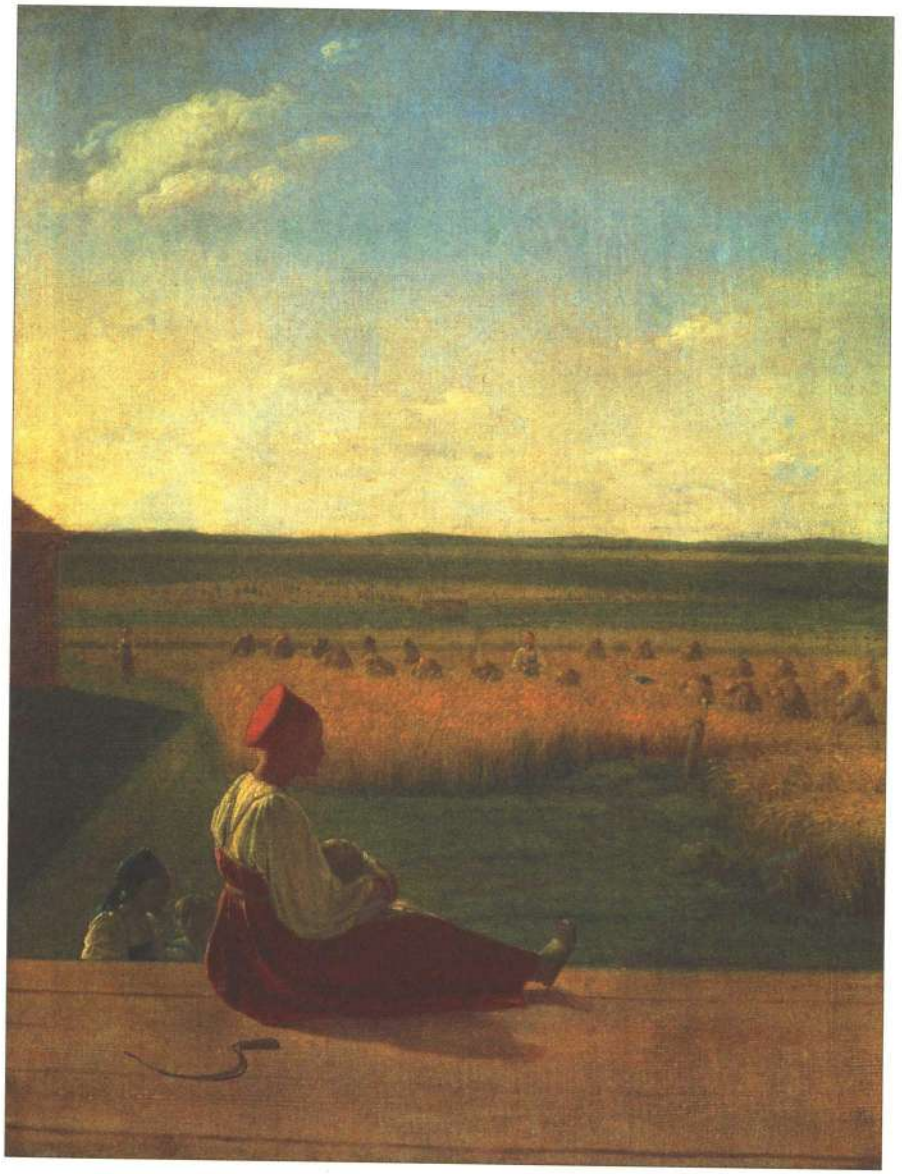
Бал у кн. М.Ф. Барятинской. *Художник Г.Г. Гагарин.* 1830-е гг.



Пляшущие мужики. *Художник А.О. Орловский.* 1826 г.



Гумно. *Художник А.Г. Венецианов.* 1822—1823 гг.



На жатве. Лето. *Художник А.Г. Венецианов.* Середина 1820-х гг.



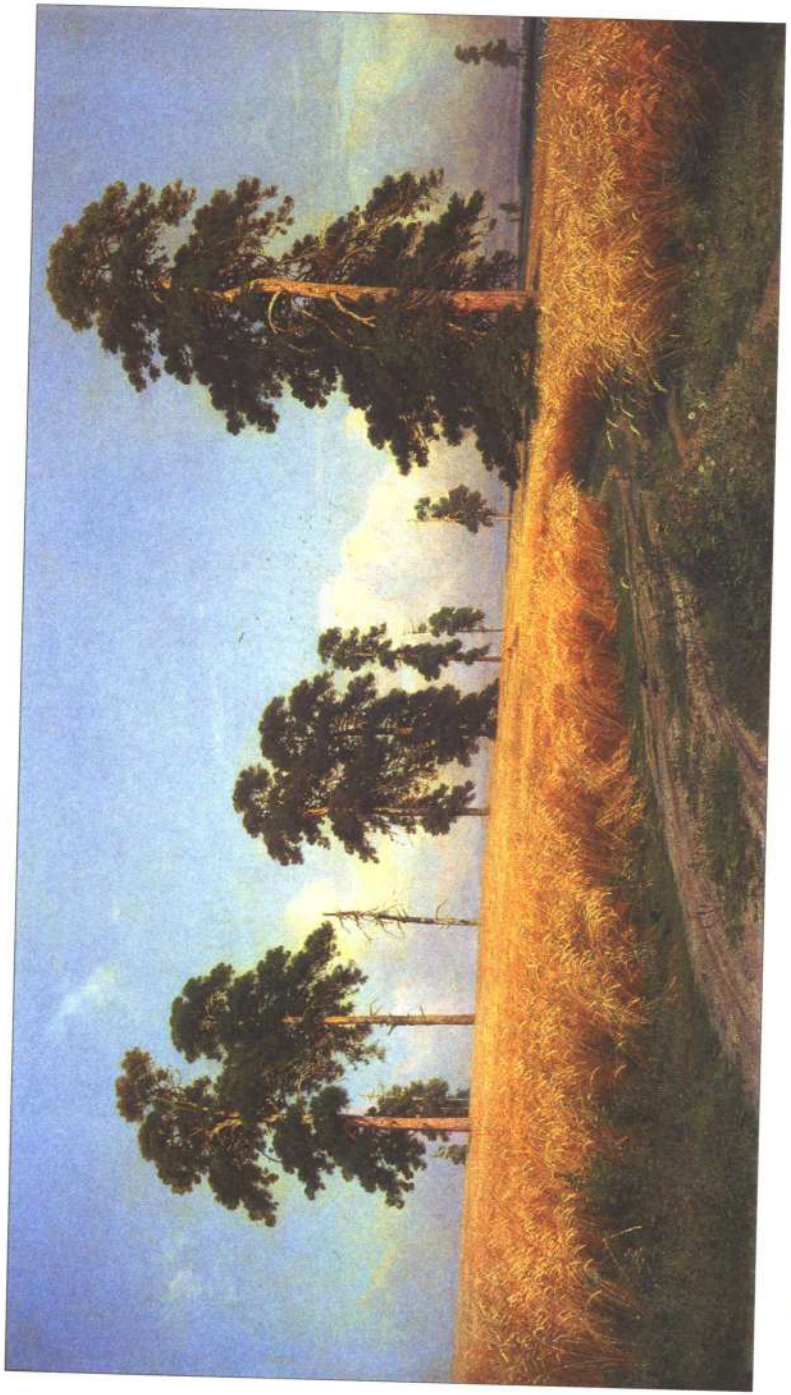
Портрет Н.В. Гоголя. *Художник Ф.А. Моллер.* 1840 г.



Рыбаки. *Художник Г.В. Сорока.* 2-я половина 1840-х гг.



Вид на усадьбу Спасское Тамбовской губернии. *Художник Г.В. Сорока.* 1840-е гг.



Рожь. Художник И.И. Шишкин. 1878 г.

Евгений Онегин
(Отрывки)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

И жить торопится и чувствовать спешит.
Кн. Вяземский

I

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, Боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»



Художник В.В. Гельмерсен. 1910-е гг.

II

Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня[1].

III

Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Судьба Евгения хранила:
Сперва *Madame* за ним ходила,
Потом *Monsieur* ее сменил.
Ребенок был резов, но мил.
Monsieur l'Abbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.

IV

Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора.
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде,

[1] Писано в Бессарабии. *Здесь и далее примеч. А.С. Пушкина.*

Как dandy[2] лондонский одет —
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.
<...>

XXXVII

Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели.



На этой и следующих страницах иллюстрации к роману — *художник Н.В. Кузьмин*. 1928—1932 гг.

[2] Dandy, франт.

Затем, что не всегда же мог
Beef-steaks и стразбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова;
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань, и саблю, и свинец.

XXXVIII

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому *сплину*,
Короче: русская *хандра*
Им овладела понемногу,
Он застрелиться, слава Богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.
Как *Child-Harold*, угрюмый, томный
В гостиных появлялся он;
Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего.
<...>

XLV

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

XLVI

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований.
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.
<...>



LIV

Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

LV

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины:
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвятясь невинным,
Брожу над озером пустынным,
И *far niente** мой закон.

* Безделье, праздность (*ит.*).

Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, долго сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?

LVI

Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! я предан вам душой.
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.
<...>



ГЛАВА ВТОРАЯ

<...>

IV

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чудак.

V

Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышит их домашни дроги, —
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч, сумасбродит,
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино,
Он дамам к ручке не подходит;
Все *да* да *нет*; не скажет *да-с*
Иль *нет-с*». Таков был общий глас.

VI

В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал
И столь же строгому разбору
В соседстве повод подавал.
По имени Владимир Ленский,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.



VII

От хладного разврата света
Еще увянуть не успев,
Его душа была согрета
Приветом друга, лаской дев.
Он сердцем милый был невежда,
Его лелеяла надежда,
И мира новый блеск и шум
Еще пленяли юный ум.

Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего:
Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой,
Над ней он голову ломал
И чудеса подозревал.
<...>

XII

Богат, хорош собою, Ленский
Везде был принят как жених;
Таков обычай деревенский;
Все дочек прочили своих
За *полурусского соседа*;
Взойдет ли он, тотчас беседа
Заводит слово стороной
О скуке жизни холостой;
Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай,
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару:
И запищит она (Бог мой!):
Приди в чертог ко мне златой!..[12]



XIII

Но Ленский, не имев, конечно,
Охоты узы брака несть,
С Онегиным желал сердечно
Знакомство покороче свесть.
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом поправились; потом
Съезжались каждый день верхом
И скоро стали неразлучны.
Так люди (первый каюсь я)
От *делать нечего* друзья.

[12] Из первой части Днепровской русалки.

XIV

Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.
Сноснее многих был Евгений;
Хоть он людей, конечно, знал
И вообще их презирал, —
Но (правил нет без исключений)
Иных он очень отличал
И вчуже чувство уважал.
<...>

XXIII



Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила;
Глаза, как небо, голубые,
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан,
Всё в Ольге... но любой роман
Возьмите и найдете верно
Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.
Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.

XXIV

Ее сестра звалась Татьяна...[13]
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно;

[13] Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например, Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами.

Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещенье не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство, — больше ничего.

XXV

Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.
<...>

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

<...>

ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ К ОНЕГИНУ

Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,

Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне все вам скучно,
А мы... ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.

Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан Богом,
До гроба ты хранитель мой...
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно... нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой услаждала



Тоску волнуемой души?
И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?
Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искуситель:
Мои сомненья разреши.
Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души!
И суждено совсем иное...
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.
Я жду тебя: единым взором
Надежды сердца оживи
Иль сон тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором!

Кончаю! Страшно перечесть...
Стыдом и страхом замираю...
Но мне порукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю...
<...>

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

<...>

XI

Но, получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой

И бледный цвет и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.
Быть может, чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.
Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.



XII

Минуты две они молчали,
Но к ней Онегин подошел
И молвил: «Вы ко мне писали,
Не отпирайтесь. Я прочел
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излиянья;
Мне ваша искренность мила;
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства;
Но вас хвалить я не хочу;
Я за нее вам отплачу
Признаньем также без искусства;
Примите исповедь мою:
Себя на суд вам отдаю.

XIII

Когда бы жизнь домашним кругом
Я ограничить захотел;
Когда б мне быть отцом, супругом
Приятный жребий повелел;
Когда б семейственной картиной
Пленился я хоть миг единый, –
То верно б, кроме вас одной,
Невесты не искал иной.
Скажу без блесток мадригальных:
Нашед мой прежний идеал,
Я верно б вас одну избрал
В подруги дней моих печальных,
Всего прекрасного в залог,
И был бы счастлив... сколько мог!

XIV

Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе не достоин я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас;
Начнете плакать: ваши слезы
Не тронут сердца моего, —
А будут лишь бесить его.
Судите ж вы, какие розы
Нам заготовит Гименей
И, может быть, на много дней.

XV

Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже
И днем и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу, однако ж, проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!
Таков я. И того ль искали
Вы чистой, пламенной душой,
Когда с такою простотой,
С таким умом ко мне писали?
Ужели жребий вам такой
Назначен строгою судьбой?

XVI

Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...
Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней.
Послушайте ж меня без гнева:
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы

Меняет с каждою весною.
Так, видно, небом суждено.
Полюбите вы снова: но...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет».
<...>

ГЛАВА ПЯТАЯ

<...>

XI

И снится чудный сон Татьяне.
Ей снится, будто бы она
Идет по снеговой поляне,
Печальной мглой окружена;
В сугробах снежных перед нею
Шумит, клубит волной своею
Кипучий, темный и седой
Поток, не скованный зимой;
Две жердочки, склеены льдиной,
Дрожащий, гибельный мосток,
Положены через поток;
И пред шумящею пучиной,
Недоумения полна,
Остановилася она.

XII

Как на досадную разлуку,
Татьяна ропщет на ручей;
Не видит никого, кто руку
С той стороны подал бы ей;
Но вдруг сугроб зашевелился.
И кто ж из-под него явился?
Большой, взъерошенный медведь;
Татьяна ах! а он реветь,
И лапу с острыми когтями
Ей протянул; она скрепясь
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливыми шагами
Перебралась через ручей;
Пошла — и что ж? медведь за ней!



XIII

Она, взглянуть назад не смея,
Поспешный ускоряет шаг;
Но от косматого лакея
Не может убежать никак;
Кряхтя, валит медведь несносный;
Пред ними лес; недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осин, берез и лип нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.

XIV

Татьяна в лес; медведь за нею;
Снег рыхлый по колено ей;
То длинный сук ее за шею
Зацепит вдруг, то из ушей
Златые серьги вырвет силой;
То в хрупком снеге с ножки милой

Увязнет мокрый башмачок;
То выронит она платок;
Поднять ей некогда; боится,
Медведя слышит за собой,
И даже трепетной рукой
Одежды край поднять стыдится;
Она бежит, он все вослед:
И сил уже бежать ей нет.

XV

Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;
Она бесчувственно-покорна,
Не шевельнется, не дохнет;
Он мчит ее лесной дорогой;
Вдруг меж дерев шалаш убогой;
Кругом все глушь; отвсюду он
Пустынным снегом занесен,
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик и шум;
Медведь промолвил: «Здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!»
И в сени прямо он идет
И на порог ее кладет.

XVI

Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах;
Не видя тут ни капли толку,
Глядит она тихонько в щелку,
И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.

XVII

Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет;
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ! [31]
Но что подумала Татьяна,
Когда узнала меж гостей
Того, кто мил и страшен ей,
Героя нашего романа!
Онегин за столом сидит
И в дверь украдкою глядит.

XVIII

Он знак подаст: и все хлопочут;
Он пьет: все пьют и все кричат;
Он засмеется: все хохочут;
Нахмурит брови: все молчат;
Так, он хозяин, это ясно.
И Тане уж не так ужасно,
И любопытная теперь
Немного растворила дверь...
Вдруг ветер дунул, загашая
Огонь светильников ночных;
Смутилась шайка домовых;
Онегин, взорами сверкая,
Из-за стола гремя встает;
Все встали; он к дверям идет.

XIX

И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бежать:
Нельзя никак; нетерпеливо
Метаясь, хочет закричать:

[31] В журналах осуждали слова: *хлоп*, *молвь* и *топ* как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские <...>

Не может; дверь толкнул Евгений:
И взорам адских привидений
Явилась дева; ярый смех
Раздался дико; очи всех,
Копыты, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, клыки,
Усы, кровавы языки,
Рога и пальцы костяные,
Всё указует на нее.
И все кричат: мое! мое!

XX

Мое! — сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг;
Осталася во тьме морозной
Младая дева с ним сам-друг;
Онегин тихо увлекает [32]
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью
И клонит голову свою
К ней на плечо; вдруг Ольга входит,
За нею Ленский: свет блеснул;
Онегин руку замахнул,
И дико он очами бродит,
И незваных гостей бранит;
Татьяна чуть жива лежит.

XXI

Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленский; страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался... хижина шатнулась...
И Таня в ужасе проснулась...
Глядит, уж в комнате светло:
В окне сквозь мерзлое стекло
Зари багряный луч играет;

[32] Один из наших критиков, кажется, находит в этих списках непонятную для нас неблагопристойность.

Дверь отворилась. Ольга к ней,
Авроры северной алей
И легче ласточки, влетает;
«Ну, — говорит, — скажи ж ты мне,
Кого ты видела во сне?»
<...>

XXVI

С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов;
Уездный франтик Петушков,
Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком [35]
(Как вам, конечно, он знаком),
И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.
<...>

XLI

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.
К минуте мщенья приближаясь,
Онегин, втайне усмехаясь,
Подходит к Ольге. Быстро с ней
Вертится около гостей,
Потом на стул ее сажает,
Заводит речь о том о сем;

[35] Буянов, мой сосед,
. . . . . .
Пришел ко мне вчера с небритыми усами,
Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком...
(Опасный сосед)

Спустя минуты две потом
Вновь с нею вальс он продолжает;
Все в изумленье. Ленский сам
Не верит собственным глазам.
<...>

ГЛАВА ШЕСТАЯ

XXVI



Опершись на плотину, Ленский
Давно нетерпеливо ждал;
Меж тем, механик деревенский,
Зарецкий жернов осуждал.
Идет Онегин с извиненьем.
«Но где же, — молвил с изумленьем
Зарецкий, — где ваш секундант?»
В дуэлях классик и педант,
Любил методу он из чувства,
И человека растянуть
Он позволял — не как-нибудь,
Но в строгих правилах искусства,
По всем преданьям старины
(Что похвалить мы в нем должны).

XXVII

«Мой секундант? — сказал Евгений, —
Вот он: мой друг, monsieur Guillot.
Я не предвижу возражений
На представление мое:
Хоть человек он неизвестный,
Но уж конечно малый честный».
Зарецкий губу закусил.
Онегин Ленского спросил:
«Что ж, начинать?» — Начнем, пожалуй, —
Сказал Владимир. И пошли
За мельницу. Пока вдали
Зарецкий наш и честный малый
Вступили в важный договор,
Враги стоят, потупя взор.

XXVIII

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно...
Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтиться ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Боится ложного стыда.



XXIX

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще. За ближний пень
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.

XXX

«Теперь сходитесь».
Хладнокровно,
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,

Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов еще ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить — но как раз
Онегин выстрелил... Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,

XXXI

На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его... напрасно:
Его уж нет. Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..

XXXII

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен;
Дымясь, из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь:
Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окны мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, Бог весть. Пропал и след.

XXXIII

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится;
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!
Еще приятнее в молчанье
Ему готовить честный гроб
И тихо целить в бледный лоб
На благородном расстоянье;
Но отослать его к отцам
Едва ль приятно будет вам.

XXXIV

Что ж, если вашим пистолетом
Сражен приятель молодой,
Нескромным взглядом, иль ответом
Или безделицей иной
Вас оскорбивший за бутылкой,
Иль даже сам в досаде пылкой
Вас гордо вызвавший на бой,
Скажите: вашею душой
Какое чувство овладеет,
Когда недвижим, на земле
Пред вами с смертью на челе,
Он постепенно костенеет,
Когда он глух и молчалив
На ваш отчаянный призыв?

XXXV

В тоске сердечных угрызений,
Рукою стиснув пистолет,
Глядит на Ленского Евгений.
«Ну, что ж? убит», — решил сосед.
Убит!.. Сим страшным восклицаньем
Сражен, Онегин с содроганьем
Отходит и людей зовет.

Зарецкий бережно кладет
На сани труп оледенелый;
Домой везет он страшный клад.
Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели как стрела.

XXXVI

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

XXXVII

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благо[illegible]овение племен.

XXXVIII. XXXIX

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне счастлив и рогат
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.
<...>

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать?

Дмитриев

Как не любить родной Москвы?

Баратынский

Гоненье на Москву! что значит видеть свет!
Где ж лучше?
Где нас нет.

Грибоедов

I

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;

Синея блещут небеса.
Еще прозрачные леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.
<...>



XX

Татьяна долго в келье модной
Как очарована стоит.
Но поздно. Ветер встал холодный.
Темно в долине. Роща спит
Над отуманенной рекою;
Луна сокрылась за горою,
И пилигримке молодой
Пора, давно пора домой.
И Таня, скрыв свое волненье,
Не без того, чтоб не вздохнуть,
Пускается в обратный путь.
Но прежде просит позволенья
Пустынный замок навещать,
Чтоб книжки здесь одной читать.

XXI

Татьяна с ключницей простилась
За воротами. Через день
Уж утром рано вновь явилась
Она в оставленную сень,
И в молчаливом кабинете,
Забыв на время все на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася,
Сперва ей было не до них,
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.

XXII

Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтенье разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил:
Певца Гяура и Жуана
Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

XXIII

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.

XXIV

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава Богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,

Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
<...>



XLIV

И вот: по родственным обедам
Развозят Таню каждый день
Представить бабушкам и дедам
Ее рассеянную лень.
Родне, прибывшей издалеча,
Повсюду ласковая встреча,
И восклицанья, и хлеб-соль.
«Как Таня выросла! Давно ль
Я, кажется, тебя крестила?
А я так на руки брала!
А я так за уши драла!
А я так пряником кормила!»
И хором бабушки твердят:
«Как наши годы-то летят!»

XLV

Но в них не видно перемены;
Все в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна,
Все то же лжет Любовь Петровна,
Иван Петрович так же глуп,
Семен Петрович так же скуп,
У Пелагеи Николавны
Все тот же друг мосье Финмуш,
И тот же шпиц, и тот же муж:
А он, все клуба член исправный,
Все так же смирен, так же глух
И так же ест и пьет за двух.

XLVI

Их дочки Таню обнимают.
Младые грации Москвы
Сначала молча озирают
Татьяну с ног до головы;
Ее находят что-то странной,
Провинциальной и жеманной,
И что-то бледной и худой,
А впрочем очень недурной;
Потом, покорствуя природе,
Дружатся с ней, к себе ведут,
Целуют, нежно руки жмут,
Взбивают кудри ей по моде
И поверяют нараспев
Сердечны тайны, тайны дев,

XLVII

Чужие и свои победы,
Надежды, шалости, мечты.
Текут невинные беседы
С прикрасой легкой клеветы.
Потом, в отплату лепетанья,
Ее сердечного признанья
Умильно требуют оне.
Но Таня, точно как во сне,
Их речи слышит без участья,
Не понимает ничего,
И тайну сердца своего,
Заветный клад и слез и счастья,
Хранит безмолвно между тем
И им не делится ни с кем.

XLVIII

Татьяна вслушаться желает
В беседы, в общий разговор;
Но всех в гостиной занимает
Такой бессвязный, пошлый вздор;
Все в них так бледно, равнодушно;
Они клевещут даже скучно;
В бесплодной сухости речей,

Расспросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум;
Не улыбнется томный ум,
Не дрогнет сердце, хоть для шутки.
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой.
<...>

ГЛАВА ВОСЬМАЯ



ПИСЬМО ОНЕГИНА К ТАТЬЯНЕ

Предвижу все: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!
Чего хочу? с какою целью
Открою душу вам свою?
Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю!

Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.
Еще одно нас разлучило...
Несчастной жертвой Ленский пал...
Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал;
Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,

Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

И я лишен того: для вас
Тащусь повсюду наудачу;
Мне дорог день, мне дорог час:
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни.
И так уж тягостны они.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной —
И слышу гневный ваш укор.
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Все, все, что выразить бы мог,
А между тем притворным хладом
Вооружать и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас веселым взглядом!..

Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе.
<...>

XXXIX

Дни мчались; в воздухе нагретом
Уж разрешалася зима;

И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошел с ума.
Весна живит его: впервые
Свои покои запертые,
Где зимовал он, как сурок,
Двойные окны, камелек
Он ясным утром оставляет,
Несется вдоль Невы в санях.
На синих, иссеченных льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег.
Куда по нем свой быстрый бег

XL

Стремит Онегин? Вы заране
Уж угадали; точно так:
Примчался к ней, к своей Татьяне
Мой неисправленный чудак.
Идет, на мертвеца похожий,
Нет ни одной души в прихожей.
Он в залу; дальше: никого.
Дверь отворил он. Что ж его
С такою силой поражает?
Княгиня перед ним, одна,
Сидит, не убрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.

XLI

О, кто б немых ее страданий
В сей быстрый миг не прочитал!
Кто прежней Тани, бедной Тани
Теперь в княгине б не узнал!
В тоске безумных сожалений
К ее ногам упал Евгений;
Она вздрогнула и молчит;
И на Онегина глядит
Без удивления, без гнева...
Его больной, угасший взор,
Молящий вид, немой укор,

Ей внятно все. Простая дева,
С мечтами, сердцем прежних дней,
Теперь опять воскресла в ней.



XLII

Она его не подымает
И, не сводя с него очей,
От жадных уст не отымает
Бесчувственной руки своей.
О чем теперь ее мечтанье?
Проходит долгое молчанье,
И тихо наконец она:
«Довольно; встаньте. Я должна
Вам объясниться откровенно.
Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя.

XLIII

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? одну суровость.
Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
И нынче — Боже! — стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И эту проповедь... Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

XLIV

Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?

Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь?

XLV

Я плачу... если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам...
А нынче! — что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

XLVI

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

XLVII

А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».

XLVIII

Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
Но шпор незапный звон раздался,
И муж Татьянин показался,
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда. За ним
Довольно мы путем одним
Бродили по́ свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!
<...>

L

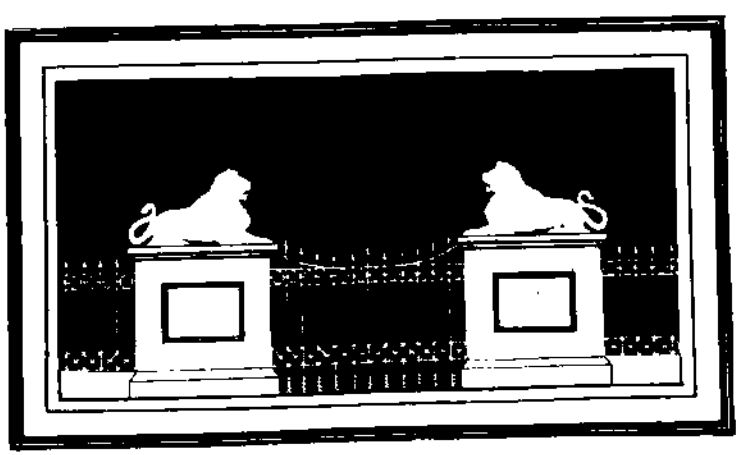
Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд. Я с вами знал
Все, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей,

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.

LI

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О много, много рок отъял!
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

Конец



Художник В.В. Гельмерсен. 1910-е гг.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

Мой демон

Собранье зол его стихия.
Носясь меж дымных облаков,
Он любит бури роковые,
И пену рек, и шум дубров.
Меж листьев желтых, облетевших,
Стоит его недвижный трон;
На нем, средь ветров онемевших,
Сидит уныл и мрачен он.
Он недоверчивость вселяет,
Он презрел чистую любовь,
Он все моленья отвергает,
Он равнодушно видит кровь,
И звук высоких ощущений
Он давит голосом страстей,
И муза кротких вдохновений
Страшится неземных очей.

1829

Монолог

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешние растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное теченье...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует...

Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.

Нищий

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

1830

Благодарю!

Благодарю! вчера мое признанье
И стих мой ты без смеха приняла;
Хоть ты страстей моих не поняла,
Но за твое притворное вниманье
Благодарю!
В другом краю ты некогда пленяла,
Твой чудный взор и острота речей
Останутся навек в душе моей,
Но не хочу, чтобы ты мне сказала:
Благодарю!
Я б не желал умножить в цвете жизни
Печальную толпу твоих рабов

И от тебя услышать, вместо слов
Язвительной, жестокой укоризны:
Благодарю!
О, пусть холодность мне твой взор укажет,
Пусть он убьет надежды и мечты
И всё, что в сердце возродила ты;
Душа моя тебе тогда лишь скажет:
Благодарю!

Ангел

По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

1831

К***

Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.

Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней.
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
Быть может, мыслию небесной
И силой духа убежден,
Я дал бы миру дар чудесный,
А мне за то бессмертье он?
Зачем так нежно обещала
Ты заменить его венец,
Зачем ты не была сначала,
Какою стала наконец!
Я горд! — прости! люби другого,
Мечтай любовь найти в другом;
Чего б то ни было земного
Я не соделаюсь рабом.
К чужим горам, под небо юга
Я удалюся, может быть;
Но слишком знаем мы друг друга,
Чтобы друг друга позабыть.
Отныне стану наслаждаться
И в страсти стану клясться всем;
Со всеми буду я смеяться,
А плакать не хочу ни с кем;
Начну обманывать безбожно,
Чтоб не любить, как я любил, —
Иль женщин уважать возможно,
Когда мне ангел изменил?
Я был готов на смерть и муку
И целый мир на битву звать,
Чтобы твою младую руку —
Безумец! — лишний раз пожать!
Не зн[illegible] коварную измену,

Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену?
Ты знала — я тебя не знал!

1832

* * *

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или Бог — или никто!

1832

Смерть Поэта

Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели его злодеи в ней пример.

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света

Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... — он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалёка,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что́ он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

1837

Узник

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня!

Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую.
На коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу.

Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжелая с замком;
Черноокая далеко,
В пышном тереме своем,
Добрый конь в зеленом поле;
Без узды, один, по воле
Скачет, весел и игрив,
Хвост по ветру распустив.

Одинок я — нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампады
Умирающим огнем;
Только слышно: за дверями
Звучно-мерными шагами
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.

1837

* * *

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, —

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...

1837

Молитва

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную —
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

1837

Дума

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,

И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию — презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, боясь пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства —
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

1838

Поэт

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал —
Наследье бранного востока.

Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провел он страшный след
И не одну прорвал кольчугу.

Забавы он делил послушнее раба,
Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным.

Он взят за Тереком отважным казаком
На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
В походной лавке армянина.

Теперь родных ножон, избитых на войне,
Лишен героя спутник бедный;
Игрушкой золотой он блещет на стене —
Увы, бесславный и безвредный!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
Никто с усердьем не читает...

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как Божий Дух, носился над толпой;
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык, —
Нас тешат блестки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...

Проснешься ль ты сиять, осмеянный пророк?
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?

1838

Молитва

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

1839

* * *

1-е января

Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шепоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски,

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки, —
Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.

И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться, — памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.

И странная тоска теснит уж грудь мою:
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.

Так царства дивного всесильный господин —
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне

Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей
Цветет на влажной их пустыне.

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник нéзваную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

1840

И скучно и грустно

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят — все лучшие годы!

Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно...

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка...

1840

Пленный рыцарь

Молча сижу под окошком темницы;
Синее небо отсюда мне видно:
В небе играют всё вольные птицы;
Глядя на них, мне и больно и стыдно.

Нет на устах моих грешной молитвы,
Нету ни песни во славу любезной:
Помню я только старинные битвы,
Меч мой тяжелый да панцирь железный.

В каменный панцирь я ныне закован,
Каменный шлем мою голову давит,
Щит мой от стрел и меча заколдован,
Конь мой бежит, и никто им не правит.

Быстрое время — мой конь неизменный,
Шлема забрало — решетка бойницы,
Каменный панцирь — высокие стены,
Щит мой — чугунные двери темницы.

Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой бронею мне стало!
Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало.

1840

* * *

Из-под таинственной холодной полумаски
Звучал мне голос твой отрадный, как мечта,
Светили мне твои пленительные глазки
И улыбалися лукавые уста.

Сквозь дымку легкую заметил я невольно
И девственных ланит и шеи белизну.
Счастливец! видел я и локон своевольный,
Родных кудрей покинувший волну!..

И создал я тогда в моем воображенье
По легким признакам красавицу мою:
И с той поры бесплотное виденье
Ношу в душе моей, ласкаю и люблю.

И всё мне кажется: живые эти речи
В года минувшие слыхал когда-то я;
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи
Мы вновь увидимся, как старые друзья.

1841

Родина

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям:
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

1841

Листок

Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И вот наконец докатился до Черного моря.

У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская;
На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь-девицы.

И странник прижался у корня чинары высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой,
И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных,
Немало я знаю рассказов мудреных и чудных».

«На что мне тебя? — отвечает младая чинара, —
Ты пылен и желт, — и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал — да к чему мне твои небылицы?
Мой слух утомили давно уж и райские птицы.

Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
И корни мои умывает холодное море».

1841

* * *

1

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

3

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

4

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

5

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

1841

Пророк

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи;

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами.
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

1841

Герой нашего времени

(Отрывки)

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень

тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж Бог знает!

Часть первая

I

БЭЛА

<...>

— Его звали... Григорьем Александровичем *Печориным*. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут — а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зат уж иногда как начнет рассказывать, так животики на-

дорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями, и, должно быть, богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещиц!..

— А долго он с вами жил? — спросил я опять.

— Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

— Необыкновенные? — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

— А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирно́й князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: всякий день, бывало, то за тем, то за другим. И уж точно, избаловали мы его с Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, — говорил я ему, — яман[1] будет твоя башка!»

Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», — сказал мне Григорий Александрович. «Погодите!» — отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме. У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.

— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана; потом дарят молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?.. вроде комплимента.

— А что ж такое она пропела, не помните ли?

— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложил руку ко лбу и сердцу и просил меня отвечать ей, я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну что, какова?» — «Прелесть! — отвечал он. — А как ее зовут?» — «Ее зовут Бэлою», — отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной! из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. Он, знаете, был не то, чтоб мирно́й, не то, чтоб немирно́й. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он проводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай; хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена — как собака бегает за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

[1] Плохо (*тюрк.*).

<...>

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил... Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, — только он притворялся, будто не слышит.

— Господин прапорщик! — сказал я как можно строже. — Разве вы не видите, что я к вам пришел?

— Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? — отвечал он, не приподнимаясь.

— Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая мучит меня забота!

— Я все знаю, — отвечал я, подошед к кровати.

— Тем лучше: я не в духе рассказывать.

— Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать...

— И, полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам.

— Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!

— Митька, шпагу!..

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел к нему на кровать и сказал:

— Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо.

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся, — сказал я ему.

— Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.

— Вовсе не надо!

— Да он узнает, что она здесь?

— А как он узнает?

Я опять стал в тупик.

— Послушайте, Максим Максимыч! — сказал Печорин, приподнявшись,— ведь вы добрый человек,— а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...

— Да покажите мне ее,— сказал я.

— Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит:

пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня,— прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился... Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться.

— А что? — спросил я у Максима Максимыча, — в самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе, с тоски по родине?

— Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула, — а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь: первые дни она молча гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону... Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и все грустила, напевала свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шел я мимо и заглянул в окно; Бэла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею.

— Послушай, моя пери, — говорил он, — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею, — отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас отпущу домой. — Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. — Или, — продолжал он,— я тебе совершенно ненавистен? — Она вздохнула. — Или твоя вера запрещает полюбить меня? — Она побледнела и молчала.— Поверь мне, Аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью? — Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслию; в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля.— Послушай, милая, добрая Бэла! — продолжал Печорин, — ты видишь, как я тебя люблю; я все готов отдать, чтоб тебя развеселить: я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?

Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб она его поцеловала: она слабо защищалась и только повторяла: «Поджалуста, поджалуста, не нада, не нада». Он стал настаивать; она задрожала, заплакала.

— Я твоя пленница, — говорила она, — твоя раба; конечно, ты можешь меня принудить, — и опять слезы.

Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперед.

— Что, батюшка? — сказал я ему.

— Дьявол, а не женщина! — отвечал он, — только я вам даю мое честное слово, что она будет моя...

Я покачал головою.

— Хотите пари? — сказал он, — через неделю!

— Извольте!

Мы ударили по рукам и разошлись.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками; привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.

— Как вы думаете, Максим Максимыч! — сказал он мне, показывая подарки, - устоит ли азиатская красавица против такой батареи?

— Вы черкешенок не знаете, — отвечал я, — это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны. — Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.

А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину; она стала ласковее, доверчивее — да и только; так что он решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Бэла! — сказал он, — ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся: прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имею: если хочешь, вернись к отцу, — ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя: прощай, я еду — куда? почему я знаю! Авось недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки: тогда вспомни обо мне и прости меня». — Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль — такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал — и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, Бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтоб заплакал, а так — глупость!..

<...>

Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он переменился к этой бедной девочке; кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь ее: «О чем ты вздохнула, Бэла? ты печальна?» — «Нет!» — «Тебе чего-нибудь хочется?» — «Нет!» — «Ты тоскуешь по родным?» — «У меня нет родных». Случалось по целым дням, кроме «да» да «нет», от нее ничего больше не добьешься.

Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Максим Максимыч, — отвечал он, — у меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение — только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, — но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями, — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, — и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, — только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления, может быть, больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь — только не в Европу, избави Боже! — поеду в Америку, в

Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог». Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека, и, Бог даст, в последний... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, — вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, как порок. Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

— А всё, чай, французы ввели моду скучать?

— Нет, англичане.

— А-га, вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!

Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее: чтоб воздерживаться от вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастия происходят от пьянства.

Между тем он продолжал свой рассказ таким образом:

— Казбич не являлся снова. Только не знаю почему, я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое.

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; я долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! Однако ж утащил-таки он меня с собою. Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по камышам и по лесу, — нет зверя. «Эй, не воротиться ли? — говорил я, — к чему упрямиться? Уж, видно, такой задался несчастный день!» Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи, таков уж был человек: что задумает, подавай; видно, в детстве был маменькой избалован... Наконец в полдень отыскали проклятого кабана: паф! паф!.. не тут-то было: ушел в камыши... такой уж был несчастный день! Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости: только кустарник закрывал ее от нас. Вдруг выстрел...

Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение... Опрометью поскакали мы на выстрел, — смотрим: на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла — и туда; я за ним.

К счастию, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были все ближе и ближе... И наконец я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!..» Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.

Вот наконец мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Казбича лошадь или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего, Карагёза...

Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... «Не стреляйте! — кричу я ему, — берегите заряд; мы и так его догоним». Уж эта молодежь! вечно некстати горячится... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади; она сгоряча сделала еще прыжков десять, споткнулась и упала на колени. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрою... Это была Бэла... бедная Бэла! Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил, в свою очередь, наудачу; верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь и возле нее Бэла; а Казбич, бросив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес; хотелось мне его снять оттуда — да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями... Такой злодей: хоть бы в сердце ударил — ну, так уж и быть, одним разом все бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже; напрасно Печорин целовал ее холодные губы — ничто не могло привести ее в себя.

Печорин сел верхом; я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч; мы этак ее не довезем живую». — «Правда», — сказал я; и мы пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел: осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся...

— Выздоровела? — спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нет, — отвечал он, — а ошибся лекарь тем, что она еще два дня прожила.

— Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?

— А вот как: несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; она села на камень и опустила ноги в воду... Вот Казбич подкрался — цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! Она между тем успела закричать; часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели.

— Да зачем Казбич ее хотел увезти?

— Помилуйте! да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть; другое и не нужно, а все украдет... уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки нравилась.

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы уж с нею измучились порядком. Около десяти часов вечера она пришла в себя; мы сидели у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)», — отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру!» — сказала она.

Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; она покачала головой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, брате: ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку...

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он не мог плакать или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.

К утру бред прошел; с час она лежала неподвижная, бледная и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит; потом ей стало лучше, и она начала говорить, только как вы думаете, о чем?.. Этакая мысль придет ведь только умирающему!.. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григорья Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертию; я ей это предложил; она посмотрела на меня в нерешимости

и долго не могла слова вымолвить; наконец отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день. Как она переменилась в этот день! бледные щеки впали, глаза сделались большие, большие, губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежало раскаленное железо.

Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... Нет, она хорошо сделала, что умерла: ну, что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно...

Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как ни мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте! — говорил я ему, — ведь вы сами сказали, что она умрет непременно, так зачем тут все ваши препараты?» — «Все-таки лучше, Максим Максимыч, — отвечал он, — чтоб совесть была покойна». Хороша совесть!

После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна — но на дворе было жарче, чем в комнате; поставили льду около кровати — ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда — признак приближения конца, и сказал это Печорину. «Воды, воды!..» — говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели.

Он сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в госпиталях и на поле сражения, только это все не то, совсем не то!.. Еще, признаться, меня вот что печалит: она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а кажется, я ее любил как отец... ну, да Бог ее простит!.. И вправду молвить: что ж я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?..

Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам — гладко!.. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, заложив руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я

бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия, хотел утешить его, начал говорить: он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха... Я пошел заказывать гроб.

Признаться, я частию для развлечения занялся этим. У меня был кусок термаламы, я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накупил для нее же.

На другой день рано утром мы ее похоронили за крепостью, у речки, возле того места, где она в последний раз сидела; кругом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: все-таки она была не христианка...

— А что Печорин? — спросил я.

— Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что это ему будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в е.....й полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались, да, помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже —вероятно, для того, чтоб заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его и не слушал.

Через час явилась возможность ехать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел разговор о Бэле и о Печорине.

— А не слыхали ли вы, что́ сделалось с Казбичем? — спросил я.

— С Казбичем? А, право, не знаю... Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко; да вряд ли это тот самый!..

В Коби мы расстались с Максимом Максимычем; я поехал на почтовых, а он, по причине тяжелой поклажи, не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились, и, если хотите, я расскажу: это целая история... Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

II

МАКСИМ МАКСИМЫЧ

<...>

Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать, подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать его портрет.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и лениво, но я заметил, что он не размахивал руками — верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит Бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были чернью – признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак — или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных

ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление; но так как вы об нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиогномий, которые особенно нравятся женщинам светским.

Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастию, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему.

— Если вы захотите еще немного подождать, — сказал я,— то будете иметь удовольствие увидаться с старым приятелем...

— Ах, точно! — быстро отвечал он,— мне вчера говорили: но где же он? — Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи...

Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать; пот градом катился с лица его; мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колена его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

— Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин.

— А... ты? а вы?.. — пробормотал со слезами на глазах старик... — сколько лет... сколько дней... да куда это?..

— Еду в Персию — и дальше...

— Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Столько времени не видались...

— Мне пора, Максим Максимыч, — был ответ.

— Боже мой, Боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?.. как?.. что поделывали?..

— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь...

— А помните наше житье-бытье в крепости? Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся.

— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два.

— Мы славно пообедаем, — говорил он, — у меня есть два фазана; а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?..

— Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... — прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это.

— Забыть! — проворчал он, — я-то не забыл ничего... Ну, да Бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...

— Ну полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески,— неужели я не тот же?.. Что делать? всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться, — Бог знает!.. — Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.

— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски, — совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрыч... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где Бог дал свидеться... Что мне с ними делать?..

— Что хотите! — отвечал Печорин. — Прощайте...

— Так вы в Персию?.. а когда вернетесь?.. — кричал вслед Максим Максимыч...

Коляска была уж далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?..

Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, — а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.

— Да, — сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах,— конечно, мы были приятели, — ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!.. — Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. — Скажите, — продолжал он, обратясь ко мне, — ну что вы об этом думаете?.. ну, какой

бес несет его теперь в Персию?.. Смешно, ей-богу, смешно!.. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться... А, право, жаль, что он дурно кончит... да и нельзя иначе!.. Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей забывает!.. — Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами.

— Максим Максимыч, — сказал я, подошедши к нему, — а что это за бумаги вам оставил Печорин?

— А Бог его знает! какие-то записки...

— Что вы из них сделаете?

— Что? а велю наделать патронов.

— Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю; потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское; мне стало смешно и жалко...

— Вот они все, — сказал он, — поздравляю вас с находкою...

— И я могу делать с ними все, что хочу?

— Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело?.. Что, я разве друг его какой?.. или родственник?.. Правда, мы жили долго под одной кровлей. Да мало ли с кем я не жил?..

Журнал Печорина

ПРЕДИСЛОВИЕ

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай Бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге; следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменил все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно себя узнают, и, может быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги. «Да это злая ирония!» — скажут они. — Не знаю.

ТАМАНЬ

<...>

Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая вдаль; предо мной тянулось почною бурею взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся... Так прошло около часа, может быть, и более... Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно; это была песня, и женский, свежий голосок, — но откуда?.. Прислушиваюсь — напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье, с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.

Я запомнил эту песню от слова до слова:

Как по вольной волюшке —
По зелену морю,
Ходят все кораблики
Белопарусники.
Промеж тех корабликов
Моя лодочка,
Лодка неснащеная,
Двухвесельная.
Буря ль разыграется —
Старые кораблики
Приподымут крылышки,
По морю размечутся.
Стану морю кланяться
Я низехонько:
«Уж не тронь ты, злое море,
Мою лодочку:
Везет моя лодочка
Вещи драгоценные,
Правит ею в темну ночь
Буйная головушка».

Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прищелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундина; поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры; пенье и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с бойкою проницательностью останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь.

Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит юной Франции. Она, то есть порода, а не юная Франция, большею частью изобличается

в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос — все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений: правильный нос свел меня с ума; вообразил, что нашел Гётеву Миньону, это причудливое создание его немецкого воображения, и точно, между ними было много сходства: те же быстрые переходи от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни!..

Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор:

«Скажи-ка мне, красавица, спросил я, что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же? разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где поется, — там и счастливится». — «А как неравно напоешь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от добра опять недалеко». — «Кто ж тебя выучил эту песню? — «Никто не выучил; вздумается — запою; кому услыхать, тот услышит; а кому не должно слышать, тот не поймет». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело.) «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей все, что видел, думая смутить ее — нимало! Она захохотала во все горло. «Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком». — «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» — и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места; я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.

Только что смерклось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрипнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, — то была она, моя ундина! Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои, и не знаю почему, но этот взор показался мне чудно-нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моею жизнью. Она, каза-

лось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет; грудь ее то высоко поднималась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег», — и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экий бес-девка!» — закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.

Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. «Если я выстрелю из пистолета, — сказал я ему, — то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «Слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска; ее одежда была более нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.

«Идите за мной!» — сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку»,— сказала моя спутница; я колебался — я не охотник до сентиментальных прогулок по морю; но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» — сказал я сердито. «Это значит,— отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками,— это значит, что я тебя люблю...» И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хвать за пояс — пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову! Оглядываюсь — мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу оттолкнуть ее от себя — она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости... «Чего ты хочешь?» — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку.

«Ты видел, — отвечала она, — ты донесешь!» — и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки; ее волосы касались воды; минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно бросил ее в волны.

Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал...

На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, прилег в траве над обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка, быстро приблизилась она, из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янко, — сказала она, — все пропало!» Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслушать. «А где же слепой?» — сказал наконец Янко, возвыся голос. «Я его послала», — был ответ. Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.

— Послушай, слепой! — сказал Янко. — ты береги то место, знаешь? там богатые товары... скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга, дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул; а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит! — После некоторого молчания Янко продолжал: — Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться; а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.

— А я? — сказал слепой жалобным голосом.

— На что мне тебя? — был ответ.

Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников». «Только?» — сказал слепой. «Ну, вот тебе еще», —

и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн; слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: слепой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг *честных контрабандистов?* Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!

Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал — подарок приятеля — все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восьмнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила?

Слава Богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что сталось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..

Часть вторая

(Окончание журнала Печорина)

II

КНЯЖНА МЕРИ

<...>

Грушницкий — юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него Георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые

важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами — иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.

Он довольно остер: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он машет шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..

<...>

16-го мая.

В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказывали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, — и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя: теперь у меня каждый день полон дом, обедают, ужинают, играют, — и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок!

Вчера я ее встретил в магазине Челахова: она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал сорок рублей лишних и перекупил его; за это я был вознагражден взглядом, где блистало

самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение; я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают.

Грушницкий принял таинственный вид: ходит, закинув руки за спину, и никого не узнает; нога его вдруг выздоровела: он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне; она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкою.

— Ты решительно не хочешь познакомиться с Литовскими? — сказал он мне вчера.

— Решительно.

— Помилуй! самый приятный дом на водах! Все здешнее лучшее общество...

— Мой друг, мне и не здешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?

— Нет еще; я говорил раза два с княжной, и более, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится... Другое дело, если бы я носил эполеты...

— Помилуй! да этак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением... Да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем.

Грушницкий самодовольно улыбнулся.

— Какой вздор! — сказал он.

— Я уверен, — продолжал я, — что княжна в тебя уж влюблена.

Он покраснел до ушей и надулся. О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар!..

— У тебя все шутки! — сказал он, показывая, будто сердится,— во-первых, она меня еще так мало знает...

— Женщины любят только тех, которых не знают.

— Да я вовсе не имею претензии ей нравиться; я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если б я имел какие-нибудь надежды... Вот вы, например, другое дело! — вы, победители петербургские: только посмóтрите, так женщины тают... А знаешь ли, Печорин, чтó княжна о тебе говорила?

— Как? она тебе уж говорила обо мне?..

— Не радуйся, однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца, случайно; третье слово ее было: «Кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? он был с вами, тогда...» Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. «Вам не нужно сказывать дня, — отвечал я ей, — он вечно будет мне памятен...» Мой друг, Печорин! я тебя не поздравляю; ты у нее на дурном замечании... А, право, жаль! потому что Мери очень мила!..

Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют ее *моя Мери*, *моя Sophie*, если она имела счастие им понравиться.

Я принял серьезный вид и отвечал ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платоническою любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве; а платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтоб их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой разговор — никогда не удовлетворять его вполне; ты должен ее тревожить ежеминутно; она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой и, чтоб вознаградить себя за это, станет тебя мучить, а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может. Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй; она с тобой накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате.

Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастию, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное кольцо с чернью, здешней работы: оно мне показалось подозрительным... Я стал его рассматривать, и что же?.. мелкими буквами имя *Мери* было вырезано на внутренней стороне, и рядом — число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний, я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, — и тут-то я буду наслаждаться...

. . . . . .

Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу — никого уже нет. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел;

кругом его вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот; мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор... Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? и почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках? Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтоб не нарушить ее мечтаний, когда она на меня взглянула.

— Вера! — вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела.

— Я знала, что вы здесь, — сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами: в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

— Мы давно не видались, — сказал я.

— Давно, и переменились оба во многом!

— Стало быть, уж ты меня не любишь?..

— Я замужем!.. — сказала она.

— Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем...

Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.

— Может быть, ты любишь своего второго мужа?..

Она не отвечала и отвернулась.

— Или он очень ревнив?

Молчание.

— Что ж? Он молод, хорош, особенно, верно, богат, и ты боишься... — Я взглянул на нее и испугался: ее лицо выражало глубокое отчаяние, на глазах сверкали слезы.

— Скажи мне, — наконец прошептала она, — тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий... — Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть, — подумал я, — ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда...»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй; ее руки были

холодны как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.

Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем — тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре: она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает, как отца, — и будет обманывать, как мужа... Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!

Муж Веры, Семен Васильевич Г...в, — дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом; Вера часто бывает у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь от нее внимание. Таким образом, мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело...

Весело!.. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастия, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь, — теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими; даже мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!..

Одно мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? — оттого ли что я никогда ничем очень не дорожу и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это — магнетическое влияние сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?

Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером: их ли это дело!..

Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить... Мы расстались врагами, — и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе...

Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается; я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют fièvre Lente — болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия.

Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались... Она вверилась мне снова с прежней беспечностью, — и я ее не обману: она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся

опять и, может быть, навеки: оба пойдем разными путями до гроба; но воспоминание о ней останется неприкосновенным в душе моей; я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противное.

Наконец мы расстались; я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять, или это только ее прощальный взгляд, последний подарок — на память?.. А смешно подумать, что на вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо; члены гибки и стройны; густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит...

<...>

3-го июня.

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия...

Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство — истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности — только в невозможности достигнуть цели, то есть конца.

Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить: «Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез!»

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти;

честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права,— не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.

Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов: душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, — лелеет и наказывает себя; как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие.

Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета... Но что за нужда?.. Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следственно, все, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.

<...>

12-го июня.

Сегодняшний вечер был обилен происшествиями. Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая *Кольцом*; это — ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой

последний пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их — совершенный калейдоскоп: каждый день от напора волн оно изменяется; где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен; мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мери.

Мы были уже на средине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно!» — проговорила она слабым голосом... Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию. «Смотрите наверх! — шепнул я ей, — это ничего, только не бойтесь; я с вами».

Ей стало лучше; она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный, мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

— Что вы со мною делаете?.. Боже мой!..

Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади: никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова — из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения.

— Или вы меня презираете, или очень любите! — сказала она наконец голосом, в котором были слезы. — Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить... Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... О нет! не правда ли, — прибавила она голосом нежной доверенности, — не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок... я должна, я должна вам его простить, потому что позволила... Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!..

В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастию, начинало смеркаться...

Я ничего не отвечал.

— Вы молчите? — продолжала она, — вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю?..

Я молчал...

— Хотите ли этого? — продолжала она, быстро обратясь ко мне...

В решительности ее взора и голоса было что-то страшное...

— Зачем? — отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренне радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира... А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия!

Слезши с лошадей, дамы вошли к княгине; я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Луна подымалась из-за темных вершин. Каждый шаг моей некованой лошади глухо раздавался в молчании ущелий; у водопада я напоил коня, жадно вдохнул в себя раза два свежий воздух южной ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку. Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались...

В одном из домов слободки, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну; неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслушать их слова. Говорили обо мне.

Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания.

— Господа! — сказал он, — это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургские слётки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.

— И что за надменная улыбка! А я уверен между тем, что он трус, — да, трус!

— Я думаю то же, — сказал Грушницкий. — Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин все обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело; да не хотел связываться...

— Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну,— сказал кто-то.

— Вот еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах.

— Да я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий, — о, Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! — сказал опять драгунский капитан.— Господа! никто здесь его не защищает? Никто? тем лучше! Хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит...

— Хотим; только как?

— А вот слушайте: Грушницкий на него особенно сердит — ему первая роль! Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль... Погодите; вот в этом-то и штука... Вызовет на дуэль: хорошо! Все это — вызов, приготовления, условия — будет как можно торжественнее и ужаснее, — я за это берусь; я буду твоим секундантом, мой бедный друг! Хорошо! Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит, — на шести шагах их поставлю, черт возьми! Согласны ли, господа?

— Славно придумано! согласны! почему же нет? — раздалось со всех сторон.

— А ты, Грушницкий?

Я с трепетом ждал ответа Грушницкого; холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «Хорошо, я согласен».

Трудно описать восторг всей честной компании.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «За что они все меня ненавидят? — думал я. — За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство?» И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. «Берегитесь, господин Грушницкий! — говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате. — Со мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка!..»

Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец.

Поутру я встретил княжну у колодца.

— Вы больны? — сказала она, пристально посмотрев на меня.

— Я не спал ночь.

— И я также... я вас обвиняла... может быть, напрасно? Но объяснитесь, я могу вам простить все...

— Все ли?..

— Все... только говорите правду... только скорее... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение; может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных... это ничего; когда они узнают... (ее голос задрожал) я их упрошу. Или ваше собственное положение... но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю... О, отвечайте скорее, сжальтесь... Вы меня не презираете, не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала; но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия.

— Я вам скажу всю истину, — отвечал я княжне, — не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков; я вас не люблю.

Ее губы слегка побледнели...

— Оставьте меня, — сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушел.

14-го июня.

Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал не способен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне son coeur et sa fortune[1]; но надо мною слово *жениться* имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться,— прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие... Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей... Признаться ли?.. Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне *смерть от злой жены*; это меня тогда глубоко поразило; в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе... Между тем что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.

[1] Руку и сердце (*фр.*).

15-го июня.

<...>

. . . . . .

Около двух часов пополуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мери сидела на своей постели скрестив на коленях руки; ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики, ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; пред нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко...

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо.

— Ага! — сказал грубый голос, — попался!.. будешь у меня к княжнам ходить ночью!..

— Держи его крепче! — закричал другой, выскочивший из-за угла.

Это были Грушницкий и драгунский капитан.

Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты. Все тропинки сада, покрывавшего отлогость против наших домов, были мне известны.

— Воры! караул!.. — кричали они; раздался ружейный выстрел; дымящийся пыж упал почти к моим ногам.

Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.

— Печорин! вы спите? здесь вы?.. — закричал капитан.

— Сплю, — отвечал я сердито.

— Вставайте! воры... черкесы.

— У меня насморк, — отвечал я, — боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я им откликнулся: они б еще с час проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах — и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников остались бы на месте.

16-го июня.

Нынче поутру у колодца только и было толков что о ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдясь раз десять по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать; он ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась нынче ночью! — говорил он, — ведь надобно ж, чтоб это случилось именно тогда, как я в отсутствии». Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которой был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и, следственно, я не мог подозревать умысла; но это только увеличивало его вину в моих глазах.

— Да неужели в самом деле это были черкесы? — сказал кто-то, — видел ли их кто-нибудь?

— Я вам расскажу всю историю, — отвечал Грушницкий. — Только, пожалуйста, не выдавайте меня; вот как это было: вчерась один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, что видел в десятом часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтоб подстеречь счастливца.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком: он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б наравне Грушницкий отгадал истину; но, ослепленный ревностью, он и не подозревал ее.

— Вот видите ли, — продолжал Грушницкий, — мы и отправились, взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, только так, чтоб попугать. До двух часов ждали в саду. Наконец — уж Бог знает откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отворялось, а должно быть, он вышел в стеклянную дверь, что за колонной,— наконец, говорю я, видим мы, сходит кто-то с балкона... Какова княжна? а? Ну, уж признаюсь, московские барышни! После этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и, как заяц, бросился в кусты; тут я по нем выстрелил.

Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости.

— Вы не верите? — продолжал он, — даю вам честное, благородное слово, что все это сущая правда, и в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина.

— Скажи, скажи, кто ж он! — раздалось со всех сторон.

— Печорин, — отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза — я стоял в дверях против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

— Мне очень жаль, что я взошел после того, как вы уже дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

— Прошу вас, — продолжал я тем же тоном, — прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтоб равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью.

Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем; он вздрогнул и быстро отвечал мне, не поднимая глаз:

— Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю и готов повторить... Я не боюсь ваших угроз и готов на все.

— Последнее вы уж доказали, — отвечал я ему холодно и, взяв под руку драгунского капитана, вышел из комнаты.

— Что вам угодно? — спросил капитан.

— Вы приятель Грушницкого — и, вероятно, будете его секундантом?

Капитан поклонился очень важно.

— Вы отгадали, — отвечал он, — я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне: я был с ним вчера ночью, — прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан.

— А! так это вас ударил я так неловко по голове?..

Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.

— Я буду иметь честь прислать к вам нониче моего секунданта,— прибавил я, раскланявшись очень вежливо и показывая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство.

. . . . . .

Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся... мы поменяемся ролями: теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб... но мы

бросим жребий!.. и тогда... тогда... что, если его счастье перетянет? если моя звезда наконец мне изменит?.. И не мудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле.

Что ж? умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова... прощайте!..

Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья — и никогда не мог насытиться. Так, томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче; но только проснулся — мечта исчезает... остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь — из любопытства: ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!

<...>

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.

Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все

устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать... Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своею совестью?

— Бросьте жребий, доктор! — сказал капитан.

Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.

— Решетка! — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.

— Орел! — сказал я.

Монета взвилась и упала, звеня; все бросились к ней.

— Вы счастливы,— сказал я Грушницкому, — вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь — даю вам честное слово.

Он покраснел; ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка.

— Пора! — шепнул мне доктор, дергая за рукав, — если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уж заряжает... если вы ничего не скажете, то я сам...

— Ни за что на свете, доктор! — отвечал я, удерживая его за руку, — вы все испортите; вы мне дали слово не мешать... Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит...

Он посмотрел на меня с удивлением.

— О, это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь...

Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкою шепнув ему что-то; другой мне.

Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад.

Грушницкий стал против меня и по данному знаку качал поднимать пистолет. Колени его дрожали. Он целил мне прямо в лоб...

Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей.

Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту.

— Не могу, — сказал он глухим голосом.

— Трус! — отвечал капитан.

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края.

— Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся! — сказал капитан, — теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не увидимся! — Они обнялись; капитан едва мог удержаться от смеха. — Не бойся, — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого, — все вздор на свете!.. Натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка!

После этой трагической фразы, сказанной с приличною важностью, он отошел на свое место; Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненный в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса.

Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.

— Я вам советую перед смертью помолиться Богу, — сказал я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.

— И вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?

— Господин Печорин! — закричал драгунский капитан, — вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить... Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по ущелью — и нас увидят.

— Хорошо. Доктор, подойдите ко мне.

Доктор подошел. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.

Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор:

— Доктор, эти господа, вероятно, второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, — и хорошенько!

— Не может быть! — кричал капитан, — не может быть! я зарядил оба пистолета; разве что из вашего пуля выкатилась... Это не моя вина! А вы не имеете права переряжать... никакого права... это совершенно против правил; я не позволю...

— Хорошо! — сказал я капитану, — если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях...

Он замялся.

Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь их! — сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора... — Ведь ты сам знаешь, что они правы.

Напрасно капитан делал ему разные знаки, — Грушницкий не хотел и смотреть.

Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой.

— Дурак же ты, братец, — сказал он, — пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем... Поделом же тебе! околевай себе, как муха... — Он отвернулся и, отходя, пробормотал: — А все-таки это совершенно противу правил.

— Грушницкий! — сказал я, — еще есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено; вспомни — мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

— Стреляйте! — отвечал он, — я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...

Я выстрелил...

Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.

Все в один голос вскрикнули.

— Finita la qomedia![1] — сказал я доктору.

Он не отвечал и с ужасом отвернулся.

Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого.

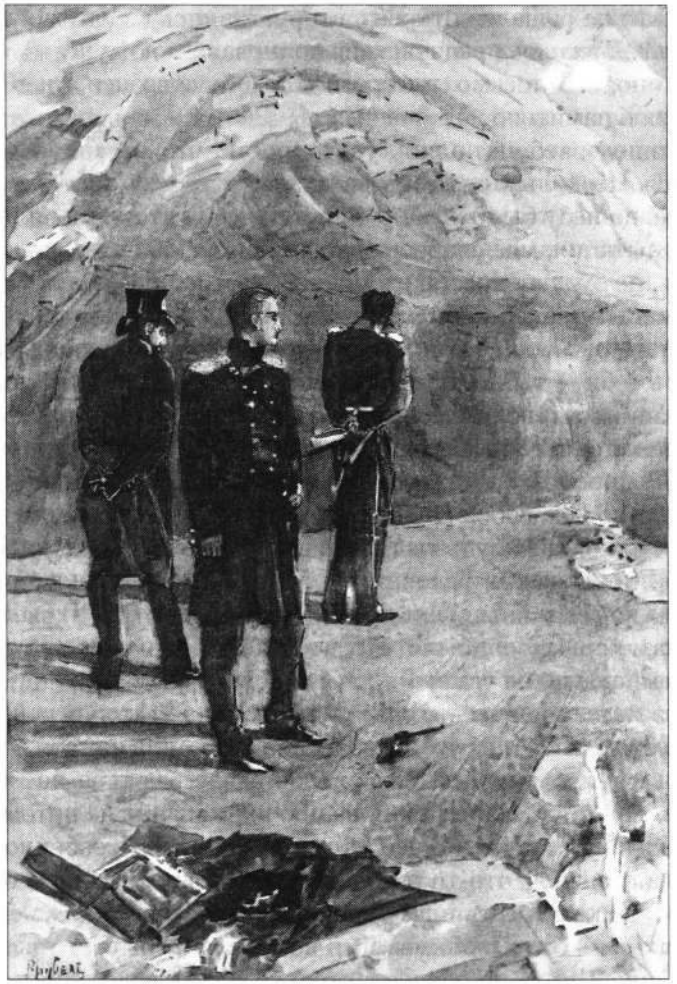
Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза...

Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели.

Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был бы мне тягостен: я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился в месте, мне вовсе не знакомом; я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу; уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный, на измученной лошади.

Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую... от Веры.

[1] Комедия окончена! (*ит.*)



«Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было...»
Художник М.А. Врубель. 1892 г.

Я распечатал первую, она была следующего содержания:

«Все устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно... если можете... Прощайте...»

Я долго не решался открыть вторую записку... Что могла она мне написать?.. Тяжелое предчувствие волновало мою душу.

Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти:

«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда более не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое, но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя — ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала... Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условии. Прошло с тех пор много времени: я проникла во все тайны души твоей... и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла.

Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно; ничей взор не обещает столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.

Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.

Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза; я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной; мне казалось, что я сойду с ума... Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив: невозможно, чтоб ты умер без меня, не-

возможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала... верно, я ему сказала, что я тебя люблю... Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету.. Вот уж три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата... Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова... Прощай, прощай... Я погибла, — но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить, — не говорю уж любить, — нет, только помнить... Прощай; идут... я должна спрятать письмо...

Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете...»

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух, по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, храпя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.

Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать ее уже в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! — одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте... Оставалось пять верст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал.

И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие — исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок

замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастием бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.

Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.

Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.

Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо.

Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук,— и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно.

Взошел доктор: лоб у него был нахмурен; он, против обыкновения, не протянул мне руки.

— Откуда вы, доктор?

— От княгини Лиговской; дочь ее больна — расслабление нервов... Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал... как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь.

Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку... и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень, — и он вышел.

Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..

На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость N., я зашел к княгине проститься.

Она была удивлена, когда на вопрос ее: имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное? — я отвечал, что желаю ей быть счастливой и прочее.

— А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.

Я сел молча.

Явно было, что она не знала, с чего начать; лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу; наконец она начала так, прерывистым голосом:

— Послушайте, мсье Печорин! я думаю, что вы благородный человек.

Я поклонился.

— Я даже в этом уверена, — продолжала она, — хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее,— следственно, рисковали жизнью... Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит (она перекрестилась). Бог ему простит — и, надеюсь, вам также!.. Это до меня не касается, я не смею осуждать вас, потому что дочь моя хотя невинно, но была этому причиной. Она мне все сказала... я думаю, все: вы изъяснились ей в любви... она вам призналась в своей (тут княгиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я уверена, что это непростая болезнь! Печаль тайная ее убивает; она не признается, но я уверена, что вы этому причиной... Послушайте: вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства,— разуверьтесь! я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться: вы имеете состояние; вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастие мужа, — я богата, она у меня одна... Говорите, что вас удерживает?.. Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь; вспомните: у меня одна дочь... одна...

Она заплакала.

— Княгиня,— сказал я, — мне невозможно отвечать вам; позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине...

— Никогда! — воскликнула она, встав со стула в сильном волнении.

— Как хотите, — отвечал я, приготовляясь уйти.

Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал, и вышла.

Прошло минут пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.

Вот двери отворились, и взошла она. Боже! как переменилась с тех пор, как я не видал ее, — а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась: я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться: ее нежные руки, сложенные на коленях, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее.

— Княжна, — сказал я, — вы знаете, что я над вами смеялся?.. Вы должны презирать меня.

На ее щеках показался болезненный румянец. Я продолжал:

— Следственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.

— Боже мой! — произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.

— Итак, вы сами видите, — сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкою, — вы сами видите, что я не могу на вас жениться, если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь: вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели, я ему покоряюсь... Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.

— Я вас ненавижу... — сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от Ессентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято, вероятно, проезжим казаком, — и вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся...

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этой долею! Я как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает

и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...

ФАТАЛИСТ

<...>

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником! Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той неясной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою...

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений,

В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею; но я остановил себя вовремя на этом опасном пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Наклоняюсь — месяц уж светил прямо на дорогу — и что же? передо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой... Едва я успел ее рассмотреть, как услышал шум шагов: два казака бежали из переулка, один подошел ко мне и спросил: не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойник! — сказал второй казак, — как напьется чихиря, так и пошел крошить все, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и наконец счастливо добрался до своей квартиры.

Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю.

Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя», — сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.

Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечу и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но — видно, было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. «Вставай, одевайся!» — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны как смерть.

— Что?

— Вулич убит.

Я остолбенел.

— Да, убит! — продолжали они, — пойдем скорее.

— Да куда же?

— Дорогой узнаешь.

Мы пошли. Они рассказали мне все, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по темной улице; на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «Кого ты, братец, ищешь?» — «*Тебя!*» — отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца...

Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «Он прав!» Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня: я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.

Убийца заперся в пустой хате, на конце станицы: мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону; по временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная.

Вот наконец мы пришли; смотрим: вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою: женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние. Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?

Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первый.

Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.

В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.

— Согрешил, брат Ефимыч, — сказал есаул, — так уж нечего делать, покорись!

— Не покорюсь! — отвечал казак.

— Побойся Бога! Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь!

— Не покорюсь! — закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

— Эй, тетка!.. — сказал есаул старухе, — поговори сыну, авось тебя послушает... Ведь это только Бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются.

Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.

— Василий Петрович, — сказал есаул, подойдя к майору, — он не сдастся — я его знаю. А если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? в ставне щель широкая.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.

— Погодите, — сказал я майору,— я его возьму живого.

Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить и броситься ко мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.

— Ах ты окаянный! — кричал есаул, — что ты, над нами смеешься, что ли? али думаешь, что мы с тобой не совладаем? — Он стал стучать в дверь изо всей силы; я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, — и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки, казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конвоем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли — и точно, было с чем!

После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь.

Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:

— Да-с! конечно-с! Это штука довольно мудреная!.. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или не довольно крепко прижмешь пальцем; признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны: приклад маленький — того и гляди, нос обожжет... Зато уж шашки у них — просто мое почтение!

Потом он промолвил, несколько подумав:

— Да, жаль беднягу... Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений.

Н.В. ГОГОЛЬ

Мертвые души

Том первый

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, — словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой.

Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно, с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галдарее показывать ниспосланный ему Богом покой. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже из-

вестного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленною комодом, где устроивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль бородою.

Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, в просторном подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева с штучными выкладками из карельской березы, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда все это было внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устроиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и, может быть, так же замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.

Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы — всякий проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою известную пару чаю; тот же закопченный потолок; та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали

и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу; те же картины во всю стену, писанные масляными красками,— словом, все то же, что и везде; только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров. Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым — наверное не могу сказать, кто делает, Бог их знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел подать себе обед. Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких неделей, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам; покамест ему все это подавалось и разогретое, и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор — о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин; на что половой, по обыкновению, отвечал: «О, большой, сударь, мошенник». Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не всё пустые вопросы; он с чрезвычайною точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор,— словом, не пропустил ни одного значительного чиновника; но еще с большею точностию, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках: сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в их губернии — повальных горячек, убийственных каких-либо лихорадок, оспы и тому подобного, и все так обстоятельно и с такою точностию, которая показывала более, чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-видимому, совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему мно-

го уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спрашивал: «Не нужно ли чего?» После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой нумер, где, прилегши, заснул два часа. Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: «Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям».

<...>

Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом,— и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами. Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во что Бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из них бы-

ли такого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских, имели так же весьма обдуманно и со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват, волос они на голове не носили, ни хохлами, ни буклями, ни на манер «черт меня побери», как говорят французы, — волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шкатулках благодать Божия. У тоненького в три года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, глядь — и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши Богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских все отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти всё знакомые лица: прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу», — человека, впрочем, серьезного и молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, — которые все приветствовали его, как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался несколько набок, впрочем, не без приятности.

ГЛАВА ВТОРАЯ

<...>

Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистые жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединенного размышления»; пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения, и частию по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту ж минуту принялся считать и насчитал более двухсот; нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени; везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль в стороне темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то что голова продолблена была до самого мозгу носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась более и более.

— Павел Иванович! — вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. — Насилу вы таки нас вспомнили!

Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату.

<...>

Один Бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!» В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что такое!» — и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена; пятый, с желанием более ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтиться на гулянье с флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям, знакомым и даже незнакомым, шестой уже одарен такою рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков,— словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало и большею частию размышлял и думал, но о чем он думал, тоже разве Богу было известно. Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил: «Хорошо бы, барин, то и то сделать», — «Да, недурно», — отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером. — «Да, именно недурно», — повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: «Барин, позволь отлучиться на работу, по́дать заработать», — «Ступай»,— говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный

мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недостало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». Ввечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена его... впрочем, они были совершенно довольны друг другом.

<...>

— Я полагаю приобресть мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как живые, — сказал Чичиков.

Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжение нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижимы, вперя друг в друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он; но ничего не было видно такого, напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного; потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него пристально; но глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегает в глазах сумасшедшего человека, все было прилично и в порядке. Как ни придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не мог придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою струею.

— Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, не живых в действительности, но живых относительно законной формы, передать, уступить или как вам заблагорассудится лучше?

Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на него.

— Мне кажется, вы затрудняетесь?.. — заметил Чичиков.

— Я?.. нет, я не то, — сказал Манилов, — но я не могу постичь... извините... я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении; не имею высокого искусства выражаться... Может быть, здесь... в этом, вами сейчас выраженном изъяснении... скрыто другое... Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?

— Нет,— подхватил Чичиков,— нет, я разумею предмет таков, как есть, то есть те души, которые, точно, уже умерли.

Манилов совершенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать, предложить вопрос, а какой вопрос, — черт его знает. Кончил он наконец тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а чрез носовые ноздри.

— Итак, если нет препятствий, то с Богом можно бы приступить к совершению купчей крепости, — сказал Чичиков.

— Как, на мертвые души купчую?

— А, нет! — сказал Чичиков.— Мы напишем, что они живы, так, как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе, но уж извините: обязанность для меня дело священное, закон — я немею пред законом.

Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он все-таки никак не вник и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал наконец хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства; но чубук хрипел, и больше ничего.

— Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?

— О? помилуйте, ничуть. Я не насчет того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть, критическое предосуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция, — так не будет ли эта негоция несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?

Здесь Манилов, сделавши некоторое движение головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-

нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела.

Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие, или негоция, никак не будет несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, а чрез минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошлины.

— Так вы полагаете?..

— Я полагаю, что это будет хорошо.

— А, если хорошо, это другое дело: я против этого ничего, — сказал Манилов и совершенно успокоился.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Но, однако ж, обратимся к действующим лицам. Чичиков, как уж мы видели, решился вовсе не церемониться и потому, взявши в руки чашку с чаем и вливши туда фруктовой, повел такие речи:

— У вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько в ней душ?

— Душ-то в ней, отец мой, без малого восемьдесят, — сказала хозяйка, — да беда, времена плохи, вот и прошлый год был такой неурожай, что Боже храни.

— Однако ж мужички на вид дюжие, избенки крепкие. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся... приехал в ночное время...

— Коробочка, коллежская секретарша.

— Покорнейше благодарю. А имя и отчество?

— Настасья Петровна.

— Настасья Петровна? хорошее имя Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна.

— А ваше имя как? — спросила помещица. — Ведь вы, я чай, заседатель?

— Нет, матушка, — отвечал Чичиков, усмехнувшись, — чай, не заседатель, а так ездим по своим делишкам.

— А, так вы покупщик! Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево, а вот ты бы, отец мой, у меня, верно, его купил.

— А вот меду и не купил бы.

— Что ж другое? Разве пеньку? Да вить и пеньки у меня теперь маловато: полпуда всего.

— Нет, матушка, другого рода товарец: скажите, у вас умирали крестьяне?

— Ох, батюшка, осьмнадцать человек! — сказала старуха, вздохнувши.— И умер такой всё славный народ, всё работники. После того, правда, народилось, да что в них: всё такая мелюзга; а заседатель

подъехал — подать, говорит, уплачивать с души. Народ мертвый, а плати, как за живого. На прошлой неделе сгорел у меня кузнец, такой искусный кузнец и слесарное мастерство знал.

— Разве у вас был пожар, матушка?

— Бог приберег от такой беды, пожар бы еще хуже; сам сгорел, отец мой. Внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил, только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел и почернел, как уголь, а такой был преискусный кузнец! и теперь мне выехать не на чем: некому лошадей подковать.

— На все воля Божья, матушка! — сказал Чичиков, вздохнувши,— против мудрости Божией ничего нельзя сказать... Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?

— Кого, батюшка?

— Да вот этих-то всех, что умерли.

— Да как же уступить их?

— Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги.

— Да как же? Я, право, в толк-то не возьму. Нешто хочешь ты их откапывать из земли?

Чичиков увидел, что старуха хватила далеко и что необходимо ей нужно растолковать, в чем дело. В немногих словах объяснил он ей, что перевод или покупка будет значиться только на бумаге и души будут прописаны как бы живые.

— Да на что ж они тебе? — сказала старуха, выпучив на него глаза.

— Это уж мое дело.

— Да ведь они ж мертвые.

— Да кто же говорит, что они живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые: вы за них платите, а теперь я вас избавлю от хлопот и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще сверх того дам вам пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?

— Право, не знаю, — произнесла хозяйка с расстановкой. — Ведь я мертвых никогда еще не продавала.

— Еще бы! Это бы скорей походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Или вы думаете, что в них есть в самом деле какой-нибудь прок?

— Нет, этого-то я не думаю. Что ж в них за прок, проку никакого нет. Меня только то и затрудняет, что они уже мертвые.

«Ну, баба, кажется, крепколобая!» — подумал про себя Чичиков.

— Послушайте, матушка. Да вы рассудите только хорошенько: ведь вы разоряетесь, платите за него подать, как за живого...

— Ох, отец мой, и не говори об этом! — подхватила помещица. — Еще третью неделю взнесла больше полутораста. Да заседателя подмаслила.



Иллюстрации к поэме —
гравюры Е.Е. Бернардского по оригиналам А.А. Агина. 1846 г.

— Ну, видите, матушка. А теперь примите в соображение только то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за них; я, а не вы; я принимаю на себя все повинности. Я совершу даже крепость на свои деньги, понимаете ли вы это?

Старуха задумалась. Она видела, что дело, точно, как будто выгодно, да только уж слишком новое и небывалое; а потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покупщик; приехал же Бог знает откуда, да еще и в ночное время.

— Так что ж, матушка, по рукам, что ли? — говорил Чичиков.

— Право, отец мой, никогда еще не случалось продавать мне покойников. Живых-то я уступила, вот и третьего года протопопу двух

девок по сту рублей каждую, и очень благодарил, такие вышли славные работницы: сами салфетки ткут.

— Ну, да не о живых дело; Бог с ними. Я спрашиваю мертвых.

— Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь, а они того... они больше как-нибудь стоят.

— Послушайте, матушка... эх, какие вы! что ж они могут стоить? Рассмотрите: ведь это прах. Понимаете ли? это просто прах. Вы возьмите всякую негодную, последнюю вещь, например даже простую тряпку, и тряпке есть цена: ее хоть по крайней мере купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?..

— Уж это, точно, правда. Уж совсем ни на что не нужно; да ведь меня одно только и останавливает, что ведь они уже мертвые.

«Эк ее, дубинноголовая какая! — сказал про себя Чичиков, уже начиная выходить из терпения. — Пойди ты сладь с нею! в пот бросила, проклятая старуха!» Тут он, вынувши из кармана платок, начал отирать пот, в самом деле выступивший на лбу. Впрочем, Чичиков напрасно сердился; иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, все отскакивает от него, как резиновый мяч отскакивает от стены. Отерши пот, Чичиков решился попробовать, нельзя ли ее навести на путь какой-нибудь иною стороною.

— Вы, матушка, — сказал он, — или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить... Я вам даю деньги: пятнадцать рублей ассигнациями. Понимаете ли? Ведь это деньги. Вы их не сыщете на улице. Ну, признайтесь, почем продали мед?

— По двенадцати рублей пуд.

— Хватили немножко; греха на душу, матушка. По двенадцати не продали.

— Ей-богу, продала.

— Ну видите ль? Так зато это мед. Вы собирали его, может быть, около года, с заботами, со старанием, хлопотами; ездили, морили пчел, кормили их в погребе целую зиму; а мертвые души дело не от мира сего. Тут вы с своей стороны никакого не прилагали старания, на то была воля Божия, чтоб они оставили мир сей, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы получили за труд, за старание двенадцать рублей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а все синими ассигнациями. — После таких сильных убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха наконец подастся.

— Право,— отвечала помещица, — мое такое неопытное вдовье дело! лучше ж я маненько повременю, авось, понаедут купцы, да применюсь к ценам.

— Страм, страм, матушка! просто страм! Ну что вы это говорите, подумайте сами! Кто же станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать?

— А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся... — возразила старуха, да и не кончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.

— Мертвые в хозяйстве! — Эк куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?

— С нами крестная сила! Какие ты страсти говоришь! — проговорила старуха, крестясь.

— Куда ж еще вы их хотели пристроить? Да, впрочем, ведь кости и могилы — все вам остается; перевод только на бумаге. Ну, так что же? Как же? отвечайте по крайней мере.

Старуха вновь задумалась.

— О чем же вы думаете, Настасья Петровна?

— Право, я все не приберу, как мне быть; лучше я вам пеньку продам.

— Да что ж пенька? Помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суете! Пенька пенькою, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Так как же, Настасья Петровна?

— Ей-богу, товар такой странный, совсем небывалый!

Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей черта.

Черта помещица испугалась необыкновенно.

— Ох, не припоминай его, Бог с ним! — вскрикнула она, вся побледнев. — Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в наказание-то Бог и наслал его. Такой гадкий привиделся; а рога-то длиннее бычачьих.

— Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из одного христианского человеколюбия хотел: вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду... да пропади и околей со всей вашей деревней!..

— Ах, какие ты забранки пригинаешь! — сказала старуха, глядя на него со страхом.

— Да не найдешь слов с вами! Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворняжка, что лежит на сене: и сама не ест сена, и другим не дает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду... — Здесь он прилгнул, хоть и вскользь и без всякого дальнейшего размышления,

но неожиданно удачно. Казенные подряды подействовали сильно на Настасью Петровну, по крайней мере она произнесла уже почти просительным голосом:

— Да чего ж ты рассердился так горячо? Знай я прежде, что ты такой сердитый, да я бы совсем тебе и не прекословила.

— Есть из чего сердиться! Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него сердиться!

— Ну, да изволь, я готова отдать за пятнадцать ассигнацией! Только смотри, отец мой, насчет подрядов-то: если случится муки брать ржаной, или гречневой, или круп, или скотины битой, так уж, пожалуйста, не обидь меня.

— Нет, матушка, не обижу, — говорил он, а между тем отирал рукою пот, который в три ручья катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь поверенного или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершение крепости и всего, что следует.

— Как же, протопопа, отца Кирила, сын служит в палате, — сказала Коробочка.

Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо и, чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

<...>

Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другим никак не будет: или нарежется в буфете таким образом, что только смеется, или проврется самым жестоким образом, так что наконец самому сделается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнесши: «Ну, брат, ты, кажется, уж начал пули лить». Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Иной, например, даже человек в чинах с благородною наружностию, со звездой на груди, будет вам жать руку, разговорится с вами о предметах: глубоких, вызывающих на размышления, а потом смотришь, тут же, пред вашими глазами, и нагадит вам. И нагадит так, как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на груди, разговаривающий о предметах,

вызывающих на размышление, так что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего более. Такую же странную страсть имел и Ноздрев. Чем кто ближе с ним сходился, тому он скорее всех насаливал: распускал небылицу, глупее которой трудно выдумать, расстраивал свадьбу, торговую сделку и вовсе не почитал себя вашим неприятелем; напротив, если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь дружески и даже говорил: «Ведь ты такой подлец, никогда ко мне не заедешь». Ноздрев во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все что ни есть на все что хотите. Ружье, собака, лошадь — все было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть: это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупитчатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду — насколько хватало денег. Впрочем, редко случалось, чтобы это было довезено домой; почти в тот же день спускалось оно все другому, счастливейшему игроку, иногда даже прибавлялась собственная трубка с кисетом и мундштуком, а в другой раз и вся четверня со всем: с коляской и кучером, так что сам хозяин отправлялся в коротеньком сюртучке или архалуке искать какого-нибудь приятеля, чтобы попользоваться его экипажем. Вот какой был Ноздрев! Может быть, назовут его характером избитым, станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы! несправедливы будут те, которые станут говорить так. Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомысленно непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком.

<...>

Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкою рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина; кажется, половая щетка не притрогивалась вовсе. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола видна даже была на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не лю-

бящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирюльным вывескам, или выстриженных под гребенку.

— Ну, так как же думаешь? — сказал Ноздрев, немного помолчавши. — Не хочешь играть на души?

— Я уже сказал тебе, брат, что не играю; купить — изволь, куплю.

— Продать я не хочу, это будет не по-приятельски. Я не стану снимать плевы с черт знает чего. В банчик — другое дело. Прокинем хоть талию!

— Я уж сказал, что нет.

— А меняться не хочешь?

— Не хочу.

— Ну, послушай, сыграем в шашки, выиграешь — твои все. Ведь у меня много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизии. Эй, Порфирий, принеси-ка сюда шашечницу.

— Напрасен труд, я не буду играть.

— Да ведь это не в банк; тут никакого не может быть счастия или фальши: все ведь от искусства; я даже тебя предваряю, что я совсем не умею играть, разве что-нибудь мне дашь вперед.

«Сем-ка я,— подумал про себя Чичиков, — сыграю с ним в шашки! В шашки игрывал я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться».

— Изволь, так и быть, в шашки сыграю.

— Души идут в ста рублях!

— Зачем же? довольно, если пойдут в пятидесяти.

— Нет, что ж за куш пятьдесят? Лучше ж в эту сумму я включу тебе какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку к часам.

— Ну, изволь! — сказал Чичиков.

— Сколько же ты мне дашь вперед? — сказал Ноздрев.

— Это с какой стати? Конечно, ничего.

— По крайней мере пусть будут мои два хода.

— Не хочу, я сам плохо играю.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой.

— Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая шашку.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой.

— Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая шашку.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, подвигая шашку, да в то же самое время подвинул обшлагом рукава и другую шашку.



— Давненько не брал я в руки!.. Э, э! это, брат, что? отсади-ка ее назад! — говорил Чичиков.

— Кого?

— Да шашку-то, — сказал Чичиков и в то же время увидел почти перед самым носом своим и другую, которая, как казалось, пробиралась в дамки; откуда она взялась, это один только Бог знал. — Нет, — сказал Чичиков, вставши из-за стола, — с тобой нет никакой возможности играть! Этак не ходят, по три шашки вдруг!

— Отчего ж по три? Это по ошибке. Одна подвинулась нечаянно, я ее отодвину, изволь.

— А другая-то откуда взялась?

— Какая другая?

— А вот эта, что пробирается в дамки?

— Вот тебе на, будто не помнишь!

— Нет, брат, я все ходы считал и всё помню; ты ее только теперь пристроил. Ей место вон где!

— Как, где место? — сказал Ноздрев, покрасневши. — Да ты, брат, как я вижу, сочинитель!

— Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно.

— За кого ж ты меня почитаешь? — говорил Ноздрев. — Стану я разве плутовать?

— Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть с этих пор никогда не буду.

— Нет, ты не можешь отказаться, — говорил Ноздрев, горячась, — игра начата!

— Я имею право отказаться, потому что ты не так играешь, как прилично честному человеку.

— Нет, врешь, ты этого не можешь сказать!

— Нет, брат, сам ты врешь!

— Я не плутовал, а ты отказаться не можешь, ты должен кончить партию!

— Этого ты меня не заставишь сделать, — сказал Чичиков хладнокровно и, подошедши к доске, смешал шашки.

Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил шага два назад.

— Я тебя заставлю играть! Это ничего, что ты смешал шашки, я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были.

— Нет, брат, дело кончено, я с тобою не стану играть.

— Так ты не хочешь играть?

— Ты сам видишь, что с тобою нет возможности играть.

— Нет, скажи напрямик, ты не хочешь играть? — говорил Ноздрев, подступая еще ближе.

— Не хочу! — сказал Чичиков и поднес, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось в самом деле жарко.

Эта предосторожность была весьма у места, потому что Ноздрев размахнулся рукой... и очень бы могло статься, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестием; но, счастливо отведши удар, он схватил Ноздрева за обе задорные его руки и держал его крепко.

— Порфирий, Павлушка! — кричал Ноздрев в бешенстве, порываясь вырваться.

Услыша эти слова, Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены, и вместе с тем чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки. В это самое время вошел Порфирий и с ним Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно.

— Так ты не хочешь оканчивать партии? — говорил Ноздрев. — Отвечай мне напрямик!

— Партии нет возможности оканчивать,— говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая, а Селифан ожидал, казалось, мановения, чтобы подкатить под крыльцо, но из комнаты не было никакой возможности выбраться: в дверях стояли два дюжих крепостных дурака.

— Так ты не хочешь доканчивать партии? — повторил Ноздрев с лицом, горевшим, как в огне.

— Если бы ты играл, как прилично честному человеку. Но теперь не могу.

— А! так ты не можешь, подлец! когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь! Бейте его! — кричал он исступленно, обратившись к Порфирию и Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук. Чичиков стал бледен как полотно. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелились без звука.

— Бейте его! — кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость. — Бейте его! — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!» — какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, все пошло кругом в голове его; перед ним носится Суворов, он лезет на великое дело. «Ребята, вперед!» — кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа, что миллионы ружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за облака крепостных стен, что взлетит, как пух, на воздух его бессильный взвод и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его, уже, зажмурив глаза, ни жив ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина, и Бог знает чего бы ни случилось с ним; но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего

героя. Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков, задребезжавшие звуки колокольчика, раздался ясно стук колес подлетевшей к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгорячённых коней остановившейся тройки. Все невольно глянули в окно: кто-то, с усами, в полувоенном сюртуке, вылезал из телеги. Осведомившись в передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный.

— Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев? — сказал незнакомец, посмотревши в некотором недоумении на Ноздрева, который стоял с чубуком в руке, и на Чичикова, который едва начинал оправляться от своего невыгодного положения.

— Позвольте прежде узнать, с кем имею честь говорить? — сказал Ноздрев, подходя к нему ближе.

— Капитан-исправник.

— А что вам угодно?

— Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу.

— Что за вздор, по какому делу? — сказал Ноздрев.

— Вы были замешаны в историю, по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде.

— Вы врете! я и в глаза не видал помещика Максимова!

— Милостивый государь! позвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, а не мне!

Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку да по-за спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.

ГЛАВА ПЯТАЯ

<...>

Деревня показалась ему довольно велика; два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, другое светлее, были у ней справа и слева; посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми или, лучше, дикими стенами,— дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин — удобства и, как видно, вследствие того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на место их одно маленькое, вероятно понадо-

бившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тож срублены были на диво: не было кирчёных стен, резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли. Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке. Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихоструйного треньканья. Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались. На крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником и ввел Чичикова в сени, куда вышел уже сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто: «Прошу!» — и повел его во внутренние жилья.

Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча: хватила топором раз — вышел нос, хватила в другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: «Живет!» Такой же самый крепкий и на диво стаченный образ был у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и в силу такого неповорота редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь! совершенный медведь! Нужно же такое странное сближение: его даже



звали Михаилом Семеновичем. Зная привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему дорогу вперед. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собою этот грех и тот же час спросил: «Не побеспокоил ли я вас?» Но Чичиков поблагодарил, сказав, что еще не произошло никакого беспокойства.

Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресла, сказавши опять: «Прошу!» Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Миаули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками вни-

зу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бобелины, у самого окна, висела клетка, из которой глядел дрозд темного цвета с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича.

<...>

— Вам нужно мертвых душ? — спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.

— Да,— отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивши: — Несуществующих.

— Найдутся, почему не быть... — сказал Собакевич.

— А если найдутся, то вам, без сомнения... будет приятно от них избавиться?

— Извольте, я готов продать,— сказал Собакевич, уже несколько приподнявши голову и смекнувши, что покупщик, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.

«Черт возьми,— подумал Чичиков про себя, — этот уж продает прежде, чем я заикнулся!» — и проговорил вслух:

— А, например, как же цена? хотя, впрочем, это такой предмет... что о цене даже странно...

— Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по сту рублей за штуку! — сказал Собакевич.

— По сту! — вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевши ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался, или язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так поворотившись, брякнул вместо одного другое слово.

— Что ж, разве это для вас дорого? — произнес Собакевич и потом прибавил: — А какая бы, однако ж, ваша цена?

— Моя цена! Мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю с своей стороны, положа руку на сердце: по восьми гривен за душу, это самая красная цена!

— Эк, куда хватили — по восьми гривенок!

— Что ж, по моему суждению, как я думаю, больше нельзя.

— Ведь я продаю не лапти.

— Однако ж согласитесь сами: ведь это тоже и не люди.

— Так вы думаете, сыщете такого дурака, который бы вам продал по двугривенному ревизскую душу?

— Но позвольте: зачем вы их называете ревизскими, ведь души-то самые давно уж умерли, остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по полтора рубли, извольте, дам, а больше не могу.

— Стыдно вам и говорить такую сумму! вы торгуйтесь, говорите настоящую цену!

— Не могу, Михаил Семенович, поверьте моей совести, не могу, чего уж невозможно сделать, того невозможно сделать,— говорил Чичиков, однако ж по полтинке еще прибавил.

— Да чего вы скупитесь? — сказал Собакевич. — Право, недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души: а у меня что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час, — прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет!

Чичиков открыл рот, с тем чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете; но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова:

— А Пробка Степан, плотник? я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы Бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!

Чичиков опять хотел заметить, что и Пробки нет на свете; но Собакевича, как видно, пронесло: полились такие потоки речей, что только нужно было слушать:

— Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного. А Еремей Сорокоплёхин! да этот мужик один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей. Ведь вот какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин.

— Но позвольте,— сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было, — зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это всё народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица.

— Да, конечно, мертвые, — сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил: — Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди.

— Да всё же они существуют, а это ведь мечта.

— Ну нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете: машинища такая, что в эту комнату не войдет; нет, это не мечта! А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади; хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту!

Последние слова он уже сказал, обратившись к висевшим на стене портретам Багратиона и Колокотрони, как обыкновенно случается с разговаривающими, когда один из них вдруг, неизвестно почему, обратится не к тому лицу, к которому относятся слова, а к какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему, даже вовсе незнакомому, от которого знает, что не услышит ни ответа, ни мнения, ни подтверждения, но на которого, однако ж, так устремит взгляд, как будто призывает его в посредники; и несколько смешавшийся в первую минуту незнакомец не знает, отвечать ли ему на то дело, о котором ничего не слышал, или так постоять, соблюдши надлежащее приличие, и потом уже уйти прочь.

— Нет, больше двух рублей я не могу дать,— сказал Чичиков.

— Извольте, чтоб не претендовали на меня, что дорого запрашиваю и не хочу сделать вам никакого одолжения, извольте, — по семидесяти пяти рублей за душу, только ассигнациями, право только для знакомства!

«Что он в самом деле, — подумал про себя Чичиков, — за дурака, что ли, принимает меня?» — и прибавил потом вслух:

— Мне странно, право: кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия, иначе я не могу себе объяснить... Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет просто фу-фу. Что ж он стоит? кому нужен?

— Да вот вы же покупаете, стало быть нужен.

Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся что отвечать. Он стал было говорить про какие-то обстоятельства фамильные и семейственные, но Собакевич отвечал просто:

— Мне не нужно знать, какие у вас отношения; я в дела фамильные не мешаюсь, это ваше дело. Вам понадобились души, я и продаю вам, и будете раскаиваться, что не купили.

— Два рублика,— сказал Чичиков.

— Эк право, затвердила сорока Якова одно про всякого, как говорит пословица; как наладили на два, так не хотите с них и съехать. Вы давайте настоящую цену!

«Ну, уж черт его побери, — подумал про себя Чичиков, — по полтине ему прибавлю, собаке, на орехи!»

— Извольте, по полтине прибавлю.

— Ну, извольте, и я вам скажу тоже мое последнее слово: пятьдесят рублей! право, убыток себе, дешевле нигде не купите такого хорошего народа!

«Экой кулак!» — сказал про себя Чичиков и потом продолжал вслух с некоторою досадою:

— Да что в самом деле... как будто точно сурьезное дело; да я в другом месте нипочем возьму. Еще мне всякий с охотой сбудет их, чтобы только поскорей избавиться. Дурак разве станет держать их при себе и платить за них подати!

— Но знаете ли, что такого рода покупки, я это говорю между нами, по дружбе, не всегда позволительны, и расскажи я или кто иной — такому человеку не будет никакой доверенности относительно контрактов или вступления в какие-нибудь выгодные обязательства.

«Вишь, куды метит, подлец!» — подумал Чичиков и тут же произнес с самым хладнокровным видом:

— Как вы себе хотите, я покупаю не для какой-либо надобности, как вы думаете, а так, по наклонности собственных мыслей. Два с полтиною не хотите — прощайте!

«Его не собьешь, неподатлив!» — подумал Собакевич.

— Ну, Бог с вами, давайте по тридцати и берите их себе!

— Нет, я вижу, вы не хотите продать, прощайте!

— Позвольте, позвольте! — сказал Собакевич, не выпуская его руки и наступив ему на ногу, ибо герой наш позабыл поберечься, в наказанье за что должен был зашипеть и подскочить на одной ноге.

— Прошу прощенья! я, кажется, вас побеспокоил. Пожалуйте, садитесь сюда! Прошу! — Здесь он усадил его в кресла с некоторою даже ловкостию, как такой медведь, который уже побывал в руках, умеет и перевертываться, и делать разные штуки на вопросы: «А покажи, Миша, как бабы парятся» или: «А как, Миша, малые ребята горох крадут?»

— Право, я напрасно время трачу, мне нужно спешить.

— Посидите одну минуточку, я вам сейчас скажу одно приятное для вас слово. — Тут Собакевич подсел поближе и сказал ему тихо на ухо, как будто секрет: — Хотите угол?

— То есть двадцать пять рублей? Ни, ни, ни, даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю.

Собакевич замолчал, Чичиков тоже замолчал. Минуты две длилось молчание. Багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку.

— Какая ж ваша будет последняя цена? — сказал наконец Собакевич.

— Два с полтиною.

— Право, у вас душа человеческая все равно что пареная репа. Уж хоть по три рубли дайте!

— Не могу.

— Ну, нечего с вами делать, извольте! Убыток, да уж нрав такой собачий: не могу не доставить удовольствия ближнему. Ведь, я чай, нужно и купчую совершить, чтоб все было в порядке.

— Разумеется.

— Ну вот то-то же, нужно будет ехать в город.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

<...>

Сделав один или два поворота, герой наш очутился наконец перед самым домом, который показался теперь еще печальнее. Зеленая плесень уже покрыла ветхое дерево на ограде и воротах. Толпа строений: людских, амбаров, погребов, видимо ветшавших,— наполняла двор; возле них направо и налево видны были ворота в другие дворы. Все говорило, что здесь когда-то хозяйство текло в обширном размере, и все глядело ныне пасмурно. Ничего не заметно было оживляющего картину: ни отворявшихся дверей, ни выходивших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома! Только одни главные ворота были растворены, и то потому, что въехал мужик с нагруженною телегою, покрытою рогожею, показавшийся как бы нарочно для оживления сего вымершего места; в другое время и они были заперты наглухо, ибо в железной петле висел замок-исполин. У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы, только один голос показался ему несколько сиплым для женщины. «Ой, баба! — подумал он про себя и тут же прибавил: — Ой, нет!» — «Конечно, баба!» — наконец сказал он, рассмотрев попристальнее. Фигура с своей стороны глядела на него тоже пристально. Казалось, гость был для нее в диковинку, потому что она обсмотрела не только его, но и Селифана, и лошадей, начиная с хвоста и до морды. По висевшим у ней за поясом ключам и по тому, что она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это, верно, ключница.

— Послушай, матушка,— сказал он, выходя из брички, — что барин?..

— Нет дома, — прервала ключница, не дожидаясь окончания вопроса, и потом, спустя минуту, прибавила: — А что вам нужно?

— Есть дело!

— Идите в комнаты! — сказала ключница, отворотясь и показав ему спину, запачканную мукою, с большой прорехою пониже.

Он вступил в темные широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был поражен представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюре, выложенном перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов.

По стенам навешано было весьма тесно и бестолково несколько картин: длинный пожелтевший гравюр какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями, без стекла, вставленный в раму красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по углам. В ряд с ними занимала полстены огромная почерневшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку. С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на столах. Что именно находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высовывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо, если бы не возвещал его пребыванье старый, поношенный колпак, лежавший на столе. Пока он рассматривал все странное убранство, отворилась боковая дверь и взошла та же самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее ключник, чем ключница: ключница по крайней мере не брее бороды, а этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью щеки походил у него на скребницу из железной проволоки, какою чистят на конюшне лошадей. Чичиков, давши вопросительное выражение лицу своему, ожидал с нетерпеньем, что хочет сказать ему ключник. Ключник тоже с своей стороны ожидал, что хочет ему сказать Чичиков. Наконец последний, удивленный таким странным недоумением, решился спросить:

— Что ж барин? у себя, что ли?

— Здесь хозяин, — сказал ключник.

— Где же? — повторил Чичиков.

— Что, батюшка, слепы-то, что ли? — спросил ключник.— Эхва! А вить хозяин-то я!

Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. Ему случалось видеть немало всякого рода людей, даже таких, каких нам с читателем, может быть, никогда не придется увидать; но такого он еще не видывал. Лицо его не представляло ничего особенного; оно было почти такое же, как у многих худощавых стариков, один подбородок только выступал очень далеко вперед, так что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать; маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух. Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. Ибо к чести героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно и он

не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша. Но пред ним стоял не нищий, пред ним стоял помещик. У этого помещика была тысяча с лишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся, — ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тещи и свекрухи, с кухарками позади, делать свои хозяйственные запасы и где горами белеет всякое дерево — шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересеки, ушаты, лагуны, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной бересты и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него, — но ему и этого казалось мало. Не довольствуясь сим, он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины, и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, — все тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. «Вон уже рыболов пошел на охоту!» — говорили мужики, когда видели его, идущего на добычу. И в самом деле, после него незачем было мести улицу: случилось проезжавшему офицеру потерять шпору, шпора эта мигом отправилась в известную кучу; если баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро. Впрочем, когда приметивший мужик уличал его тут же, он не спорил и отдавал похищенную вещь; но если только она попадала в кучу, тогда все кончено: он божился, что вещь его, куплена им тогда-то, у того-то или досталась от деда. В комнате своей он подымал с пола все, что ни видел: сургучик, лоскуток бумажки, перышко, и все это клал на бюро или на окошко.

А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином! был женат и семьянин, и сосед заезжал к нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Все текло живо и совершалось размеренным ходом: двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, столярные станки, прядильни: везде во все входил зоркий взгляд хозяина и, как трудолюбивый паук, бегал хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей хозяйственной паутины. Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум; опытностию и познанием света была пропитана речь его, и гостю было приятно его слушать; приветливая и говорливая хозяйка славилась хлебосольством; навстречу выходили две миловидные дочки, обе белокурые и свежие, как розы; выбегал сын, разбитной мальчишка, и целовался со всеми, мало обращая внимания на то, рад ли или не рад был этому гость. В доме были открыты все окна, антресоли были заняты квартирою учителя-француза, который славно брился и был большой стрелок: приносил всегда к обеду тетерек или уток, а иногда и одни воробьиные яйца, из которых заказывал себе яичницу, потому что больше в целом доме никто ее не ел. На антресолях жила также его компатриотка, наставница двух девиц. Сам хозяин являлся к столу в сюртуке, хотя несколько поношенном, но опрятном, локти были в порядке: нигде никакой заплаты. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а с ними мелких забот, перешла к нему. Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. На старшую дочь Александру Степановну он не мог во всем положиться, да и был прав, потому что Александра Степановна скоро убежала с штабс-ротмистром, Бог весть какого кавалерийского полка, и обвенчалась с ним где-то наскоро в деревенской церкви, зная, что отец не любит офицеров по странному предубеждению, будто бы все военные картежники и мотишки. Отец послал ей на дорогу проклятие, а преследовать не заботился. В доме стало еще пустее. Во владельце стала заметнее обнаруживаться скупость, сверкнувшая в жестких волосах его седина, верная подруга ее, помогла ей еще более развиться; учитель-француз был отпущен, потому что сыну пришла пора на службу; мадам была прогнана, потому что оказалась не безгрешною в похищении Александры Степановны: сын, будучи отправлен в губернский город, с тем чтобы узнать в палате, по мнению отца, службу существенную, определился вместо того в полк и написал к отцу уже по своем определении, прося денег на обмундировку; весьма естественно, что он получил на это то, что называется в простонародии шиш. Наконец последняя дочь, остававшаяся с ним в доме, умерла, и старик очутился один сторожем, хранителем и владетелем своих богатств. Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, тем становится ненасытнее; человеческие чувства, которые и без того не были в нем глубоки, мелели ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине. Случись же под такую минуту, как будто нарочно в подтверждение его мнения о военных, что сын его проигрался в карты; он послал ему от души свое отцовское проклятие



и никогда уже не интересовался знать, существует ли он на свете или нет. С каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из которых одно, как уже видел читатель, было заклеено бумагою; с каждым годом уходили из вида более и более главные части хозяйства, и мелкий взгляд его обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате; неуступчивее становился он к покупщикам, которые приезжали забирать у него хозяйственные произведения; покупщики торговались-торговались и наконец бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не человек; сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту, мука в подвалах превратилась в камень, и нужно было ее рубить, к сукнам, холстам и домашним материям страшно было притронуться: они обращались в пыль. Он уже позабывал сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте стоял у него в шкафу графинчик

с остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом ее не выпил, да где лежало перышко или сургучик. А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему, столько же оброку должен был принесть мужик, таким же приносом орехов обложена была всякая баба, столько же поставов холста должна была наткать ткачиха,— все это сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха, и сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве. Александра Степановна как-то приезжала раза два с маленьким сынком, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить; видно, походная жизнь с штабс-ротмистром не была так привлекательна, какою казалась до свадьбы. Плюшкин, однако же, ее простил и даже дал маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столе, но денег ничего не дал. В другой раз Александра Степановна приехала с двумя малютками и привезла ему кулич к чаю и новый халат, потому что у батюшки был такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно. Плюшкин приласкал обоих внуков и, посадивши их к себе одного на правое колено, а другого на левое, покачал их совершенно таким образом, как будто они ехали на лошадях, кулич и халат взял, но дочери решительно ничего не дал; с тем и уехала Александра Степановна.

Итак, вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым! Должно сказать, что подобное явление редко попадается на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться, и тем поразительнее бывает оно, что тут же в соседстве подвернется помещик, кутящий во всю ширину русской удали и барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь.

<...>

И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться! И похоже это на правду? Все похоже на правду, все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: «Здесь погребен человек!» — но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости.

<...>

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами видит наконец знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут пред ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, по горе холостяку!

Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его: он среди их как в родной семье; а между тем далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все, рукоплеща, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоко летающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах... Нет равного ему в силе — он бог! Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлеченьем; ему не позабыться в сладком обаянье им же исторгнутых звуков; ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные

созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признаёт современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнцы и передающие движенья незамеченных насекомых; ибо не признаёт современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья; ибо не признаёт современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движеньем и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха! Не признаёт сего современный суд и все обратит в упрек и поношенье непризнанному писателю; без разделенья, без ответа, без участья, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество.

И долго еще определено мне нудной властью идти об руку с моими страшными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в святый ужас и в блистанье главы и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей...

<...>

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

<...>

Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные — Бог ведает; лицом он на них не походил: по крайней мере родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пигалицами, взявши в руки ребенка, вскрикнула: «Совсем вышел не такой, как я думала! Ему бы следовало пойти в бабку с матерней стороны, что было бы и лучше, а он родился просто, как говорит пословица: ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца». Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприютно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко: ни друга, ни товарища в детстве! Маленькая горенка с маленькими окнами, не отворявшимися ни в зиму, ни в лето, отец, больной человек, в длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопанцах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате, и плевавший в стоявшую в углу песочницу, вечное сиденье на лавке, с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на губах, вечная пропись перед глазами: «не лги, послушествуй старшим

и носи добродетель в сердце»; вечный шарк и шлепанье по комнате хлопанцев, знакомый, но всегда суровый голос: «опять задурил!», отзывавшийся в то время, когда ребенок, наскуча однообразием труда, приделывал к букве какую-нибудь кавыку или хвост; и вечно знакомое, всегда неприятное чувство, когда вслед за сими словами крайшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных протянувшихся сзади пальцев: вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память. Но в жизни все меняется быстро и живо: и в один день, с первым весенним солнцем и разлившимися потоками, отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, которую потащила мухортая пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем сорóки; ею правил кучер, маленький горбунок, родоначальник единственной крепостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавший почти все должности в доме. На сорóке тащились они полтора дня с лишком; на дороге ночевали, переправлялись через реку, закусывали холодным пирогом и жареною бараниною, и только на третий день утром добрались до города. Перед мальчиком блеснули нежданным великолепием городские улицы, заставившие его на несколько минут разинуть рот. Потом сорóка бултыхнула вместе с тележкою в яму, которою начинался узкий переулок, весь стремившийся вниз и запруженный грязью; долго работала она там всеми силами и месила ногами, подстрекаемая и горбуном и самим барином, и наконец втащила их в небольшой дворик, стоявший на косогоре с двумя расцветшими яблонями пред стареньким домиком и садиком позади его, низеньким, маленьким, состоявшим только из рябины, бузины и скрывавшейся во глубине ее деревянной будочки, крытой драньем, с узеньким матовым окошечком. Тут жила родственница их, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынок и сушившая потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбовалась его полнотою. Тут должен был он остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавши, на другой же день выбрался в дорогу. При расставании слез не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту Бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и ко-

пи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Давши такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на своей сорóке, и с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления заронились глубоко ему в душу.

Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось; отличился он больше прилежанием и опрятностию; но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической: он вдруг смекнул и понял дело и повел себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученное угощенье, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем. Из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив — в тот же год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость почти необыкновенную: слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно. Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие спекуляции, именно вот какие: накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить — признак подступающего голода, — он высовывал ему из-под скамьи будто невзначай угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаясь с аппетитом. Два месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревянную клеточку, и добился наконец до того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег до пяти рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно. Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков; ему казалось, что они непременно должны над ним смеяться. Достаточно было тому, который попал на замечание со стороны остроумия, достаточно было ему только пошевелиться или как-нибудь ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя выгоню заносчивость и непокорность! — говорил он. — Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях! ты у меня поголодаешь!» И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и голодал по суткам. «Способности и дарования? это все вздор, — говаривал он, — я смотрю только на поведенье. Я поставлю полные баллы во всех науках тому, кто ни

аза не знает, да ведет себя похвально; а в ком я вижу дурной дух да насмешливость, я тому нуль, хотя он Солона заткни за пояс!» Так говорил учитель, не любивший насмерть Крылова за то, что он сказал: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей», — и всегда рассказывавший с наслаждением в лице и в глазах, как в том училище, где он преподавал прежде, такая была тишина, что слышно было, как муха летит; что ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не высморкался в классе и что до самого звонка нельзя было узнать, был ли кто там или нет. Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение. Не шевельнул он ни глазом, ни бровью во все время класса, как ни щипали его сзади; как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал учителю прежде всех треух (учитель ходил в треухе); подавши треух, он выходил первый из класса и старался ему попасться раза три на дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело совершенный успех. Во все время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами *за примерное прилежание и благонадежное поведение*. Вышед из училища, он очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, с подбородком, потребовавшим бритвы. В это время умер отец его. В наследстве оказались четыре заношенные безвозвратно фуфайки, два старых сертука, подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег. Отец, как видно, был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного. Чичиков продал тут же ветхий дворишко с ничтожной землицей за тысячу рублей, а семью людей перевел в город, располагаясь основаться в нем и заняться службой. В это же время был выгнан из училища за глупость или другую вину бедный учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель с горя принялся пить; наконец и пить уже было ему не на что; больной, без куска хлеба и помощи, пропадал он где-то в нетопленной, забытой конурке. Бывшие ученики его, умники и остряки, в которых ему мерещилась беспрестанно непокорность и заносчивое поведение, узнавши об жалком его положении, собрали тут же для него деньги, продав даже многое нужное; один только Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал какой-то пятак серебра, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: «Эх ты, жила!» Закрыл лицо руками бедный учитель, когда услышал о таком поступке бывших учеников своих; слезы градом полились из погасавших очей, как у бессильного дитяти. «При смерти на одре привел Бог заплакать», — произнес он слабым голосом и тяжело вздохнул, услышав о Чичикове, прибавя тут же: «Эх, Павлуша! вот как переменяется человек! ведь какой был благонравный, ничего буйного, шелк! Надул, сильно надул...»

Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего была так сурова и черства и чувства его были до того притуплены, чтобы он не знал ни жалости, ни сострадания; он чувствовал и то и другое, он бы даже хотел помочь, но только чтобы не заключалось это в значительной сумме, чтобы не трогать уже тех денег, которых положено было не трогать; словом, отцовское наставление: береги и копи копейку — пошло впрок.

<...>

Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во все время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Читателю сполагоря, рассердится ли на него Чичиков или нет, но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться с своим героем: еще не мало пути и дороги придется им пройти вдвоем рука в руку; две большие части впереди — это не безделица.

— Эхе-хе! что ж ты? — сказал Чичиков Селифану, — ты?

— Что? — сказал Селифан медленным голосом.

— Как что? Гусь ты! как ты едешь? Ну же, потрогивай!

И в самом деле, Селифан давно уже ехал зажмуря глаза, изредка только потряхивая впросонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей; а с Петрушки уже давно невесть в каком месте слетел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине чубарого, после чего тот пустился рысцой, да помахнувши сверху кнутом на всех, примолвил тонким певучим голоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «Эх! эх! эх!» — плавно подскакивая на козлах, по мере того как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» — его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть

куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, — только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, посторанивают и дают ей дорогу другие народы и государства.

1842

Список книг, использованных при составлении изобразительного ряда учебника (части I и II):

1. Слово о полку Игореве / Пер. Ивана Новикова. М.: Художественная литература, 1938.
2. Николай Васильевич Гоголь в изобразительном искусстве и театре. М.: Государственное издательство изобразительного искусства, 1953.
3. Слово о полку Игореве / Пер. Д.С. Лихачева. М.: Детская литература, 1961.
4. Пушкинский Петербург / Авт.-сост. А.М. Гордин. Л.: Художник РСФСР, 1974.
5. Лермонтов. Картины, акварели, рисунки. М.: Изобразительное искусство, 1980.
6. *Алексеева Т.В.* Художники школы Венецианова. М.: Искусство, 1982.
7. Акварель и рисунок XVIII — первой половины XIX века в собрании Государственной Третьяковской галереи. М.: Изобразительное искусство, 1982.
8. Русская культура VI—XVIII веков. Л.: Искусство, 1983.
9. *Бартенев И.А., Багажкова В.Н.* Русский интерьер XIX века. Л.: Художник РСФСР, 1984.
10. *Калязина Н.В., Дорофеева Л.П., Михайлов Г.В.* Дворец Меншикова. М.: Советский художник, 1986.
11. Слово о полку Игореве в гравюрах В.А. Фаворского. М.: Искусство, 1987.
12. Искусство книги. Выпуск десятый: 1972–1980. М.: Книга, 1987.
13. *Брук Я.В.* У истоков русского жанра. XVIII век. М.: Искусство, 1990.
14. Радзивилловская летопись. Текст, исследование, описание миниатюр. СПб., Глаголъ, М.: Искусство, 1994.
15. А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. М.: Русская книга, 1994.
16. *Вдовин Г.В., Ленская Л.А., Червяков А.Ф.* Останкино. Театр-дворец. М.: Русская книга, 1994.
17. Романтизм в России. Государственный русский музей. СПб., Palacie Edition, 1995.
18. *Гончаренко В.С., Нарожная В.И.* Оружейная палата. Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». М.: Красная площадь, 1998.
19. *Экштут С.А.* На службе российскому Левиафану. М.: Прогресс-традиция, 1998.
20. Преданья русского семейства. СПб., Всероссийский музей А.С. Пушкина: ЭГО, 1999.
21. *Ильзаров С.С.* Московская интеллигенция XVIII века. М.: Янус-К, 1999.

22. Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания. Серия «Живопись XVIII—XX вв.» Т. 4. Кн. 1. М.: Красная площадь, 2001.
23. Слово о полку Игореве. Екатерининская копия и перевод XVIII в. Факсимильное воспроизведение / Сост., пер., коммент. В.А. Кожевникова. М.: Древлехранилище, 2003.
24. Минувшее меня объемлет живо... М.: Интербук-бизнес, 2003.
25. *Любартович В.А., Юхименко Е.М.* Собор Богоявления в Елохове: история храма и прихода. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2004.
26. Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на столе... Государственный музей А.С. Пушкина. М.: Московские учебники, 2004.
27. *Александрова Н.И.* Русский рисунок XVIII — первой половины XIX века. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Кн. 1 и 2. М.: Красная площадь, 2004.

В оформлении учебника использованы иллюстрации:

переплет части I —
«Слово о полку Игореве», фронтиспис, художник В.А. Фаворский, 1950 г.;
«Вид помещичьего дома с садом», неизвестный художник, 1830-е гг.;
переплет части II —
А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Свидание Татьяны и Онегина в саду.
Художник К.И. Рудаков. 1930—1940;
Петергоф. Фонтан Самсон. Художник А.Е. Мартынов. 1821—1822;
Титульный лист поэмы «Мертвые души» по рисунку Н.В. Гоголя.

Макет «Слова о полку Игореве» (расположение иллюстраций в тексте) —
В.В. Пахомова, В.А. Фаворского.
Гравюры В.А. Фаворского к «Слову о полку Игореве»
(часть I — переплет, форзац, страницы 160—223)
воспроизводятся с небольшим уменьшением.

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН . . . 3
«Мы рождены для вдохновенья...» . . . 4

Лирика
«Я петь пустого не умею...» . . . 19
«Свободы верный воин» . . . 22
Поэтический побег . . . 27
«...Друг истины, поэт!» . . . 37
«Поговорим о странностях любви...» . . . 43
«...Чтоб мыслить и страдать...» . . . 49

Роман «Евгений Онегин»
«Я думал уж о форме плана...» . . . 75
Онегин и другие . . . 79
Милый идеал . . . 87
Эпическая муза . . . 91

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ . . . 97
Неведомый избранник . . . 106

Роман «Герой нашего времени»
«...Признаки таланта первостепенного...» . . . 122
«Онегин нашего времени» . . . 124

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ . . . 143
«Талант необыкновенный,
сильный и высокий» . . . 150

Поэма «Мертвые души»
Рождение русского эпоса . . . 152
Русь «с одного боку» . . . 154

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX—XX ВЕКА
«Золотые» и «серебряные»
нити русской литературы . . . 181

ПРИЛОЖЕНИЕ . . . 211

Учебное издание

Зинин Сергей Александрович
Сахаров Всеволод Иванович
Чалмаев Виктор Андреевич

ЛИТЕРАТУРА
9 класс

Учебник
для общеобразовательных учреждений

В двух частях
Часть II

В оформлении переплета использованы иллюстрации:
А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Свидание Татьяны и Онегина в саду.
Художник К.И. Рудаков. 1930–1940;
Петергоф. Фонтан Самсон. Художник А.Е. Мартынов. 1821–1822;
Титульный лист поэмы «Мертвые души» по рисунку Н.В. Гоголя.

Художественное оформление, макет,
составление иллюстративного ряда,
подбор иллюстраций *Н.Г. Ордынский*

Заведующий редакцией литературы *А.В. Федоров*
Редактор *И.Л. Тимашева*
Художественный редактор *Н.Г. Ордынский*
Корректоры *Г.А. Голубкова, Т.Г. Люборец*
Верстка *Н.Б. Поповой*

Подписано в печать 08.06.12. Формат 60x90/16 .
Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура «PetersburgC».
Усл. печ. л. 25,5 +1 (вкл.). Доп. тираж 14 000 экз. Заказ 4448.
Изд. № 02155.

ООО «Русское слово — учебник».
125009, Москва, ул. Тверская, д. 9/17, стр. 5.
Тел.: (495) 969-24-54, 658-66-60.

ISBN 978-5-91218-218-1



Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14





Чичиков и Коробочка.

Гравюры А. Панова по рисункам П.М. Боклевского. 1870-е гг. (вверху); художники Кукрыниксы (М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов). 1952 г.



Из истории иллюстрирования поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»





Плюшкин.

Гравюра Е.Е. Бернардского по рисунку А.А. Агина. 1846 г. (слева); художники Кукрыниксы. 1952 г.



Тройка. Художник Н.С. Самокиш. 1917 г.

ЛИТЕРАТУРА

«...Наука словесности так же нужна,
как для всякого другого знания нужна
наука. Нужно для того, чтобы ввести
в сущнось дела <...> если точно
есть в нас способности, силы, —
навести их на путь, вдвинуть их
в надлежащую колею; дабы,
как по углаженной дороге,
быстрее устремилось
бы их развитие».

Н.В. ГОГОЛЬ

«РУССКОЕ СЛОВО»